

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

**ИНСТИТУТ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ПЕДАГОГИКИ**

МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

1 · 9 · 4 · 8

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

**ИЗБРАННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ**

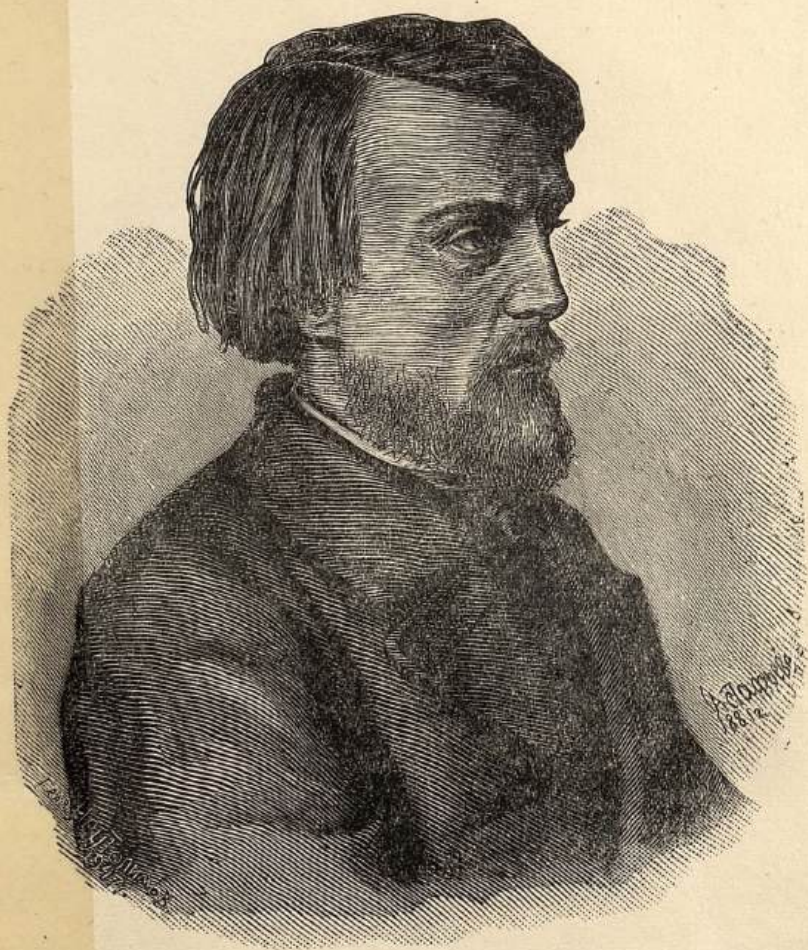
Под редакцией

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА АПН

Е. Н. МЕДЫНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
РСФСР

*Книга составлена старшим
научным сотрудником Института теории
и истории педагогики АПН РСФСР
М. Ф. ШАБАЕВОЙ*



В. Голубов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БЕЛИНСКОГО

Беликий критик, выдающийся представитель русской философии, революционер-демократ, оказавший огромное влияние на развитие передовой русской общественной мысли и литературы, Виссарион Григорьевич Белинский (1811 — 1848 гг.) был одним из основоположников наиболее прогрессивного в середине XIX в. педагогического направления — педагогики русской революционной демократии.

Педагогические высказывания Белинского составляют органическую часть его литературного творчества. Интерес к педагогическим вопросам и учебно-воспитательной деятельности не был для Белинского чем-то случайным. В ранней молодости он делал неоднократные попытки заняться преподавательской работой: в 1832 г. хотел стать преподавателем гимназии; в 1838 г. начал преподавание русского языка в Межевом институте, но эта педагогическая деятельность была прервана распоряжениями попечителя учебного округа. Первое педагогическое произведение «Рассуждение о воспитании» Белинский написал в возрасте 18 лет.

В начале своей литературной деятельности, одновременно со статьей «Литературные мечтания», положившей начало широкой известности Белинского, как критика, он с увлечением работал над научно-методическим руководством «Основания грамматики русского языка», которое вышло в 1837 г.

В этой работе, не получившей одобрения со стороны официальных органов Министерства народного просвещения, но высоко оцененной педагогической общественностью, Белинский по-новому поставил ряд вопросов построения и преподавания русской грамматики.

Перу Белинского принадлежит около 60 рецензий на детские книги и более 70 отзывов на учебные книги по грамматике, риторике, истории, географии. Кроме того, Белинский рассматривает вопросы воспитания и просвещения во

многих своих критических статьях, посвященных художественной литературе, и в своих письмах. Его рецензия на сказки Гофмана и детские сказки дедушки Ириней (В. Ф. Одоевского, 1840 г.) представляет собою обширный педагогический трактат, в котором с большой силой и полнотой выражена целая система революционно-демократических педагогических взглядов.

Белинский подверг острой критике крепостническое воспитание своего времени — безрассудное потворство «нежных» родителей избалованным барчукам-детям, приучение детей помещиков относиться к крепостным крестьянам как к рабам, погоню за карьерой, «светское» поверхностное образование. Он возмущался сословным воспитанием, отсутствием широкого общего образования.

В противовес крепостническому воспитанию Белинский выдвинул идеал воспитания культурного, высоконравственного человека, ставящего общественные интересы выше личных, эгоистических, умеющего уважать человеческое достоинство в каждом другом человеке, независимо от его национальности, звания и состояния.

В своем философском развитии В. Г. Белинский шел от увлечения идеалистическими системами в первый период своей деятельности к материализму и революционному демократизму. В соответствии с этим менялся, получал иное, более глубокое содержание и его идеал воспитания человека. В начале деятельности Белинского — это абстрактный идеал воспитания человека вообще, это идеалистические призывы: «подави свой эгоизм, попри ногами своекорыстное я, дыши для счастья других, жертвуй для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо, не для награды, но для истины и блага и тяжким крестом выстрадай твое соединение с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства» («Литературные мечтания», 1834 г.).

В дальнейшем, все более и более становясь на позиции материализма и революционного демократизма, Белинский понимает идеал человека уже не в смысле гуманизма и любви к людям вообще, самоотречения и т. д., но как человека-гражданина, энергичного борца с крепостническим строем, способного к революционной деятельности, как человека, действующего в определенных конкретных условиях.

Если в прежних педагогических высказываниях Белинского многие страницы говорят о том, что в основе воспитания должна быть всеобщая любовь, то в рецензии «Антология из Жан-Поля Рихтера», относящейся к 1844 г., Белин-

ский иронически указывает, что «у Жан-Поля на все болезни одно лекарство — любовь». В этой рецензии, построенной на иной идеологии по сравнению с прежними произведениями Белинского, он выступает против романтических идеалов воспитания, против воспитания в созерцательных принципах какой-то абстрактной правды, любви человеческой и т. п.: «Молодых людей и дома, и в школе учат любить правду, ненавидеть ложь, а когда они вступят в жизнь, их гонят за правду и их правдивость называют гордостью, самонадеянностью, буйством и «вольнодумством». Кончает эту рецензию Белинский требованием, чтобы воспитание подготавливало людей, борющихся с общественным злом: «Этот вопрос важнее вопросов о всевозможных видах любви».

Еще сильнее это революционно-демократическое понимание человека, как борца, действующего в конкретно-исторических условиях, звучит в рецензии 1847 г. «Векфильдский священник». Белинский отвергает воспитание «героев пассивной добродетели», созерцательно сохраняющих на всю жизнь веру в добро, но не умеющих бороться с общественным злом. «Такое воспитание, отрывая человека от действительных интересов жизни, уносит его в холодную даль фантастических мирозосерцаний. Оно убивает энергию действия, чтобы дать раздолье теплым ощущениям, которыми ничего не сделаешь, для пользы общества, а разве только будешь забавляться ими для собственной приятности и развлечения. Оно, наконец, не спасает и самого воспитанника при встрече его с действительной жизнью, когда нужна борьба с врагом, а не спокойное созерцание враждебных предметов, когда необходима сила, а не умиленные чувства».

В условиях жестокой цензуры николаевского времени более ясно и сильно сказать о воспитании революционного борца нельзя было.

О борьбе Белинский говорил уже в раннем своем произведении «Литературные мечтания», но там это борьба с самим собою, борьба — самоусовершенствование. В произведениях же последнего периода жизни Белинского борьба понимается как борьба революционная.

В XVIII и первой половине XIX в. очень острым был вопрос о значении воспитания среди других факторов, формирующих человека.

Локк и французские философы-материалисты XVIII в. выдвинули новое для того времени прогрессивное решение вопроса — теорию «чистой доски», но это была односторонняя, построенная на механистическом материализме теория, не учитывающая других факторов формирования человека.

Белинский при решении этого важного в методологии педагогики вопроса дал более значительное и правильное решение, указав на ведущее значение воспитания, но вместе с тем учитывая и влияние наследственности и среды (см. его рецензию на «Библиотеку детских повестей и рассказов», соч. В. Бурьянова и на «Сказки бабушки Ирины»).

В первый идеалистический период своего творчества Белинский признавал существование врожденных идей, которые казались ему «непосредственным созерцанием истины», будто бы присущим «человеку чувством бесконечного» и т. п. Позже, став на материалистические позиции, Белинский отказался от признания врожденных идей и считал, что все содержание нашего сознания имеет своим основанием чувственный опыт (см. его рецензию на «Картины земли для наглядности при преподавании физической географии», 1846 г.). В своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белинский подчеркивал материальную природу познания и чувства и указывал, что психология, не опирающаяся на физиологию, несостоятельна и что все умственные отправления являются функцией мозга.

В период страстных споров между западниками и славянофилами об общечеловеческом и национальном Белинский отверг одностороннее разрешение вопроса, предлагавшееся теми и другими, и дал более правильное и глубокое в смысле единства общечеловеческого и национального в замечательной формулировке: «Общее является только в частном: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству». Белинский указывает, что «без национальностей человечество было бы мертвым абстрактом, словом без содержания, звуком без значения», что «борьба человеческого с национальным есть не больше, чем риторическая фигура, но в действительности ее нет» («Взгляд на русскую литературу 1846 г.»).

Выяснив народность произведений великих русских писателей Пушкина, Гоголя, Крылова, Белинский впервые выдвинул и подробно обосновал идею народности воспитания. «Народность,—писал он,—обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания. Часто дети знают о древнегреческих авторах, об исторических деятелях европейской истории, но не имеют никакого понятия о сокровищах своей народной поэзии, русской литературе, Петре I». Он указывает, что детям надо давать как можно больше общечеловеческого, мирового, но надо знакомить с этим через родные и национальные явления. Он считал русский народ одним из способнейших и развитейших в мире и провидел, что через столетие,

в 1940 г. внукам и правнукам суждено будет видеть Россию, «стоящую во главе образованного мира, дающую законы, науке и искусству».

Белинский рассматривал ребенка как развивающееся существо, звал родителей и воспитателей учитывать возрастные особенности детей и видоизменять в соответствии с возрастом детей методы их воспитания и обучения.

Много внимания уделил Белинский вопросам семейного воспитания. «На родителях лежит священная обязанность сделать своих детей человеками», — писал он, давая ряд советов родителям, как воспитывать детей в духе гуманизма, служения общественному благу, как руководить их чтением и т. д.

Ряд статей и рецензий Белинский посвятил воспитанию женщины. Взгляды его на этот вопрос менялись в соответствии с развитием его философского и политического мировоззрения. В последний период своей жизни он выдвинул демократическую идею полного равноправия женщин и мужчин, которой следует руководствоваться и в области воспитания (девятая статья о сочинениях Пушкина).

Ставя на первый план нравственное воспитание, Белинский в первый период своей деятельности трактовал его содержание как нравственное усовершенствование в смысле альтруизма, бескорыстного служения человечеству, любви к ближнему и т. д. В последнем периоде своей жизни Белинский вкладывает в идею нравственного воспитания революционно-демократическое содержание, особенно подчеркивая воспитание готовности к революционной борьбе с крепостническим строем, воспитание человека сильной воли, который не только придерживается нравственных взглядов, но умеет и осуществлять их в своей общественной деятельности.

В многочисленных рецензиях на учебные книги по грамматике, риторике, истории и географии В. Г. Белинский дает целую систему передовых дидактических взглядов на содержание и методы обучения и выдвигает ряд прогрессивных требований к учебнику.

Как в своих критических статьях на русскую художественную литературу Белинский разработал передовую теорию эстетики и создал русскую критику, так и в рецензиях на детские и учебные книги он впервые создал теорию детской литературы и дал передовые принципы ее критики.

Своими передовыми педагогическими взглядами Белинский оказал могучее влияние на дальнейшее развитие оригинальной русской педагогической мысли.

Чернышевский и Добролюбов в 60-х гг. XIX в. развили

далее и углубили ту педагогическую систему, родоначальником которой были в 40-х гг. Белинский и Герцен. Многие из педагогических взглядов Белинского было воспринято Пироговым (идея гуманизма), Ушинским (идея народности) и др. Стоюнин, испытавший на себе влияние Белинского, свидетельствовал, что результатом литературной деятельности Белинского было появление в России учителей словесности нового типа. И. С. Аксаков указывал, что «нет ни одного учителя в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю».

Говоря о значении Белинского, В. И. Ленин указывал, что имя Белинского дорого каждому порядочному человеку на Руси. И. В. Сталин называл имя Белинского среди имеющих лучших представителей великой русской нации.



**ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ПЕДАГОГИКИ,
ПРОСВЕЩЕНИЯ
И НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ**





ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ¹

...Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действие, а действие есть борьба; не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я в чувстве любви... вот тебе две дороги, два неизбежные пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соединение с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства!.. Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется не по силам?.. Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее, легче: люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай добро лишь за выгоды, не бойся зла, когда оно приносит тебе пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло! Если ты рожден сильным земли, гни твой хребет, ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами; ремена согни под грузом незаслуженных почестей и титулов. Весела и блестяща будет жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холод или голод, что такое угнетение или оскорбление, все будет трепетать тебя, везде покорность и услужливость, отовсюду лесть и хваления, и поэт напишет тебе послание и оду, где сравнит тебя с полубогами, и журналист прокричит во всеуслышание, что ты покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества, правая рука государя! Какая тебе нужда, что в душе твоей каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь в беспрестанном раздоре с самим собою, что в душе твоей будет слишком жарко, а в сердце слишком холодно, что вопли угнетенных тобою будут преследовать тебя и на светлом пиру и на мягком ложе сна,

что тени погубленных тобою окружают твой болезненный одр, составят около него адскую пляску и с яростным хохотом будут веселиться твоими последними, предсмертными страданиями, что перед твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтожения за гробом, мук вечных!.. О, любезный мой, ты прав: жизнь сон, и не увидишь, как пройдет. Зато весело поживешь, сладко поешь, мягко поспишь, повластвуешь над своими ближними, а ведь это чего-нибудь да стоит! — Если же, при твоём рождении, природа возложила на твоё чело печать гения, дала тебе вещие уста пророка и сладкий голос поэта, если миродержавные судьбы обрекли тебя быть двигателем человечества, апостолом истины и знания, вот опять перед тобою два неизбежные пути. Сочувствуй природе, люби и изучай её, твори бескорыстно, трудись безвозмездно, отвержай души ближних для впечатления благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонения злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с прекрасного, родного тебе неба. Трудно? Тяжко?.. Ну, так торгуй твоим божественным даром, положи цену на каждое вещее слово, которое ниспосылает тебе бог в святые минуты вдохновения; покупщики найдутся, будут платить тебе щедро, а ты лишь умей кадить кадилом лести, умей склонять во прах твоё венчанное чело, забудь о славе, о бессмертии, о потомстве, довольствуйся тем, если услужливая рука торговца-журналиста провозгласит о тебе, что ты великий поэт, гений, Байрон, Гете!..

Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без действия нет жизни! Что представляют собою индивидуумы, то же представляет человечество, оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается..

...только идя по разным дорогам, человечество может достигнуть своей единой цели; только живя самобытною жизнью, может каждый народ принести свою долю в общую сокровищницу. В чём же состоит эта самобытность каждого народа? В особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей и взгляде на предметы, в религии, языке, и более всего в о б ы ч а я х. Эти обычаи состоят в образе одежды, прототип которой находится в климате страны, в формах домашней и общественной жизни, причина коих скрывается в верованиях, поверьях и понятиях народа, в формах обращения между неделимыми государствами, оттенки которых проистекают от гражданских постановлений и различия условий. Все эти обычаи укрепляются давностию, освящаются временем и переходят из рода в род, от поколения к поколению, как наследие потомков от предков. Они составляют физиономию народа, и без них народ есть образ без лица,

мечта небывалая и несбыточная. Чем младенченственнее народ, тем резче и цветнее его обычаи, тем большую полагает он в них важность; время и просвещение подводят их под общий уровень; но и могут изменяться не иначе, как тихо, незаметно, и притом один по одному. Надобно, чтобы сам народ добровольно отказывался от некоторых из них и принимал новые; но и тут своя борьба, свои битвы на смерть, свои староверы и раскольники, классики и романтики. Народ крепко дорожит обычаями, как своим священной достоянием, и посягательство на внезапную и решительную реформу оных без своего согласия почитает посягательством на свое бытие... Человек самый развратный, закоренелый в пороках, смеющийся над всем святым, покоряется обычаям, даже внутренне смеясь над ними. Разрушьте их внезапно, не заменив тотчас же новыми, и вы разрушите все опоры, разорвете все связи общества, словом, уничтожите народ. Почему это так? Потому же самому, почему рыбе привольно в воде, птице в воздухе, зверю на земле, гадине под землею. Народ, насильственно введенный в чужую ему сферу, похож на связанного человека, которого бичем понуждают к бегу. Всякий народ может перенимать у другого, но он необходимо налагает печать собственного гения на эти заимки, которые у него принимают характер подражаний...

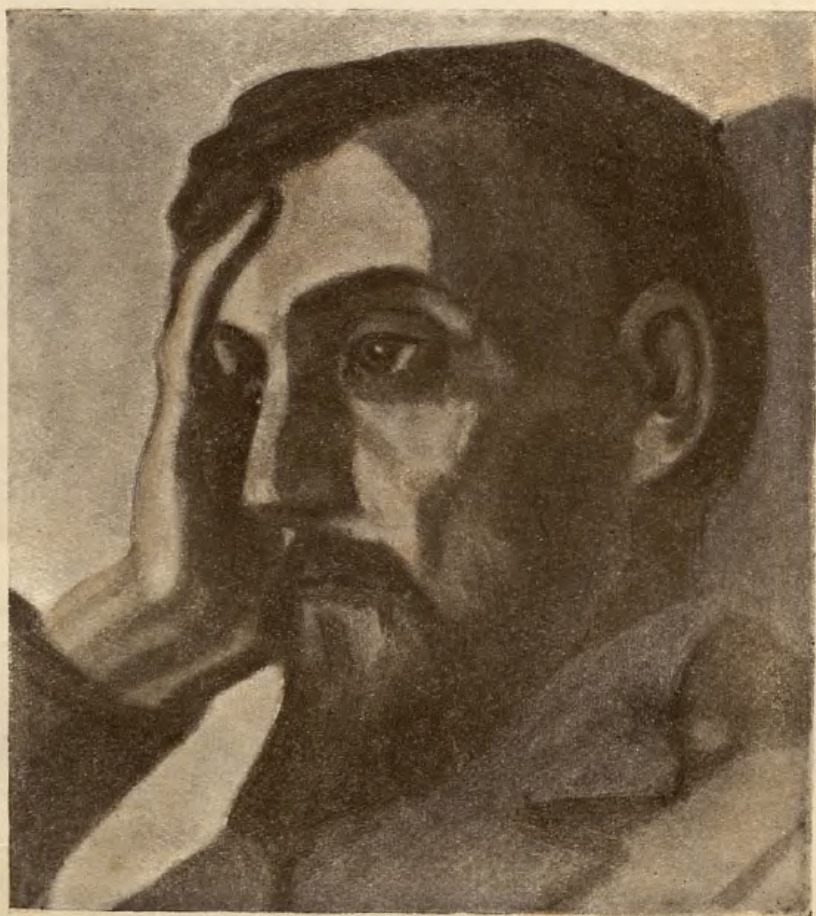
Просвещение, подобно заветному слову искупления, должно приниматься с благоразумною постепенностью, по твердочному убеждению, без оскорбления святых праяотеческих нравов: таков закон провидения!... Поверьте, что русский народ никогда не был заклятым врагом просвещения, он всегда был готов учиться; только ему нужно было начать свое учение с азбуки, а не с философии, с училища, а не с академии...

Романтизм — вот первое слово, огласившее пушкинский период; народность — вот альфа и омега нового периода. Как тогда всякий бумагомаратель из кожи лез, чтобы прослыть романтиком, так теперь всякий литературный шут претендует на титул народного писателя. Народность — чудесное слово! Что перед ним ваш романтизм! В самом деле, это стремление к народности — весьма замечательное явление... Мне кажется, что это стремление к народности произошло от того, что все живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и хотели создать народную, как прежде силились создать подражательную. Итак, опять цель, опять усилия, опять старая погудка на новый лад? Но разве Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался быть

народным?.. Следовательно, наши литераторы, с такою ревностью заботящиеся о народности, хлопочут по-пустому. И в самом деле, какое понятие имеют у нас вообще о народности. Все, решительно все, смешивают ее с простонародностью и отчасти с тривиальностью. Но это заблуждение имеет свою причину, свое основание и на него отнюдь не должно нападать с ожесточением. Скажу более: в отношении к русской литературе нельзя иначе понимать народности. Что такое народность в литературе? — Отпечаток народной физиономии, тип народного духа и народной жизни. Но имеем ли мы свою народную физиономию? — Вот вопрос, трудный для решения. Наша национальная физиономия всего больше сохранилась в низших слоях народа; посему наши писатели, разумеется владеющие талантом, бывают народны, когда изображают в романе или драме нравы, обычаи, понятия и чувствования черни. Но разве одна чернь составляет народ? Ничуть не бывало. Как голова есть важнейшая часть человеческого тела, так среднее и высшее сословие составляют народ по преимуществу. Знаю, что человек во всяком состоянии есть человек, что простолюдин имеет такие же страсти, ум и чувство, как и вельможа, и посему, так же как и он, достоин поэтического анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях, или, вернее всего, в целой идее народа. Посему, избрав предметом своих вдохновений одну часть одного, вы непременно впадаете в односторонность. Равным образом, вы не избежите этой крайности и отмежевывая для своей творческой деятельности нашу историю до Петра Великого. Высшие же слои народа у нас еще не получили определенного образа и характера; их жизнь мало представляет для поэзии...

Из всего сказанного мною выходит, что наша народность покуда состоит в верности изображения картин русской жизни, но не в особенном духе и направлении русской деятельности, которые бы проявлялись равно во всех творениях, независимо от предмета и содержания юных. Итак, есть ли у нас народность литературы в этом смысле? Нет, да покуда, при всех благородных желаниях просвещенных патриотов, и быть не может. Наше общество еще слишком юно, еще не остановилось, еще не освободилось от европейской опеки; его физиономия еще не выяснилась и не выформировалась...

Я начал мою статью с того, что у нас нет литературы: не знаю, убедило ли вас в этой истине мое обозрение; только знаю, что если нет, то в том виновато мое неумение, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положение было ложно. В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов и Гри-



В. Г. БЕЛИНСКИЙ. С рис. худ. Астафьева

боедов — вот все ее представители, других покуда нет и не ищите их. Но могут ли составить целую литературу четыре человека, явившиеся не в одно время... У нас была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романов и повестей, наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы видимо проходит; теперь терзаем драму. И все это без причины, все это из подражательности; когда же наступит у нас истинная эпоха искусства?

Она наступит, будьте в том уверены. Но для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почве. У нас нет литературы: я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов... Придет время — просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье...

Итак нам нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в свое время, а просвещение! И это просвещение не закоснит, благодаря неусыпным попечениям мудрого правительства. Русский народ смыслен и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к ней! И нам ли не достигнуть этой цели, когда правительство являет собой такой единственный, такой беспримерный образец попечительности о распространении просвещения, когда оно издерживает такие громадные суммы на содержание учебных заведений, ободряет блестящими наградами труды учащихся и учащихся, открывая образованному уму и таланту путь к достижению всех отличий и выгод? Проходит ли хотя один год без того, чтобы со стороны неусыпного правительства не было совершено новых подвигов во благо просвещения, или новых благодеяний, новых щедрот в пользу ученого сословия. Одно учреждение сословия домашних наставников и учителей² должно повлечь за собой неисчислимые блага для России, ибо избавляет ее от вредных следствий иноземного воспитания. Да! у нас скоро будет свое русское, народное просвещение, мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой умственной опеке...



БИБЛИОТЕКА ДЕТСКИХ ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ

Сочинение Виктора Бурьянова. СПб, 1837—1838.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, или рассказы занимательных анекдотов, повестей, происшествий и других назидательных примеров (Р), посвященных сыновьям и дочерям (чьим?). Новое сочинение г. Бульи. Перевод с французского В. Бурьянова. СПб, 1838.

ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА или беседы отца с детьми об умственных способностях, правах, обычаях, образе жизни, обрядах и промышленности всех народов земного шара. Сочинение Деппинга. Переведено с четвертого французского издания, с некоторыми изменениями и дополнениями Виктором Бурьяновым. СПб, 1838.

ПРОГУЛКА С ДЕТЬМИ по Санкт-Петербургу и его окрестностям. Сочинение Виктора Бурьянова. СПб, 1838³.

Наша литература юсобенно бедна книгами для воспитания, в обширном значении этого слова, т. е. как учебными, так и литературными и детскими книгами. Но эта бедность нашей литературы покуда еще не может быть для нее важным упреком. Посмотрите на богатые литературы французов, англичан и немцев: у всех у них книг много, но читать детям почти нечего, или, по крайней мере, очень мало. Множество и количество ничего не доказывают. У французов, например, писали для детей Беркен, Бульи, г-жа Жанлис и прочие, написали бездну, но, повторяем, дети от этого нисколько не богаче книгами для своего чтения. И это очень естественно: должно родиться, а не сделаться, детским писателем. Тут требуется не только талант, но и своего рода гений. Да, много, много нужно условий для образования детского писателя: тут нужна душа благодатная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески-простодушная; ум возвышенный, образованный, взгляд на предметы просветленный, и не только живое воображение, но и живая, поэтическая фантазия, способная представлять все в одушевленных, радужных образах. Не говорим уже о любви к детям и о глубоком знании потребностей, особенностей и оттенков детского возраста. Детские книги пи-

шутся для воспитания, а воспитание — великое дело: им решается участь человека. Конечно, есть такие богатые и мощные субстанции, которые спасают людей от гибели, вследствие дурного воспитания, но не менее того несомненно и то, что люди с этими же самыми субстанциями, при хорошем воспитании, получили бы еще лучшее определение и прямее бы дошли до своей цели, с силами свежими, неистощенными в борьбе с случайностями. Не говорим уже о том, что хорошее воспитание дурного делает менее дурным, а порядочного делает положительно хорошим, способствуя ему приобрести определение, равное его субстанции, — что и составляет значение действительности человека, противоположая это слово прозрачности. Молодые поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое есть их настоящее, получаемое ими как наследство от старейших поколений. Каждое новое, поколение есть зародыш будущего, которое должно сделаться настоящим, есть новая идея, готовая сменить старую идею. На этом и основан ход и прогресс человечества. «Не вливают вина молодого в меха старые», сказал наш божественный спаситель, и он же изрек о детях, приведенных к нему для благословения: «Таковых есть царствие небесное». Но новое, чтоб быть действительным, должно выйти из старого — и в этом законе заключается важность воспитания, и им же обуславливается важность призвания тех людей, которые берут на себя священную обязанность быть воспитателями детей.

Обыкновенно думают, что душа младенца есть белая доска, на которой можно писать, что угодно. Конечно, нельзя отвергать, что воспитание, внешние обстоятельства, опыт жизни имеют на человека великое и важное влияние; но все-таки возможность определения человека, и истинного и ложного, заключается в его субстанции, а субстанция — в его организме. Каждый человек есть индивид, и как хорошим, так и худым может сделаться только по-своему, индивидуально. Воспитание не делает человека, но помогает ему делаться (хорошим или худым) и поэтому, если душа младенца и в самом деле есть белая доска, то качество и смысл букв, которые пишет на ней жизнь, зависят не только от пишущего и орудия писания, но и от свойства самой этой доски. А тут еще есть так называемые некоторыми врожденные идеи, которые суть непосредственное созерцание истины, заключающееся в таинстве человеческого организма. Ребенка нельзя уверить, что $2 \times 2 = 5$, а не 4. Но это аксиома конечного рассудка, а есть еще аксиомы разума, развитие которых и должно составлять цель и заботу воспитания.

Нет! не белая доска есть душа младенца, а дерево в зерне, человек в возможности. Как ни старо сравнение воспитателя с садовником, но оно глубоко верно, и мы не затрудняемся воспользоваться им. Да, младенец есть молодой, бледно-зеленый росток, едва выглянувший из своего зерна; а воспитатель есть садовник, который ходит за этим ростком. Посредством прививки и дикую лесную яблоню можно заставить, вместо кислых и маленьких яблок, давать яблоки садовые, вкусные, большие; но тщетны были бы все усилия искусства заставить дуб приносить яблоки, а яблоню — жолуди. А в этом-то именно и заключается, по большей части, юшибка воспитания: забывают о природе, дающей ребенку наклонности и способности и определяющей его значение в жизни, и думают, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить что угодно, хоть арбузы вместо орехов.

Для садовника есть правила, которыми он необходимо руководствуется при хождении за деревьями. Он соображается не только с индивидуальной природою каждого растения, но и с временами года, с погодою, с качеством почвы. Каждое растение имеет для него свои эпохи возрастания, сообразно с которыми он и располагает свои с ним действия: он не сделает прививки ни к стеблю, еще не сформировавшемуся в ствол, ни к старому дереву, уже готовому засохнуть. Человек имеет свои эпохи возрастания, не сообразуясь с которыми, в нем можно задушить всякое развитие. Жизнь человека проявляется в движении его сознания. Предмет сознания есть истина, всегда одинаковая, всегда ровная, всегда единая, но развивающаяся для человека во времени, понимаемая им постепенно, в необходимых и один из другого следующих моментах, и потому представляющаяся ему неуловимою, противоречивою, разнообразною. Знать можно только существующее, только то, что есть, и человек, как разумно-сознательная сущность и орган всего сущего, сам для себя есть самый интересный предмет знания, и весь остальной, вне его находящийся мир сущего, может сознать только через себя, перешедши из непосредственного единства с ним в распадение, а из распадения в разумное единство.

В человеке две силы познания: рассудок и разум⁴. У каждой из них своя сфера: конечность есть сфера рассудка, бесконечное понятно только для разума. Разум в человеке необходимо предполагает и рассудок, но рассудок не условливает собою разума. Рассудок, когда он действует в своей сфере, есть также искра божия, как и разум, и возвышает человека над всею остальною природою, как ступень

сознания; но когда рассудок вступает в права разума, тогда для человека гибнет все святое в жизни, и жизнь перестает быть таинством, но делается борьбою эгоистических личностей, азартною игрою, в которой торжествует хитрый и безжалостный, и гибнет неловкий или совестливый. Рассудок, или то, что французы называют *le bon sens**, что они так уважают и представителями чего они с такою гордостью провозглашают себя, рассудок уничтожает все, что, выходя из сферы конечности, понятно для человека только силою благодати божией, силою откровения; в своем мишурном величии, он гордо попирает ногами все это, потому только, что он бессилен проникнуть в таинство бесконечного. XVIII в. был именно веком торжества рассудка, — веком, когда все было переведено на ясные, очевидные и для всякого доступные понятия. Разум также переводит в определенные понятия, но уже не конечное, а бесконечное; также выговаривает определенным словом, но уже то, что не подлежит чувственному созерцанию, и его определения и выговаривания не оказывают значения сущего мертвою неподвижностью рассудка, но, схватывая момент вечной жизни общего и абсолютного, заключают в себе бесконечную возможность определений дальнейших моментов. В определениях рассудка — смерть и неподвижность; в определениях разума — жизнь и движение. Сознать можно только существующее: так неужели конечные истины очевидности и соображения опыта существеннее, нежели те дивные и таинственные потребности, порывания и движения нашего духа, которые мы называем чувством, благодатью, откровением, просветлением? Вот в этом-то и заключается причина нападков на искусство и философию, которые некоторым людям кажутся призраками расстроенного воображения. И они правы, эти люди: сознавать можно только существующее, а для них не существует содержание искусства и философии, это содержание, которое, как милость божия, дается человеку при его рождении. А для этих людей все призраком, чего не можно привести в такую же ясную формулу, как то, что $2 \times 2 = 4$.

Говоря о воспитании, мы несколько не отступили от своего предмета, начавши говорить о различии рассудка от разума. Понимание этого различия должно быть краеугольным камнем в плане воспитания, и первая забота воспитателя должна состоять в том, чтобы не развивать в детях рассудка насчет разума, и даже обратить все свое внимание только на развитие последнего, тем более, что первый и без

* Здравый смысл. *Ред.*

особенных усилий возьмет свое. Ежели несносен, пошл и гадок взрослый человек, который все великое в жизни меряет маленьким аршином своего рассудка, и о религии, искусстве и знании рассуждает, как о посеве хлеба или выгодной партии, то еще отвратительнее ребенок-резонер, который рассуждает, потому что еще не в силах мыслить. Да, не только развивать — надо душить, в самом ее зародыше, эту несчастную способность резонерства в детях; она иссушает в них источники жизни, любви, благодати; она делает их молоденькими старичками, ставит на ходули...

Теперь предстоит вопрос: это цель воспитания, а где же путь к этой цели? Вопрос этот так глубок и обширен, что для решения его мало книги, не только журнальной статьи. Но мы хотим слегка взглянуть на него с одной стороны — в приложении к детским книгам, с чего мы и начали.

Мы выше сказали, что для человека истина существует прежде всего, как непосредственное созерцание, во глубине его духа заключающееся. Этим-то непосредственным созерцанием человек видит истину, как бы по какому-то инстинкту, и, не будучи в состоянии доказать ее или вывести из логической необходимости ее очевидности, не сомневается в ней. Это есть то, что в людях с искрою божиею называется убеждением, верою, откровением или религиозным постижением истины. Но, повторяем, дитя может только рассуждать — что составляет пустоцвет жизни, и не может еще мыслить, что составляет истинный плодотворный цвет жизни. Теперь очень естественно рождается вопрос: в чем должно состоять воспитание детей, что должно оно развивать в них, если не мысль, которая еще не существует для них?

Основу, сущность, элемент высшей жизни в человеке составляет его внутреннее ощущение бесконечного, которое, как чувство, лежит в его организации. Чувство бесконечного есть искра божия, зерно любви и благодати, живой электрический проводник между человеком и богом. Степени этого чувства различны в людях, по глаголу Христа: «И дал одному пять талантов, другому два, третьему один, каждому по его силе»; но мерою глубины этого чувства измеряется достоинство человека и близость его к источнику жизни — к богу. Все человеческое знание должно быть выговариванием, переводением на понятия, определением, словом — сознанием таинственных проявлений этого чувства, без которого, поэтому, все наши понятия и определения суть слова без смысла, форма без содержания, сухая, бесплодная и мертвая отвлеченность. Без чувства бесконечного в чело-

веке не может быть и внутреннего, духовного созерцания истины, потому что непосредственное созерцание истины основывается, как на фундаменте, на чувстве бесконечного. Это чувство есть дар природы, результат счастливой организации, и потому свойственно и детям, в которых лежит как зародыш — и развитие, возвращение этого зародыша и должно составлять главную заботу воспитания. Но каким путем, каким средством должно совершиться это развитие и возвращение?

Мы сказали, что живая, поэтическая фантазия есть необходимое условие, в числе других необходимых условий, для образования писателя для детей: через нее и посредством ее должен он действовать на детей. В детстве фантазия есть преобладающая способность и сила души, первый посредник между духом ребенка и вне его находящимся миром действительности. Дитя не требует выводов, доказательств и логической последовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любит идей: ему нужны истории, повести, сказки, рассказы. И посмотрите, как сильно у детей стремление ко всему фантастическому, как жадно слушают они рассказы о мертвецах, привидениях, волшебствах. Что это показывает? — потребность бесконечного, начало чувства поэзии, которые находят для себя удовлетворение пока еще только в одном чрезвычайном, отличающемся неопределенностью идеи и яркостью красок. Чтобы говорить образами, надо если не быть поэтом, то, по крайней мере, быть рассказчиком и иметь фантазию живую, резвую, радужную. Чтобы говорить образами с детьми, надо знать детей, надо самому быть взрослым ребенком, не в пошлом значении этого слова, но родиться с характером младенчески простодушным. Есть люди, которые любят детское общество и умеют занять его и рассказом, и разговором, и даже игрою, приняв в ней участие, дети, с своей стороны, встречают этих людей с шумною радостью, слушают их со вниманием, и смотрят на них с откровенною доверчивостью, как на своих друзей. Про такого человека у нас, на Руси, говорят: это детский праздник. Вот таких-то «детских праздников» нужно и для детской литературы. Да — много, очень много условий! Такие писатели, подобно поэтам, рождаются, а не делаются...

Чем обыкновенно отличаются повести для детей? — дурно склеенным рассказом, пересыпанным нравственными сентенциями. Цель таких повестей — обманывать детей, искажая действительность. Тут обыкновенно хлопочут из всех сил убить в детях всякую живость, резвость и шаловливость, которые составляют необходимое условие юного

возраста, вместо того, чтобы стараться дать им хорошее направление и сообщить характер доброты, откровенности и грациозности. Потом стараются приучить детей обдумывать и взвешивать всякий их поступок, словом, сделать их благородными резонерами, которые годятся только для классической комедии; а не думают о том, что все дело во внутреннем источнике духа, что если он полон любовью и благодатью, то и внешность будет хороша, и что, наконец, нет ничего отвратительнее, как мальчишка-резонер, свысока рассуждающий о нравственности, заложив руки в карман. А потом что еще? — потом стараются уверять детей, что бог наказывает за всякий проступок и награждает за всякое хорошее действие. Истина святая — не спорим; но объяснять детям наказание и награждение⁵ в буквальном, внешнем и, следовательно, случайном смысле — значит обманывать их. А по смыслу и разумению (разумеется, крайнему) всех детских книжек награда за добродостоит в долголетней жизни, богатстве, выгодной женитьбе — прочтите хоть, например, повести Коцебу,⁶ написанные им для собственных детей. Но дети только неопытны и легкомысленны, но ютнюдь не глупы — и от всей души смеются над своими мудрыми наставниками. И это еще спасение для детей, если они не позволяют так грубо обманывать себя; но горе им, если они поверят: их разуверит горький опыт и набросит в их глазах темный покров на прекрасный божий мир. Каждый из них собственным опытом узнает, что бесстыдный лентяй часто получает похвалу за счет прилежного, что наглый затейник шалости не признательностью отделяется от наказания, а сделавший шалость и чистосердечно признавшийся в ней нещадно наказывается; что честность часто не только не дает богатства, но делает еще беднее, и пр. Да, все это, к несчастью, узнает каждый из них. Но не каждый из них узнает, что наказание за худое дело производится самым этим делом и состоит в отсутствии из души благодатной любви, мира и гармонии, единственных источников истинного счастья; что награда за доброе дело опять-таки происходит от самого этого дела, которое дает человеку сознание своего достоинства, сообщает его душе спокойствие, гармонию, чистую радость и через то делает ее храмом божим, потому что бог там, где безмятежная, просветленная радость, где любовь. А обо всем этом должны бы детям говорить детские книжки. Они бы должны были внушать им, что счастье не во внешних и призрачных случайностях, а во глубине души, что не блестящий, не богатый, не знатный человек любим богом, но «сокровенный сердца человек в нетленном».

украшении кроткого и спокойного духа, что драгоценно пред богом», как говорит св. апостол Петр⁷. Они бы должны были показать им, что мир и жизнь прекрасны, так как они есть, но что независимость от их случайностей состоит не в ковче-самолете, не в волшебном прутике, мановение которого воздвигает дворцы, вызывает легионы хранительных духов, с пламенными мечами, готовых наказывать злых преследователей и обидчиков, но в свободе духа, который силою божественной, христианской любви торжествует над невзгодами жизни и бодро переносит их, почерпая свою силу в этой любви. И если бы все это они передавали им не в истертых сентенциях, не в холодных нравоучениях, не в сухих рассказах, а в повествованиях и картинах, полных жизни, движения, проникнутых одушевлением, согретых теплотою чувства, написанных языком легким, свободным, игривым, цветущим в самой своей простоте, то могли бы служить одним из самых прочных оснований и самых действительных средств для воспитания детей. И какое обширное, богатое поле представляется таким писателям: не говоря уже об источнике их собственной фантазии, религия, история, география, естествознание — умеете только пожинать! Да, для детей предметы те же, что и для взрослых людей, только изложенные сообразно с их понятием, а в этом-то и заключается одна из важнейших сторон этого дела. Какие богатые материалы представляет одна история! Показать душе юной, чистой и свежей примеры высоких действий представителей человечества, действительность добра и призрачность зла — не значит ли это возвысить ее? Провести детей по трем царствам природы, пройти с ними по всему земному шару, с его многолюдными населенными и пустынями, с его сушею и океанами — не значит ли это показать им творца в его творении, заставить их возлюбить его и возблаженствовать этою любовью?.. Пишите, пишите для детей, но только так, чтобы вашу книгу с удовольствием прочел и взрослый, и, прочтя, перенесся бы мечтою в светлые годы своего младенчества... Главное дело, как можно меньше сентенций, нравоучений и резонерства: их не любят и взрослые, а дети просто ненавидят. Они хотят в вас видеть друга, а не наставника, требуют от вас наслаждения, а не скуки, рассказов, а не поучений. Дитя веселое, доброе, живое, резвое, жадное до впечатлений, страстное к рассказам, не чувствительное, а чувствующее — такое дитя есть дитя божие: в нем играет юная, благодатная жизнь, и над ним почивает благословение божие. Пусть дитя шалит и проказит, лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себе отпечатка физического и нрав-

ственного цинизма; пусть оно будет безрассудно, опрометчиво, лишь бы оно не было глупо и тупо; мертвенность же и безжизненность хуже всего. Но ребенок рассуждающий, ребенок благоразумный, ребенок резонер, ребенок, который всегда осторожен, никогда не сделает шалости, ко всем ласков, вежлив, предупредителен, и все это по расчету, то горе вам, если вы сделали его таким!.. Вы убили в нем чувство и развили конечный рассудок; вы заглушили в нем благодатное семя бессознательной любви, и возрастили в нем — резонерство... Бедные дети, сохрани вас бог от оспы, кори и сочинений Беркена⁸, Жанлис⁹ и Бульи!..

Много, много еще можно было сказать об этом предмете, но мы и так уже заговорились больше, нежели сколько позволяют пределы библиографической статьи, и совсем потеряли из виду книжки г. Бурьянова, подавшие нам повод к этим рассуждениям. Что же они, эти книжки г. Бурьянова? А вот постоит, сейчас скажем. Г. Бурьянов пишет для детей так много, что один журнал назвал его за плодovitость детским Вальтер Скоттом. В самом деле, г. Бурьянов много пишет, и потому между ним и В. Скоттом удивительное сходство! Против этого нечего и спорить. А между тем, г. Бурьянов все-таки самый усердный и деятельный писатель для детей, и если бы в литературной деятельности этого рода все ограничилось только усердием и деятельностью, т. е. если бы тут не требовалось еще призвания, таланта, высших понятий о своем деле и, наконец, знания языка, то мы бы первые были готовы оставить за ним имя какого угодно гения, начиная от Гомера до Гете вступительно. Но... что и как переводит и пишет г. Бурьянов? — а вот посмотрим.

Первая из четырех поименованных нами книг г. Бурьянова «Библиотека детских повестей и рассказов» есть его сочинение и может служить образчиком его сочинений в этом роде, а вторая «Советы для детей» Бульи — есть его перевод и может служить образчиком выбора и достоинства его переводов. Первого сочинения мы прочли только одну часть. Нравственное начало есть жизнь этого сочинения: вот его лучшая и полная характеристика. Порок или исправляется или наказывается: добродетель торжествует — это уж само-собою разумеется; но не всякий догадается, что русские повести г. Бурьянова суть переложения французских на русские нравы, или, лучше сказать, на русские имена и фамилии, — то же, что русские водевили. Но есть и оригинальные — мы прочли какого-то «Нового кавказского пленника» — и задумались над словом «новый»: какой же «старый» — неужели Пушкина? но — в таком случае — что за отношение между

ними? уж не такое ли, как между г. Бурьяновым и В. Скоттом? — может быть! Мы уже не говорим, что в этой повести нет ни характеров, ни лиц, ни природы кавказской, ни красок, ни теплоты душевной, ни умения рассказывать, а следовательно, и занимательности, ни слога — ничего этого мы и не искали в ней, но нам показалось досадным искажение местностей Пятигорска: у г. Бурьянова, Эльборус выглядывает из-за Бештау, тогда как Бештау стоит вправо от Пятигорска и в стороне от Эльборуса; черкес, набросив на голову лошади бурку(?), низвергается с берега в Подкумок, тогда как берега Подкумка чуть не вровень с водою, а сам он глубиною — воробью по колено; низверженные грозю огромные сосны лежат через бурные потоки, служа г. Бурьянову мостами, тогда как в окрестностях Пятигорска ни на Машуке, ни на Бештау, ни на других близких к ним горах нет ни потоков, ни сосен, даже маленьких, не только больших, а растет жалкий дубовый кустарник, едва в рост человека. Мы не читали сочинения г. Бурьянова «Прогулка с детьми по России»; но после такого верного описания Пятигорска, смеем думать, что немного правды о России выходят дети из этой бесконечной прогулки.

«Советы для детей» — превосходны: чистейшая нравственность¹⁰ так и блесит в них, вместе с лубочными картинками, на которых она представлена в лицах. Не угодно ли полюбоваться? — Малютки — брат и сестра, дети бедного солдата, пошли с кувшином за водою, и мальчик разбил кувшин. Сделавши беду, он начал плакать, боясь, что отец его жестоко накажет; сестра предлагает ему снять вину на себя; мальчик наотрез отказывается от такого ужасного самопожертвования. Этот спор великодушия подслушивает за деревьями одна достаточная вдова; дарит мальчику новый кувшин, приговаривая: «Вот что значит никогда не лгать: рано или поздно бог награждает нас за это». Потом богатая вдова выводит из бедности старого солдата, отца малюток, осыпав его своими благодеяниями, и изю всего этого снова выводится святое правило, что «быть добрым и никогда не лгать очень выгодно, потому что за это платится наличною звонкою монетою». А каков перевод этой книжки — извольте полюбоваться: «Дети эти были: Томи, двенадцатилетний резвый, здоровый и чрезвычайно прямодушный ребенок, живое изображение отца, и Ниса, его сестра, хорошенькая, десятилетняя девочка, очень обходительная и ласковая в обращении, одаренная милым личиком, носившим выражение кроткого, хотя и живого характера, заимствованного (?) ею от почтенной ее матери, бывшей некогда горничной в доме одной знатной

госпожи, где, конечно, ей было очень хорошо; однако эта добрая женщина, не желая расставаться с мужем, страстно ею любимым, последовала за ним в армию в звании маркитанши». Какой длинный период, что за роскошь в частностях, действительных и страдательных!.. Бедные дети! мало того, что г. Бульи иссушает в ваших юных сердцах благоухающий цвет чувства и выращает в них пырей в белену резонерства: г. Бурьянов еще убивает в вас и всякую возможность говорить и писать по-человечески на своем родном языке!..

«Зимние вечера», сочинение какого-то г. Деппинга имело во всей Европе чрезвычайный успех, как уверяет г. Бурьянов в предисловии к этой книге, переведенной им с четвертого издания. Может быть, эта книга и в самом деле хороша, но так как мы не читали ее в подлиннике, а г. Бурьянов столько же переделал эту книгу, сколько перевел ее, то, зная направление переводчика, мы и не почитаем себя вправе судить о ней. По крайней мере, в переводе-то она показалась нам довольно сухим и утомительным изложением фактов. А ведь было бы где развернуться! Показать детям мир божий в картине человеческих племен и обществ — богатый предмет! Особенно нам не понравилось обилие сентенций там, где само дело говорит за себя... Но эти рассуждения, может быть, слишком высоки и неуместны, когда дело идет о книжках г. Бурьянова, и потому мы перейдем к предмету, ближайшему к ним, и в другой раз попросим наших читателей полюбоваться переводом г. Бурьянова: «Бураном называется на севере ураган или чрезвычайно сильный ветер, свирепствующий часто с таким неистовством, что не только вырывает деревья с корнями, ломает крыши, заносит дорогу, но отбрасывает в сторону овец, а человек, не быв в состоянии противустоять его порывам, и, блуждая в взволновавшейся снежной пустыне принужден бывает лечь на землю, где зарытый с ног до головы в снег, который падает на него с неба большими хлопьями и налегает густыми столбами, погоняемыми ветром, ожидает терпеливо окончания бури, чтобы снова при свете и в тихую погоду продолжать свой путь». Не правда ли, что это образец длинных периодов и разговорного слога?..

«Прогулка с детьми по С.-Петербургу» есть самое скучное и голословное исчисление зданий и достопримечательностей Петербурга. А и тут было бы где развернуться, потому что в Петербурге нет ни одного здания, которого вид не пробуждал бы в памяти какого-нибудь случая, какой-нибудь подробности о его великом основателе — Петре, нашей народной гордости и славе, и его великих наследни-

ках. И г. Бурьянов кое-где и берется за это, но его описания вялы, холодны, мелочно-подробны и касаются больше до ширины и вышины стен; а его воспоминания очень походят на общие места. Он даже выписывает местами приличные стихи из Пушкина и Жуковского, но, вместе с ними, прилагает и вирши Рубана. Нет, это книжка не для детей; скучно, утомительно, и бесплодно будет им читать ее: они ничего не упомнят из нее, потому что дети понимают и помнят не рассудком и памятью, а воображением и фантазией, а что за пища воображению и фантазии эти статистические описания, эти сухие, голословные исчисления бесчисленных фактов? Нам скажут: «это займет детей и удержит их от резвости и шалостей». Положим, что и так, но что за польза в этом! нет, пусть лучше дети шалят и резвятся — это необходимо в их возрасте, пусть лучше бегают по саду или полю и привыкают созерцать живую природу в ее красоте — это развивает в них чувство бесконечного: а такое препровождение времени в тысячу раз полезнее, нежели чтение подобных книг...



ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД

Две сказки Гофмана для больших и маленьких детей. СПб, 1840

ДЕТСКИЕ СКАЗКИ ДЕДУШКИ ИРИНЕЯ

Две части. СПб, 1840

О воспитании детей вообще. — Как должны писаться детские книги, по их отношению к воспитанию. — О двух детских сказках Гофмана. — О детских книгах на русском языке и «Детских сказках дедушки Ириней»¹¹

Самые, повидимому, простые и обыкновенные предметы часто бывают, в своей сущности, самыми важными и великими. Все говорят, например, о важном влиянии воспитания на судьбу человека, на его отношения к государству, к семейству, к ближним и к самому себе; но многие ли понимают то, что говорят? Слово еще не есть дело; всякая истина, как бы ни была она несомненна, но если не осуществляется в делах и поступках, произносящих ее, — она есть только слово, пустой звук, та желошь. Посмотрите внимательнее на отношение родителей к детям, детей к родителям, словом, посмотрите внимательнее на воспитание — и у вас сердце обольется кровью. Ребенок ест что ни попало и сколько хочет: что нужды! говорят нежные родители: ведь он еще дитя! Ребенок мучит собаку или колотит дворового мальчишку: что нужды! восклицают заботливые родители: ведь он еще дитя! Дети ссорятся, кричат между собою, и если их крик, брань и слезы не мешают папеньке и маменьке соснуть после обеда, или поговорить с гостями, — что нужды — ведь они дети, пусть себе ссорятся и кричат: вырастут велики, не будут ссориться и кричать! Перебранившись, а иногда и передравшись друг с другом, дети прибегают к отцу и матери с жалобою друг на друга — и! помилуйте! стоит ли разбирать детские ссоры! Если вы строго, дайте всем по щелчку, или пересеките всех розгами, что б никому не было завидно; если вы добры к детям, или воспитываете их на благородную ногу, — дайте

им игрушек или сладостей, да, перецеловав их, вышлите от себя, чтобы они опять пошли браниться и драться. Ребенок не учится, не хочет и слышать, чтоб взять в руки книгу: что за нужда, ведь он еще дитя — подрастет, будет поумнее, так станет и учиться! Ребенок хватается за всякую книгу, какая ему ни попадется, хотя бы то была анатомия с картинками, или Аретин с гравюрами: что за нужда — ведь он еще дитя! благо, что охота к книгам есть — пусть лучше навькает читать, чем резвиться! Учитель говорит отцу, что грамматика, которую он купил для сына, не годится, что она или уж устарела, или бестолкова, бессмысленна, что ее не понимает сам автор, не знающий ни духа, ни характера языка: это еще что за новости! восклицает опытный и благоразумный родитель: ведь он дитя — для него всякая книга годится, а за эту я заплатил деньгами, стало быть, хороша!.. А между тем, заговорите с «дражайшими родителями» о детях и воспитании: сколько общих фраз, сколько ходячих истин наговорят или на резонёрствуют они вам! «Ах, дети! да как тяжело иметь детей! сколько забот! надо вырастить да и воспитать! Мы ничего не щадим для воспитания своих детей! Из последних сил бьемся! Я отдал своих в училище, покупаю книги — тьма расходов! А мы для своих прискакали мадам (или мамзель — провинциальные названия гувернанты!), чтобы они и по-французски знали и на фортепьянах играли!» В добрый час, дражайшие родители!..¹²

Но это еще только одна сторона воспитания, или того, что так ложно называют воспитанием. Это еще только воспитание, как обыкновенно говорят, на волю божью, а в самом-то деле, на волю случая, — воспитание природное, воспитание не в переносном, а в этимологическом значении этого слова, т. е. возкормливание, — воспитание простонародное, мещанское. Есть еще воспитание попечительное, деликатное, строгое, благородное. В нем на все обращено внимание, ни одна сторона не забыта. При этом воспитании дитя ест и во-время и в меру, перед обедом непременно ходит гулять с гувернером или гувернанткой, умеренно резвится, занимается гимнастическими упражнениями на красивых вешалках, столбах, перекладинах, по часам учится, в определенную пору встает и ложится. Физическое воспитание в гармонии с нравственным: развитию здоровья и крепости тела соответствует развитие умственных способностей и приобретение познаний. А форма — о, это самое изящество! При опрятности царствует простота и неизъяснимая, соединенные с благородством, достоинством, хорошим вкусом и хорошим тоном. И это отражается во всем: и в одежде, и в манерах. Одно то чего стоит, что дитя умеет уже скры-

вать свои чувства, не хвататься жадно за то, чего жадно желает, не обнаруживать удивления и радости к тому, что возбуждает в нем удивление и радость, словом — научается приличию и тону жертвовать всеми своими чувствами, даже самыми святыми, самыми человеческими!.. Короче: даже китайские мандарины, эти высокие идеалы и образцы при-
роды искаженной и умершей от искусственности, даже китайские мандарины ничто пред этими милыми, благовоспитанными детьми... И если жизнь человеческая есть театральная сцена или салон, и если казаться¹³ есть цель человеческой жизни, то в этом образе воспитания мы нашли норму воспитания. В самом деле, что может быть прекраснее и очаровательнее, например, светской девушки? — Она скорее согласится тысячу раз умереть, нежели один раз в жизни, в глазах света, показаться смешною, т. е. придти в восторг от создания искусства, от созерцания явлений природы, или от рассказа о высоком подвиге, и всего, от чего плачут и чем восхищаются люди дурного тона. Она столько же развязна и свободна, сколько и грациозна; ничему не удивляясь, она ничего не испугается и ни отчего не придет в смущение. В ней всегда такое спокойствие, такая ровнота духа, все так соразмерно и прилично... А сколько в ней талантов, которых она не выставляет на вид, как какая-нибудь провинциалка, но за которые она часто слышит себе „charmant“! Ко всему этому, какая у ней чистая душа, какое нравственное сердце: она уже невеста, — а кроме Бульи и Беркена еще ничего не читала, и произнесите при ней имя Шекспира, она с милою наивностью спросит вас: *mais qu'est-ce que c'est?* — а когда вы начнете говорить о Шекспире, она с такою милою рассеянностью, с таким достоинством и так неожиданно для вас повернет разговор на погоду или на последний бал. Виктора Гюго и Поль-де-Кока она будет читать уже после замужества, а пока довольно с нее Бульи и Беркена. Оно и хорошо: Шиллер, Гете, Байрон, Гофман, Шекспир, Вальтер Скотт, Пушкин — опасны для юного девственного сердца: чего доброго! они взволнуют его какими-то странными желаниями, неясными мечтаниями, произведут в девушке экстаз, экзальтацию, дадут ей какую-то внутреннюю поэтическую жизнь, — и вот долго ли до греха! — девушка встречает на земле какую-то родную душу, без копейки за душою —

И жизнь могучая дает
И пышный цвет, и сладкий плод —

как сказал Пушкин... Мечтать и любить — предаться человеческой страсти — да что же скажет свет?.. Нет, не такова

благовоспитанная девушка высшего тона: она может выдвигаться из толпы, но красотой, если бог наградил ею, нарядом, если ее пара богаче других, но не душой, не сердцем и не другими мецанскими странностями. Она выйдет замуж; даже если и другие не похлопочут об этом, сама все устроит, но это замужество будет блестящее, способное возбуждать зависть, а не толки. Вот что делает истинное воспитание из девушек! А юноши? — О, об них я боюсь и говорить: все они и умные и глупые, и ученые и невежды — все они с таким философским равнодушием смотрят на жизнь, в которой для них нет ничего ни таинственного, ни удивительного, ни непостижного; все они с такою «львиною» наглостью наводят на вас свой лорнет... прекрасные молодые люди!.. А как свободно, с какою небрежностью говорят они по-французски — словно на родном языке, и как мило не умеют связать двух русских фраз, написать русской строки без орфографических ошибок — педантизма в них нет ни тени!..

Мы представили две крайности одной и той же стороны; но есть еще середина, которая, как все почти середины, часто бывает хуже крайностей. Мы говорим о воспитании того класса общества, которое на низшие смотрит с благородным презрением и чувством собственного достоинства, а на высшие с благоговением. Оно из всех сил хлопочет быть их верною копиею; но, на зло себе, остается каким-то средним пропорциональным членом, с собственною характеристикой, которая состоит в отсутствии всякого характера, всякой оригинальности и которую всего вернее можно назвать мешанством во дворянстве. Непринужденность и милая наглость переходят у него в жеманство и кривлянье. Хороший тон — в обезьянничестве. Смешно и жалко смотреть,

Как негодяй официант
Ломает барина в передней!

Но это в сторону: дело в том, что в этом кругу общества воспитание состоит в том, чтобы убить в детях всякую жизнь и живость, сделать из них попугаев и милых кукол, о которых бы все говорили: ах, как хорошо они воспитываются!..

Воспитание! Оно везде, куда ни посмотрите, и его нет нигде, куда ни посмотрите*. Конечно, вы его можете увидеть даже во всех слоях общества, от самого высшего до самого

* Здесь разумеется только воспитание частное или домашнее. — В. Б.

низшего, но как редкость, как исключение из общего правила. От чего же это? Да от того, что на свете бездна родителей, множество *paras et matans*, но мало отцов и матерей. «Вот прекрасно!» — восклицаете вы: «какая же разница между родителями, и отцом и матерью?» — Как какая? — взгляните летом на мух: какая бездна родителей, но где же отцы и матери? Грибоедов давно уже сказал:

Чтоб иметь детей,
Кому ума не доставало!

Право рождения — священное право на священное имя отца и матери — против этого никто и не спорит; но не этим еще все оканчивается: тут человек еще не выше животного; есть высшее право — родительской любви. «Да какой же отец или как мать не любит своих детей?» — говорите вы. Так, но позвольте вас спросить, что вы называете любовью? как вы понимаете любовь? — Ведь и овца любит своего ягненка: она кормит его своим молоком и облизывает языком; но как скоро он меняет ее молоко на злак полей — их родственные отношения оканчиваются. Ведь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она нещадно била по щекам старую Еремеевну и за то, что дитя много кушало, и за то, что дитя мало кушало; она любила его так, что если бы он вздумал ее бить по щекам, она стала бы горько плакать, что милое, ненаглядное детище больно обколотит об нее свои ручки. Итак, разве чувство овцы, которая кормит своим молоком ягненка, чувство г-жи Простаковой, которая, бывши и овцою и коровою, готова еще сделаться и лошадкою, чтобы возить в колясочке свое двадцатилетнее дитя, — разве все это не любовь? — Да, любовь, но какая? Любовь чувственная, животная, которая в овце, как в животном, отличающемся и животною фигурою, имеет свою истинную, разумную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая в г-же Простаковой, как в животном, отличающемся человеческою фигурою, вместо овечьей, — бессмысленна, безобразна и отвратительна. Далее: ведь и Павел Афанасьевич Фамусов любил свою дочь, Софью Павловну: посмотрите, как он хлопочет, чтобы по выгоднее сбыть ее с рук, подороже продать... Продать? — какое ужасное слово!.. Отец продает свою дочь, торгует ею, конечно не по мелочи, но один раз навсегда, и не больше, как для одного человека, который будет называться ее мужем! Но ведь это он делает не для себя, а для ее же счастья? — скажут многие. Прекрасно! Но после этого и разбойник, который для приданого дочери зарежет пред ее свадьбою нескольких человек, будет прав, потому что сделает это из любви к дочери?

После этого, и иная матушка, которая, не желая видеть в нищете свою нежно-любимую дочь, научит, или принудит ее сделать выгодный промысел из своей красоты, — тоже будет права, потому что поступит так из любви к дочери? И разве этого не бывает в самом деле? Разве старый подъячий, закореневший в лихоимстве и казнокрадстве, не поставлял первым и священным долгом своего родительского звания, передать свое подлое ремесло нежно-любимому сынку? — Мы опять соглашаемся, что источник всего этого любовь, но как ая — вот вопрос! Откуда она пристекает, куда она стремится, к кому обращается? Зачем зверь рвет и губит подобных себе, а в голоде пожирает собственных детей? — Затем, что он любит себя, а любовь к себе есть условие всякой индивидуальности, которая, в свою очередь, есть условие всякого бытия, основа и закон жизни. Зачем собака грызется с другою из-за брошенной кости? — Опять затем, что любит себя. И нас не оскорбляет это в животных; по крайней мере, мы не виним их за это, и не считаем злодеями и преступниками, потому что они живут и действуют под невольным, рабским влиянием животного инстинкта и, кроме сохранения и возрождения своей индивидуальности, не имеют никаких обязанностей. И человек, подобно животному, замкнут в своей индивидуальности, и бессознательно следует данному ему природою инстинкту самосохранения и стремлению к улучшению своего положения; но неужели этим все и должно в нем оканчиваться? — Нет, разница человека с животными именно в том и состоит, что он только начинается там, где животные уже оканчиваются. Кроме обязанностей к себе, он имеет еще обязанности к ближним; кроме инстинкта, который есть у животных, он имеет еще чувство, рассудок и разум, которых нет у животных; будучи существом и растительным и животным, будучи плотским организмом, он есть еще и дух — искра и облик духа божия. Следовательно, и его любовь должна быть высшего ступеню той любви, которую мы видим во всей природе, — от сродства стихий, — от их безмолвного организирования в минерал, заключенный в недрах земли, от прозябания дольней лозы, возникающей из зерна, — до животного, которое добровольно лишается жизни, с яростью защищая своих детей. Человек есть мир в малом виде: в его организме все стихии природы, первосущные ее силы, — вся минеральная природа — металлы и земли; в жизни его организма все процессы природы — и минеральное сращение извне, и прозябаемая растительность, и животное развитие изнутри. Он является на свет животным, которое кричит, спит, ест и инстинктивно хватается за грудь, и инстинктивно сердится,

когда его от нее отнимают. Но уже с того мгновения, как язык его, от безразличных междометий, начинает постепенно переходить к членораздельным звукам и лепетать первые слова, — в нем уже оканчивается животное и начинается человек, вся жизнь которого, до поры полного мужества, есть не что иное, как непрерывное формирование, делание, становление (das Werden) полным человеком, для полного наслаждения и обладания силами своего духа, как средствами к разумному счастью. Еще младенец, припав к источнику любви — к груди своей матери, он останавливает на ней бессмысленный взгляд молодого животного, но горящий светом разума, хотя и бессознательного; он улыбается своей матери — и в его улыбке светится луч божественной мысли. Во всех проявлениях его любви просвечивает не простое, инстинктивное, но уже нечуждое смысла и разумности чувство: еще ноги его слабы, он не может сделать ни шага для вступления в жизнь, но уже любовь его выше любви животной. Так неужели, после этого, любовь родителей, — существ вполне развившихся, должна оставаться при своей естественности и животности, неспособных отделиться от самих себя и перейти за околдованную черту замкнутой в себе индивидуальности? Нет, всякая человеческая любовь должна быть чувством, просветленным разумною мыслью, чувством одухотворенным. Но что же такое любовь? — Это жизнь, это дух, свет луча: без нее, все — смерть, при самой жизни, все — материя, при самом органическом развитии, все — мрак, при самом зрении. Любовь есть высшая и единая действительность, вне которой все — призраки, обманывающие зрение, формы без содержания, пустота в кажущихся границах. Как огонь есть вместе и свет и теплота, так и любовь есть осуществившийся, явленный разум, осуществившаяся, явленная истина. Ею все держится и весь мир — ее явление. В природе она разлита как электричество: в духе является разумною мыслью, в самой себе носящей силу своего проявления в благом действии. И потому, человек, полный ею, сильнее Самсона: с мучениками первых времен христианской церкви бестрепетно шел к диким зверям и, объятый пожирающим пламенем, пел гимны богу живому и бессмертному; он из рыбака становился ловцом человеков. Любовь столь сильна, что творит непостижимое, торжествует над вечно неизменными условиями пространства и времени, над бессилием плоти, младенцу дает львиную силу. Сам бог есть любовь и источник любви, из которого все исходит и в который все возвращается. «Возлюбленные! станем любить друг друга; ибо любовь от бога, и всякий, кто любит, рожден от бога, и знает бога. Кто не

любит, тот не познал бога; потому что бог есть любовь. — Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в боге, и бог в нем», — говорит св. апостол Иоанн (перев. пос. гл. IV, ст. 7, 8 и 16). И потому, всякая власть и всякая сила только в любви. И потому слово, проникнутое любовью, горит огнем неотразимого убеждения, и согревает теплотою умиления сердце, услышавшее его, и дает ему мир и счастье; но слово, лишенное любви, и святые истины делает холодным и мертвым нравоучением и потому бессильно над умом и сердцем.

Истина выше человека, как личности: чтоб быть достойным имени человека, он должен сделаться сосудом истины. Но истина не дается человеку вдруг, как его законное обладание: он должен достигать ее трудом, борьбою, лишениями и страданием, — и вся жизнь его должна быть стремлением к истине. Личность человеческая есть частность и ограниченность: только истина может сделать ее общим и бесконечным. Поэтому первое и основное условие достижения истины есть для человека отречение от самого себя в пользу истины. Отсюда происходят добровольные лишения, борьба с желаниями и страстями, неумолимая строгость к своему самолюбию, готовность к самообвинению пред истиною, самоотвержение и самопожертвование: кто не знал и не испытал в своей жизни ничего этого, — тот не жил в истине, не жил в любви.

Теперь взглянем с этой точки на любовь родительскую.

Отец и мать любят свое дитя, потому что оно их рождение. Родство крови есть первая и в то же время священная основа любви, ее исходный пункт, от которого движется ее развитие. Восставать против этого могут только или отвлеченные умы, рассудочные люди, не способные проникнуть ни в какую живую, явленную истину, или сердца холодные, сухие, мертвые, если не порочные и не развратные. Но, повторяем, естественная любовь, основывающаяся на одном родстве крови, еще далеко не составляет того, чем должна быть человеческая любовь. Из родства крови и плоти должно развиться родство духа, которое одно прочно, крепко, одно истинно и действительно, одно достойно высокой и благородной человеческой природы. Посмотрите: сколько на свете дурных детей, которые теряют к родителям всякую любовь, но оказывают к ним только внешнее, формальное уважение, как скоро избавляются, годами и обеспечением своего состояния, от их власти и влияния, и к тому же не ждут себе никакого наследства после их смерти. Сколько бывает в свете ужасных примеров детей, не оказывающих родителям даже и внешнего уважения, требуемого общественными при-

личиями, — даже детей, оскорбляющих своих родителей, если те не решаются прибегнуть к гражданскому закону... Страшное, возмущающее душу зрелище! Бедные родители, несчастные дети! Да, несчастные, — и, жалея о первых, не спешите проклинать последних, но подумайте о том — природа ли создает извергов или воспитание и жизнь делают их такими. Мы не отвергаем, чтобы природа не производила людей, наклонных к пороку, но мы, вместе с тем, крепко убеждены, что такие явления возможны как исключения из общего правила, и что нет столь дурного человека, которого бы хорошее воспитание не сделало лучшим. Горе дурным детям! почему бы они ни сделались такими — от дурного ли воспитания, по вине родителей, или от случайных обстоятельств, но они несчастны, потому что не знают счастья сыновней любви и не могут иметь надежду вкушать счастье любви родительской. Но тем не менее должно вынкат в причины их нравственного искажения, если не для оправдания их, то для оправдания истины, которая выше всего, даже родителей, и для поучительного примера, в предотвращение таких возмущающих душу явлений. Мы сказали, что отец любит свое дитя, потому что оно его рождение; но он должен любить его еще как будущего человека, которого бог нарек сыном своим и за спасение которого он принял на кресте страдание и смерть. При самом рождении отец должен посвятить свое дитя служению бога в духе и истине, — и посвящение это должно состоять не в отторжении его от живой действительности, но в том, чтобы вся жизнь и каждое действие его в жизни было выражением живой, пламенной любви к истине, в которой является бог. Только такая любовь к детям истинна и достойна называться любовью, всякая же другая есть эгоизм, холодное самолюбие. Вся жизнь отца и матери, всякий поступок их должен быть примером для детей, и основой взаимных отношений родителей к детям должна быть любовь к истине, но не к себе. Есть отцы, которые любят детей для самих себя, — и в этой любви есть своя истинная и разумная сторона; есть отцы, которые любят своих детей для них самих, — и эта любовь выше, истиннее, разумнее; но при этих двух родах любви есть еще высшая, истиннейшая и разумнейшая любовь к детям — любовь в истине, в боге. Любит ли отец своего сына, если заставляет его смотреть с уважением на свои дурные и безнравственные поступки, как на благородные и разумные? Не все ли это равно, что требовать от дитяти, чтобы оно, вопреки своему зрению, белое называло черным, а черное белым? Тут нет любви, тут есть только самолюбие, которое свою личность ставит выше истины. А, между тем,

у ребенка всегда будет столько смысла, чтобы, видя, как его маменька колотит по щекам девок, или как его папенька чапивается пьян и дерется с маменькою, понимать, что это дурно. Конечно, приучая к таким сценам с малолетства и толкуя, что это хорошо, можно наконец уверить ребенка, что в сем-то и состоит истинная жизнь; но это значит развратить, погубить его: где ж тут любовь? — тут только самолюбие, которое в своих детях хочет видеть собственное безобразие, чтобы не иметь в них себе строгих, хотя и безмолвных, судей. Вопреки законам природы и духа, вопреки условиям развивающейся личности, отец хочет, чтобы его дети смотрели и видели не своими, а его глазами; преследует и убивает в них всякую самостоятельность ума, всякую самостоятельность воли, как нарушение сыновнего уважения, как восстание против родительской власти, — и бедные дети не смеют при нем рта разинуть, в них убита энергия, воля, характер, жизнь, они делаются почиттельными статуями, заражаются рабскими пороками — хитростью, лукавством, скрытностью, лгут, обманывают, вывертываются... Китайцы, поставляющие красоту женских ног в миньютюрности, зашивают у девочек ноги в сырую воловью шкуру, и снимают ее, когда уже девочки становятся девушками: ножки в самом деле крошечные, только кривы, изогнуты, уродливы, и женщина может ходить только в комнате, и то опираясь о стены и на мебель. Таковы результаты остановленной в свободном развитии природы! Таковы же бывают и результаты остановленного в естественном и самобытном развитии духа! Но что сказать о тех родителях, которые имеют несчастное убеждение, что для пользы и счастья своих детей они обязаны управлять теми их склонностями, которые решают счастье или несчастье целой жизни человека? И как часто случается, что прекрасная девушка, с глубокою душою, любящим сердцем, по какому-нибудь случаю получившая, на свою пагубу, хорошее воспитание, созданная украсить, озолотить, осчастливить жизнь избранного ею, который бы понял ее, выдается силою родительской власти за какое-нибудь грубое животное с человеческим обликом, и гибнет безмолвною жертвою тайного, никем непонятого страдания!.. Бедная, ей даже не на кого и жаловаться: ее погубили из любви же к ней, из искреннего желания ей добра и счастья... Горе человеку, когда его участь в руках злодеев, и такое же горе ему, когда его участь в руках добрых, но пошлых и глупых людей!.. Бедные женщины чаще всего испытывают на себе несомненность этой горькой истины... Молодой человек, принужденный избрать чуждую своему призванию дорогу жизни, рано или поздно, хоть с утрагою сил души, хоть

с обрезанными крыльями, но еще вылетает на желанную свободу, а женщины!.. Но что сказать о тех родителях, которые торгуют счастьем своих детей, спекулируют ими на богатство, на знатность, да еще действуют при этом во имя нравственности, любви и своих священных родительских обязанностей к детям?.. Но оставим этот ужасный предмет, от которого возмущается и содрогается человеческая природа, будто при виде удава или гремучей змеи...

Разумная любовь должна быть основой взаимных отношений между родителями и детьми. Любовь предполагает взаимную доверенность, — и отец должен быть столько же отцом, сколько и другом своего сына. Первое его попечение должно быть о том, чтобы сын не скрывал от него ни малейшего движения своей души, чтобы к нему первому шел он и с вестью о своей радости или горе, и с признанием в проступке, в дурной мысли, в нечистом желании и с требованием совета, участия, сочувствия, утешения. Как грубо ошибаются многие, даже из лучших отцов, которые почитают необходимым разделять себя с детьми строгостью, суровостью, недоступною важностью! Они думают этим возбудить к себе в детях уважение, и в самом деле возбуждают его, но уважение холодное, боязливое, трепетное, и тем отворачивают их от себя и невольно приучают к скрытности и лживости. Родители должны быть уважаемы детьми, но уважение детей должно проистекать из любви, быть ее результатом, как свободная дань их превосходству, без требования получаемая. Ничто так ужасно не действует на юную душу, как холодность и важность, с которыми принимается горячее излияние ее чувства, ничто не обливает ее таким умерщвляющим холодом, как благоразумные советы и наставления там, где ожидает она сочувствия. Обманутая таким образом в своем стремлении раз и другой, она затворяется в самой себе, сознает свое одиночество, свою отдельность и особность от всего, что так любовно и родственно еще недавно окружало ее, и в ней развивается эгоизм, она приучается думать, что жизнь есть борьба эгоистических личностей, азартная игра, в которой торжествует хитрый и безжалостный и гибнет неловкий или совестливый. Открытая душа младенца или юноши — светлый ручей, отражающий в себе чистое и ясное небо; запертая в самой себе, она — мрачная бездна, в которой гнездятся нетопыри и жабы... Если же не это, может случиться другое: индивидуальность человеческая, по своей природе, не терпит отчуждения и одиночества, жаждет сочувствия и доверенности подобных себе, — и дети сдружаются между собою, составляют род общества, имеющего свои тайны, общими и соединенными силами скры-

ваемые, что никогда до добра не доводит. Это бывает еще опаснее, когда друзья избираются между чужими, и тем более, когда избранный друг старше избравшего: он берет над ним верх, приобретает у него авторитет и передает ему все свои наклонности и привычки, — что же, если они дурны и порочны?.. Нет! первое условие разумной родительской любви — владеть полной доверенностью детей, и счастливы дети, когда для них открыта родительская грудь и объятия, которые всегда готовы принять их, и правых и виноватых, и в которые они всегда могут броситься без страха и сомнения! —

Юная душа, не испытывавшая еще отчуждения и сомнения, вся открыта наружу; она не умеет любить в меру, но предается предмету своей любви беззаветно и безусловно, видит в нем идеал всевозможного совершенства, высший образец для своих действий, верит ему со всем жаром фанатика. И что же, если такая любовь устремлена к родителям, соединяясь с естественною, кровною любовью к ним! О, для таких детей высочайшее счастье как можно чаще быть в присутствии родителей, наслаждаться их разговорами, сопровождать их в прогулке, иметь свидетелями своих игр и резвостей, обращаться к ним в недоразумениях, избирать их в посредники между собою в своих маленьких ссорах и неудовольствиях! Нужно ли доказывать, что при таком воспитании родители одною ласкою могут делать из своих детей все, что им угодно; что им ничего не стоит приучить их с малолетства к выполнению долга — к постоянному, систематическому труду в определенные часы каждого дня (важная сторона в воспитании: от упущения ее много губится в человеке!)? Нужно ли говорить, что таким родителям очень возможно будет обратить труд в привычку, в наслаждение для своих детей, а свободное от труда время — в высшее счастье и блаженство? Еще менее нужно доказывать, что при таком воспитании совершенно бесполезны всякого рода унижительные для человеческого достоинства наказания, подавляющие в детях благородную свободу духа, уважение к самим себе и растлевающие их сердца подлыми чувствами унижения, страха, скрытности и лукавства? Суровый взгляд, холодно вежливое обращение, косвенный упрек, деликатный намек, и уже много-много, если отказ в прогулке с собою, в участии слушать повесть или сказку, которую будет читать или рассказывать отец или мать, наконец, арест в комнате, — вот наказания, которые, будучи употреблены соразмерно с виною, произведут и сознание, и раскаяние, и слезы, и исправление. Нежная душа доступна всякому впечатлению, даже самому легкому: у ней есть тонкий инстинкт, по

которому она сама догадывается о неловкости своего положения, если подала к нему повод; душа грубая, привыкшая к сильным наказаниям, ожесточается, черствеет, мозолится, делается бесстыдно-бессовестною, и ей уж скоро ни по чем всякое наказание. Нужно ли говорить, что такое воспитание легко и возможно, но требует всего человека, всего его внимания, всей его любви? Отцы, которых вся жизнь сосредоточена в детях, отдана им без раздела, — редкие явления, но для них-то и говорим мы, к ним и обращаем речь нашу, — и дай бог, чтобы она принята была ими с такою же любовью и искренностью, с какими мы обращаемся к ним!.. Все же не такие могут нам не верить и даже смеяться над нами, если им это заблагорассудится... В добрый час!..

Воспитание — великое дело: им решается участь человека. Молодые поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое есть их настоящее, получаемое ими как наследство от старейших поколений. Как зародыш будущего, которое должно сделаться настоящим, каждое из них есть новая идея, готовая сменить старую идею. Это и есть условие хода и процесса человечества. «Не вливают вина молодого в мехи старые», сказал наш божественный спаситель, и он же изрек о детях, приведенных к нему для благословения: «Таковых есть царствие небесное». Но новое, чтоб быть действительным, должно исторически развиваться из старого, — и в этом законе заключается важность воспитания, и им же обуславливается важность тех людей, которые берут на себя священную обязанность быть воспитателями детей. ✓ Правительство, неуспынно пекущееся о нашем благе, ничего не щадит для утверждения на прочных основаниях общественного образования. Несмотря на бесчисленное множество уже существующих учебных заведений, оно не перестает учреждать новые на лучших основаниях, а старые преобразовывать соответственно потребностям времени; употребляет на них огромные суммы, замещает вакантные места молодыми людьми, более старых способными удовлетворить современным требованиям, — и кто вникал со вниманием в эту отрасль администрации, тот не мог не дивиться быстрым переменам в ней к лучшему, богатым прекрасными результатами. Но общественное образование, преимущественно имеющее в виду развитие умственных способностей и обогащение их познаниями, совсем не то, что воспитание домашнее: то и другое равно необходимы, и ни одно другое заменить не может. Вот что говорит об этом великий германский мыслитель Гегель в своей торжественной речи на акте Нюрнбергской гимназии¹⁴, обязанной его кратковре-

менному управлению теперешним своим процветанием: «В связи с этим находится еще другой важный предмет, который ставит школу еще в большую необходимость опираться на домашние отношения учеников — это дисциплина. Я здесь отличаю воспитание нравов от их образования. Целью учебного заведения может быть не воспитание, не дисциплина нравов в собственном смысле, а образование их и притом не со всеми средствами, к нему ведущими. Учебное заведение должно предполагать добрую нравственность в своих учениках. Мы должны требовать, чтобы ученики, вступающие к нам в школу, уже получили предварительное воспитание. По духу нравов нашего времени непосредственное воспитание не есть, так как у спартанцев — публичное, государственное; обязанность и забота воспитания лежит на родителях. Другое дело — сиротский дом или семинарии и вообще все заведения, которые обнимают целое существование юноши».

Так! на родителях, на одних родителях лежит священная обязанность сделать своих детей человеками; обязанность же учебных заведений — сделать их учевыми, гражданами, членами государства на всех его ступенях. Но кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин, плохой слуга государю. Из этого видно, как важен, велик и священ сан воспитателя: в его руках участь целой жизни человека. Первые впечатления могущественно действуют на юную душу: все дальнейшее ее развитие совершается под их непосредственным влиянием. Всякий человек, еще не родившись на свет, в самом себе носит уже возможность той формы, того определения, какое ему нужно. Эта возможность заключается в его организме, от которого зависит и его темперамент, и его характер, и его умственные средства, и его склонность и способность к тому или другому роду деятельности, к той или другой роли в общественной драме, — словом, вся его индивидуальная личность. По своей природе никто ни выше, ни ниже самого себя: Наполеоном или Шекспиром должно родиться, но нельзя сделаться; хороший офицер часто бывает плохим генералом, а хороший водевилист дурным трагиком. Это уже судьба, перед которою бессильна и человеческая воля и самые счастливые обстоятельства. Назначение человека — развить лежащее в его натуре зерно духовных средств, стать вровень с самим собою; но не в его воле и не в его силах приобрести трудом и усилием сверх данного ему природою, сделаться выше самого себя, равно как и быть не тем, чем ему назначено быть, как например художником, когда он родился быть мыслителем, и т. д. И вот здесь воспитание

получает свое истинное и великое значение. Животное, родившись от льва и львицы, делается львом, без всяких стараний и усилий с своей стороны, без всякого влияния счастливого стечения обстоятельств; но человек, родившись не только львом или тигром, даже человеком в полном значении этого слова, может сделаться и волком, и ослом, и чем угодно. Часто, одаренный великими средствами на великое, он обнаруживает только дикую силу, которая служит ему ни к чему иному, как к разрушению всего окружающего его и даже самого себя. И если бывают такие богатые и могучие натуры, которые собственно глубиной и силою спасаются от гибели или искажения вследствие ложного, неестественного развития и дурного воспитания, — то все-таки нельзя же сомневаться в том, что те же самые натуры, но при нормальном развитии и разумном воспитании прямее дошли бы до своей цели, с силами свежими и неистощенными в тяжелой и бесплодной борьбе с случайными противоречиями. Разумное воспитание и злого по натуре делает или менее злым или даже и добрым, развивает до известной степени самые тупые способности и по возможности очеловечивает самую органическую и мелкую натуру: так дикое, лесное растение, когда его пересаживают в сад и подвергнут уходу садовника, делается и пышнее цветом, и вкуснее плодом. Не все рождаются героями, художниками, учеными; гений есть явление вековое, редкое; сильные таланты тоже похожи на исключения из общего правила, — и в этом случае человечество есть армия, в которой может быть до миллиона рядовых солдат, но только один фельдмаршал, и в каждом полку только один полковник и на сто рядовых один офицер. В такой же пропорции находится к большинству, или толпе, и число людей с глубокой и бесконечной натурой, которых назначение — не проявиться в каком-нибудь роде деятельности, составляющем призвание гения и таланта, но все понимать, всему сочувствовать и все облагораживать и счастливить своим непосредственным влиянием. Природа не скупа, но экономна в своих дарах — и, как явление вечного разума, она строго соблюдает свой иерархический порядок, свою табель о рангах. Но всякое назначение природы имеет параллельное себе назначение в человечестве и в гражданском обществе, — почему всякий человек, с какими бы то ни было способностями, находит свое место в том и другом. Не места людей, но люди места унижают. Самое приличное место человеку — то, к которому он призван, а свидетельство призвания — его способности, степень их, склонность и стремление. Кто призван на великое в человечестве, совершай его: ему честь и слава, ему венец гения;

кому же назначена тихая и неизвестная доля — уметь найти в ней свое счастье, уметь с пользою действовать и на малом поприще, уметь быть достойным, почтенным и в скромной деятельности. Всякое желание невозможного — есть ложное желание; всякое стремление быть выше себя, выше своих средств, есть не благородный порыв сознающей себя силы, а претензия жалкой посредственности и бедного самолюбия украсить внешним блеском. Цель наших стремлений есть удовлетворение, и всякий удовлетворяется ни больше, ни меньше, как тем, что ему нужно; а кто нашел свое удовлетворение на ограниченном поприще, тот счастливее того, кто, обладая большими духовными средствами, не может найти своего удовлетворения. Честный и, по-своему, умный сапожник, который в совершенстве обладает своим ремеслом и получает от него все, что нужно ему для жизни, выше плюхого генерала, хотя бы он был сам Мелас¹⁵, выше педанта, ученого, выше дурного стихотворца. Главная задача человека во всякой сфере деятельности, на всякой ступени в лестнице общественной иерархии, — быть человеком. Но, умеренная на произведение великих явлений духовного мира, природа щедра до бесконечности на произведение людей и с душою, и с способностями, и дарованием, — словом, со всем, что нужно человеку, чтоб быть достойным высокого звания человека. Люди бездарные, ни к чему неспособные, тупоумные, суть такое же исключение из общего правила, как уроды, и их так же мало, как и уродов. Множество же их происходит от двух причин, в которых природа нисколько не виновата: от дурного воспитания и вообще ложного развития, и еще от того, что редко случается видеть человека на своей дороге и на своем месте. Сознание своего назначения — трудное дело, и часто, если не натолкнуть человека на чуждую ему дорогу жизни, он сам пойдет по ней, руководимый или бессознательностью, или претензиями. Но если бы возможно было равное для всех нормальное воспитание, — число обиженных природою так ограничилось бы, что действительно обиженные ею прямо поступали бы в кунсткамеру в банки со спиртом. И потому, воспитание, по отношению к большинству, приобретает еще большую важность: оно все — и жизнь и смерть, спасение и гибель.

Но воспитание, чтоб быть жизнью, а не смертью, спасением, а не гибелью, должно отказаться от всяких претензий своевольной и искусственной самодеятельности. Оно должно быть помощником природе — не больше. Обыкновенно думают, что душа младенца есть белая доска, на которой можно писать, что угодно, забывая, что каждый человек есть

индивидуальная личность, которая может делаться и хуже и лучше — только по-своему, индивидуально. Воспитание может сделать человека только худшим, исказить его натуру; лучшим оно его не делает, а только помогает делаться. Если душа младенца и в самом деле есть белая доска, то счастье и смысл букв, которые пишет на ней жизнь, зависят не только от пишущего и орудия писания, но и от качества самой этой доски. Человек ничего не может узнать, чего бы не было в нем, ибо вся действительность, доступная его разумению, есть не что иное, как осуществившиеся законы его же собственного разума. И потому-то есть так называемые врожденные идеи, которые суть непосредственное созерцание истины, заключающееся в таинстве человеческого организма. Ребенка нельзя уверить что $2 \times 2 = 5$, а не 4. А между тем, есть истины и повыше этой, которых семя в душе человека, еще и не думавшего о них!..

Нет, не белая доска душа младенца, а дерево в зерне, человек в возможности! Как ни старо сравнение воспитателя с садовником, но оно глубоко верно, и мы не затрудняемся воспользоваться им. Да, младенец есть молодой, бледно-зеленый росток, едва выглянувший из своего зерна; а воспитатель есть садовник, который ходит за этим нежным, возникающим растением. Посредством прививки, и дикую лесную яблоню можно заставить вместо кислых и маленьких яблок, давать яблоки садовые, вкусные и большие; но тщетны были бы все усилия искусства заставить дуб приносить яблоки, а яблоню жблуди. А в этом-то именно и заключается, по большей части, ошибка воспитания: забывают о природе, дающей ребенку наклонности и способности, и определяющей его значение в жизни, и думают, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить что угодно, хоть арбузы вместо орехов.

Для садовника есть правила, которыми он необходимо руководствуется при хождении за деревьями. Он соображается не только с индивидуальной природою каждого растения, но и со временами года, с погодою, с качеством почвы. Каждое растение имеет для него свои эпохи возрастания, сообразно с которыми он и располагает свои с ним действия: он не сделает прививки ни к стеблю, еще несформировавшемуся в ствол, ни к старому дереву, уже готовому засохнуть. Человек имеет свои эпохи возрастания, не сообразуясь с которыми можно затушить в нем всякое развитие.

Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью — человечность (die Humanität). Мы разумеем здесь первоначальное воспитание, которое важнее всего. Всякое частное или исключительное направление

имеющее определенную цель в какой-нибудь стороне общест-
венности, может иметь место только в дальнейшем, окон-
чательном воспитании. Первоначальное же воспитание
должно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремес-
ленника, но человека, который мог бы впоследствии быть
тем или другим, не переставая быть человеком. Под
человечностью мы разумеем живое соединение
в одном лице тех общих элементов духа, которые равно
необходимы для всякого человека, какой бы он ни был на-
ции, какого бы он ни был звания, состояния, в каком бы
возрасте жизни и при каких бы обстоятельствах ни нахо-
дился, — тех общих элементов, которые должны составлять
его внутреннюю жизнь, его драгоценнейшее сокровище и
без которых он не человек. Под этими общими элементами
духа мы разумеем доступность всякому человеческому чув-
ству, всякой человеческой мысли, смотря по глубокости на-
туры и степени образования каждого. Человек есть разумно-
сознательная сущность и орган всего сущего, — и отсюда
получает свое глубокое и высокое значение известное выра-
жение: «Homo sum, nihil mihi alienum humani putō», т. е.
«Я человек — и ничего человеческого не считаю чуждым
мне». Чем глубже натура и развитие человека, тем более
он человек, и тем доступнее ему все человеческое. Он поймет
и радостный крик дитяти при виде пролетевшей птички, и
бурное волнение страстей в вулканической груди юноши, и
спокойное самообладание мужа, и созерцательное упоение
старца, и жгучее отчаяние, и дикую радость, и безмолвное
страдание, и затаенную грусть, и восторги счастливой любви,
и тоску разлуки, и слезы отринутого чувства, и немую
мольбу взоров, и высоту самоотвержения, и сладость
молитвы, и все, что в жизни, и в чем есть жизнь. Опыт и
опытность не суть необходимое условие такой всеобъемлю-
щей доступности: чтобы понять и младенца, и юношу, и
мужа, и старца, и женщину, ему не нужно быть вместе и
тем, и другим, и третьим; ему не нужно даже быть в том
положении, которое интересует его в каждом из них: лишь
бы представилось ему явление, а уж его чувство бессозна-
тельно откликнется на него и поймет его. На все будет
у него и привет и ответ, и участие и утешение, чистая
радость о счастье ближнего, и сострадание в его горе, и
улыбка на полный блаженства взор, и слеза на горькие
слезы! Ему понятна и возможность не только слабостей и за-
блуждений, но и самых пороков, самых преступлений, прези-
рая слабость и заблуждения, он будет жалеть о слабых и
заблуждающихся; проклиная пороки и преступления, он бу-
дет сострадать порочным и преступным. Его грудь равно

открыта и для задушевной тайны друга, и для робкого признания юного, страждущего существа, и для души, томящейся обременительной полнотою блаженства, и для растерзанного страданием сердца, и для рыдающего раскаяния, и для самой ужасной повести страстей и заблуждений. Он уважит чувство и друга и недруга: для него святы горе и радость знакомого и незнакомого человека. С ним так тепло и отраднo и своему и чужому: он во всех внушает такую доверчивость, такую откровенность. В его душе столько теплоты и елейности, в его словах такая кротость и задумчивость, в его манерах столько мягкости и деликатности. Как отраднo бывает встретить в старике, который был лишен всякого образования, провел всю жизнь свою в практической деятельности, совершенно чуждой всего идеального, мечтательного и поэтического, как отраднo встретить теплое чувство, не подавленное бременем годов и железными заботами жизни, любовь и снисхождение к юности, к ее ветреным забавам, ее шумной радости, ее мечтам, и грустным и светлым, и пламенным и гордым! Как отраднo увидеть на его устах кроткую улыбку удовольствия, чистую слезу умиления от песни, от стихотворения, от повести!.. О, станьте на колени перед таким стариком, почтите за честь и счастье его ласковый привет, его дружеское пожатие руки: в нем есть человечность! Он в миллион раз лучше этих сомневающих и разочарованных юношей, которые увяли, не расцветши, — этих почтенных лысин и сединок, которые рутинной хотят заменить ум и дарования, холодным резонерством теплое чувство, внешним и заимствованным блеском отличий внутреннюю пустоту и ничтожность, а важными и строгими рассуждениями о нравственности — сухость и мертвенность своих деревянных сердец!..

Чтобы не повторять одного и того же, мы перейдем теперь к детским книгам — главному предмету нашей статьи, и их характеристикой довершим нашу характеристику воспитания вообще.

На детские книги обыкновенно обращают еще менее внимания, чем на самое воспитание. Их просто презирают, и если покупают, то разве для картинок. Есть даже люди, которые почитают чтение для детей больше вредным, чем полезным. Это — грубое заблуждение, варварский предрассудок. Книга — есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются — и старые, и молодые, и деловые, и ничего не делающие; дети — также. Все дело в выборе книг для них, и мы первые согласны, что читать дурно выбранные книги для них и хуже и вреднее, чем ничего не читать: первое зло — положительное, второе — только отрицатель-

ное. Так, например, в детях, с самых ранних лет, должно развивать чувство изящного, как один из первейших элементов человечности; но из этого отнюдь не следует, чтобы им можно было давать в руки романы, стихотворения и пр. Нет ничего столь вредного и опасного, как неестественное и несвоевременное развитие духа. Дети должны быть дитятей, но не юношей, не взрослым человеком. Первые впечатления сильны, и плодом неразборчивого чтения будет преждевременная мечтательность, пустая и ложная идеальность, отвращение от бодрой и здоровой деятельности, склонность к таким чувствам и положениям в жизни, которые несвойственны детскому возрасту. Юноши, переходящие в старость мимо возмужалости, — отвратительны, как старички, которые хотят казаться юношами. Все хорошо и прекрасно в гармонии, в соответствии с самим собою. Всему своя черда. Неестественно и преждевременно развившиеся дети — нравственные уроды. Всякая преждевременная зрелость похожа на растение в детстве. Искусство в той мере действительно для каждого, сколько каждый находит в нем истолкование того, что живет в нем самом как чувство, — что знакомо ему, как потребность его души. Когда же он этого не находит в искусстве, то видит в нем фразы, увлекается ими, и из простого, доброго человека становится высокопарным болтуном, пустым и докучным фразером. Что же сказать о детях, которые, по своему возрасту, не могут найти в поэзии отражения внутреннего мира души своей? Разумеется, они или увлекаются отвратительным в их лета фразерством и резонерством, или перетолковывают по-своему недоступные для них чувства и превращают их для себя в неестественные и ложные ощущения и побуждения. Но в пользу детей должно исключить из числа недоступных им искусств — музыку. Это искусство, невыговаривающее определенно никакой мысли, есть как бы отрешившаяся от мира гармония мира, чувство бесконечного, воплотившееся в звуки, возбуждающее в душе могучие порывы и стремление к бесконечному, возносящее ее в ту превыспреннюю, подзвездную сферу высоких помыслов и блаженного удовлетворения, которая есть светлая отчизна живущих долу и из которой слышатся им довременные глаголы жизни... Влияние музыки на детей благодатно, и чем ранее начнут они испытывать его на себе, тем лучше для них. Они не переведут на свой детский язык ее невыговариваемых глаголов, но запечатлеют их в сердце, — не перетолкуют их по-своему, не будут о ней резонировать; но она наполнит гармонией мира их новые души, разовьет в них предощущение таинства жизни, совмещенной от случайностей, и даст им легкие крылья, чтобы от

низменного дола возноситься горе — в светлую отчизну душ... Не можем удержаться, чтобы не выписать здесь места из статьи одного малочитавшегося журнала, статьи, проникнутой мыслью и благородным одушевлением: «Жалко сказать, в каком положении находится у нас музыкальное образование. У нас учат музыке не потому, что музыка есть великое искусство, которое возвышает, облагораживает душу, развивает в ней бесконечный внутренний мир, а потому, что стыдно же девушке не играть на фортепьяно, не спеть романса «это в жизни хорошо»; как не блеснуть в обществе своей игрой, своей музыкальностью! — и у нас музыка обратилась в какую-то роскошь воспитания: папенька тратится и платит деньги музыкальному учителю, считая это уже необходимым злом для своего кармана. По большей части, девушки наши занимаются музыкой только до замужества, а так как на музыку смотрят, как на средство сделать выгодную партию, или даже просто — поскорее выйти замуж, — цель достигнута, и музыка оставлена, фортепьяно держится в доме, как необходимая мебель. Да, впрочем, известно и то, что благородной девице неприлично наслаждаться какою-то превысprenнею любовью и находить свое счастье в природе, в искусстве, в мысли; совсем нет: природа, поэзия и умные суждения должны быть украшениями, забавами жизни, а вовсе не сущностью ее. Пусть бы оставляли музыку для занятий и попечений материнских (хотя мы думаем, напротив, что в долг и попечения матери музыка должна входить первая: она первая должна быть благодатною росой для растительной жизни дитяти, солнечным светом для пробуждающейся юной души, она развивает и укрепляет цветок духовной жизни для плода... впечатления музыки на душу младенца и плоды их неисчислимы); но дамы наши мало думают об этом, и музыка оставляется для других, важнейших предметов — нарядов, выездов, собраний, светской литературы; но тихой, задумчивой музыке неловко в таком блистательном, шумном обществе — она улетает...» («М. Н.», 1838, стр. 332) ¹⁶.

Но что же можно читать детям? Из сочинений, писанных для всех возрастов, давайте им «Басни» Крылова, в которых даже практические, житейские мысли облечены в такие пленительные поэтические образы, и все так резко запечатлено печатью русского ума и русского духа, давайте им «Юрия Милославского» г. Загоскина, в котором столько душевной теплоты, столько патриотического чувства, который так прост, так наивен, так чужд возмущающих душу картин, так доступен детскому воображению и чувству; давайте «Овсяный кисель», эту наивную, дышащую младенческой

поэзией пьесу Гебеля, так превосходно переведенную Жуковским; давайте им некоторые из народных сказок Пушкина, как например «О рыбаке и рыбке», которая, при высокой поэзии, отличается, по причине своей бесконечной народности, доступностью для всех возрастов и сословий и заключает в себе нравственную идею. Не давая детям в руки самой книги, можно читать им отрывки из некоторых поэм Пушкина, как, например, в «Кавказском пленнике» изображение черкесских нравов, в «Руслане и Людмиле» эпизоды битв, о поле, покрытом мертвыми костями, о богатырской голове, в «Полтаве» описание битвы, появление Петра Великого; наконец, некоторые из мелких стихотворений Пушкина, каковы: «Песнь о Вещем Олеге», «Жених», «Пир Петра Великого», «Зимний Вечер», «Утопленник», «Бесы»; некоторые из песен западных славян, а для более взрослых — «Клеветникам России» и «Бородинскую Годовщину». Не заботьтесь о том, что дети мало тут поймут, но именно и старайтесь, чтобы они как можно менее понимали, но больше чувствовали. Пусть ухо их приучается к гармонии русского слова, сердца преисполняются чувством изящного; пусть и поэзия действует на них, как и музыка — прямо через сердце, мимо головы, для которой еще настанет свое время, свой черед. Очень полезно, и даже необходимо знакомить детей с русскими народными песнями, читать им, с немногими пропусками, стихотворные сказки Кириши Данилова. Народность обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания: часто не только юноши, но и дети знают наизусть отрывки из трагедий Корнеля и Расина, и умеют пересказать десяток анекдотов о Генрихе IV, о Людовике XIV, а между тем не имеют и понятия о сокровищах своей народной поэзии, о русской литературе, и разве от дядек и мамок узнают, что был на Руси великий царь Петр I. Давайте детям больше и больше созерцание общего, человеческого, мирового; но преимущественно старайтесь знакомить их с этим чрез родные и национальные явления: пусть они сперва узнают не только о Петре Великом, но и о Иоанне III, чем о Генрихах, Карлах и Наполеонах. Общее является только в частном: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.

Книги, которые пишутся собственно для детей, должны входить в план воспитания, как одна из важнейших его сторон. Наша литература особенно бедна книгами для воспитания, в обширном значении этого слова, т. е. как учебными, так и литературными детскими книгами. Но эта бедность нашей литературы покуда еще не может быть для нее важным упреком. Посмотрите на богатые литера-

туры французов, англичан, и даже самих немцев: у всех у них детских книг много, но читать детям нечего или по крайней мере очень мало. У французов, например, писали для детей Беркен, Бульи, г-жа Жанлис и прочие, написали бездну, но дети от этого нисколько не богаче книгами для своего чтения. И это очень естественно: должно родиться, а не сделаться детским писателем. Это своего рода призвание. Тут требуется не только талант, но и своего рода гений... Да, много, много нужно условий для образования детского писателя: нужна душа благодатная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески-простодушная; ум возвышенный, образованный, взгляд на предметы просветленный и не только живое воображение, но и живая, поэтическая фантазия, способная представить все в одушевленных, радужных образах. Разумеется, что любовь к детям, глубокое знание потребностей, особенностей и оттенков детского возраста есть одно из важнейших условий.

Целью детских книжек должно быть не столько занятие детей каким-нибудь делом, не столько предохранение их от дурных привычек и дурного направления, сколько развитие данных им от природы элементов человеческого духа, — развитие чувства любви и чувства бесконечного. Прямое и непосредственное действие таких книжек должно быть обращено на чувство детей, а не на их рассудок. Чувство предшествует знанию; кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее. В детском возрасте чувство и рассудок в решительной противоположности, в решительной вражде, и одно убивает другое: преимущественное развитие чувства дает им полноту, гармонию и поэзию жизни; преимущественное развитие рассудка губит в их сердце пышный цвет чувства и вырашивает в них пырей и белену резонерства. Детский ум, предаваясь отвлеченности, в живых явлениях природы и жизни видит одни мертвые формы, лишённые духа и сущности, и логические определения для него — скорлупа гнилого ореха, о которую только портятся зубы. Конечно, односторонность вредна и в воспитании, и детский рассудок требует развития, как и чувство: но развитие рассудка в детях предоставляется другой стороне воспитания — учению, школе. Садясь за грамматику, ребенок уже вступает в мир отвлеченностей и логических построений и определений. Всему свое место, и ни одна сторона духа не должна мешать другой: пусть в классе развивается рассудок ребенка и приучается постепенно к строгости логической дисциплины; пусть ребенок рассуждает с учебником в руках, готовясь к классу; но лишь затворится за ним дверь класса, пусть он входит в поэтический мир действительных, образных явлений жизни,

в «полное славы творенье»! Книга пусть будет у него книгою, а жизнь жизнью, и одно да не мешает другому! Увы, придет время — и скроется от него этот поэтический образ жизни, с розовыми ланитами, с сияющими от веселья взорами, с обольстительной улыбкой счастья на устах: подозрительный и недоверчивый рассудок разложит его на мускулы, кровь, нервы и кости и, вместо прежнего пленительного образа, покажет ему отвратительный скелет. В душе раздадутся тревожные вопросы — и как, и отчего, и почему, и зачем? Живые явления действительности превратятся в отвлеченные понятия... Поздравим его, если он с честью выдержит эту внутреннюю борьбу: если из порожденных разрывающей силой рассудка противоречий снова войдет в новое и высшее прежнего, разумно-сознательное созерцание полноты жизни. Пожалеем о нем, если ему суждено будет навек остаться в односторонней ограниченности рассудочного созерцания жизни... Но пока он еще дитя, дадим ему вполне насладиться первобытным раем непосредственной полноты бытия, этой полною жизнью чистой младенческой радости, источник которой есть простодушное и целомудренное единство с природою и действительностью.

Итак, если вы хотите писать для детей, не забывайте, что они не могут мыслить, но могут только рассуждать, или лучше сказать, резонерствовать, а это очень худо! Если несносен взрослый человек, который все великое в жизни меряет маленьким аршином своего рассудка, и о религии, искусстве и знании рассуждает как о посеве хлеба, паровых машинах, или выгодной партии, то еще отвратительнее ребенок-резонер, который «рассуждает», потому что еще не может «мыслить». Резонерство иссушает в детях источники жизни, любви, благодати; оно делает их молоденькими старичками, ставит на ходули. Детские книжки часто развивают в них эту несчастную способность резонерства, вместо того, чтобы противодействовать ее возникновению и развитию. Чем обыкновенно отличаются, например, повести для детей? — дурно склеенным рассказом, пересыпанным моральными сентенциями. Цель таких повестей — обманывать детей, искажая в их глазах действительность. Тут обыкновенно хлопочут из всех сил, чтобы убить в детях всякую живость, резвость и шаловливость, которые составляют необходимое условие юного возраста, вместо того, чтобы стараться дать им хорошее направление и сообщить характер доброты, откровенности и грациозности. Потом стараются приучить детей обдумывать и взвешивать всякий свой поступок, словом, сделать их благоразумными резонерами, которые годятся только для классической

комедии или трагедии, а не думают о том, что все дело во внутреннем источнике духа, что если он полон любовью и благодатью, то и внешность будет хороша, и что, наконец, нет ничего отвратительнее, как мальчишка-резонер, свысока рассуждающий о морали, заложив руки в карман. А потом, что еще? — Потом стараются уверять детей, что всякий проступок наказывается и всякое хорошее действие награждается. Истина святая — не спорим; но объяснять детям наказание и награждение в буквальном, внешнем, а следовательно и случайном смысле, значит обманывать их. А по смыслу и разумению (конечно, крайнему) большей части детских книжек награда за добро состоит в долголети, богатстве, выгодной женитьбе... Прочтите хоть, например, повести Коцебу, написанные им для собственных его детей. Но дети только неопытны и простодушны, а отнюдь не глупы, — и от всей души смеются над своими мудрыми наставниками. И это еще спасение для детей, если они не позволяют так грубо обманывать себя, но горе им, если они поверят: их разуверит горький опыт и набросит в их глазах темный покров на прекрасный божий мир. Каждый из них собственным опытом узнает, что бесстыдный лентяй часто получает похвалу на счет прилежного, что наглый затейник шалости непризнательностью отделяется от наказания, а чистосердечно признавшийся в шалости нащадно наказывается; что честность и правдивость часто не только не дают богатства, но повергают еще в нищету. Да, к несчастью, каждый из них узнает все это; но не каждый из них узнает, что наказание за худое дело производится самым этим делом и состоит в отсутствии из души благодатной любви, мира и гармонии — единственных источников истинного счастья; что награда за доброе дело опять-таки происходит от самого этого дела, которое дает человеку сознание своего достоинства, сообщает его душе спокойствие, гармонию, чистую радость, и чрез то делает ее храмом божьим, потому что бог там, где безмятежная, чистая радость, где любовь. А обо всем этом должны бы детям говорить детские книжки! Они должны внушать им, что счастье не во внешних и призрачных случайностях, а в глубине души, — что не блестящий, не богатый, не знатный человек любим богом, но «скровенный сердца человек в нетленном украшении кроткого и спокойного духа, что драгоценно пред богом», как поворот св. апостол Петр. Они должны показать им, что мир и жизнь прекрасны так, как они суть, но что независимость от их случайностей состоит не в ковче-самолете, не в волшебном прутике, мановение которого воздвигает дворцы, вызывает легионы хранительных духов с пламенными мечами, гото-

вых наказать злых преследователей и обидчиков, но в свободе духа, который силою божественной, христианской любви торжествует над невзгодами жизни и бодро переносит их, почерпая силу в этой любви. Они должны знакомить их с таинством страдания, показывая его, как другую сторону одной и той же любви, как блаженство своего рода и не как неприятную случайность, но как необходимое состояние духа, не изведав которого, человек не изведает и истинной любви, а следовательно, и истинного блаженства. Они должны показать им, что в добровольном и свободном страдании, вытекающем из отречения от своей личности и своего эгоизма, заключается твердая опора против несправедливости судьбы и высокая награда за нее. И все это детские книжки должны передавать своим маленьким читателям не в истертых сентенциях, не в холодных нравоучениях, не в сухих рассказах, а в повествованиях и картинах, полных жизни и движения, проникнутых одушевлением, согретых теплотой чувства, написанных языком легким, свободным, игривым, цветущим в самой простоте своей, — и тогда они могут служить одним из самых прочных оснований и самых действительных средств для воспитания. Пишите, пишите для детей, но только так, чтобы вашу книгу с удовольствием прочел и взрослый, и, прочтя, перенесся бы легкой мечтой в светлые годы своего младенчества... Главное дело — как можно меньше сентенций, нравоучений и резонерства: их не любят и взрослые, а дети просто ненавидят, как и все, наводящее скуку, все сухое и мертвое. Они хотят видеть в вас друга, который забывался бы с ними до того, что сам становился бы младенцем, а не угрюмого наставника; требуют от вас наслаждения, а не скуки, рассказов, а не поучений. Дитя веселое, доброе, живое, резвое, жадное до впечатлений, страстное к рассказам, не столько чувствительное, сколько чувствующее, — такое дитя есть дитя божье: в нем играет юная, благодатная жизнь, и над ним почиет благословение божие. Пусть дитя шалит и проказит, лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себе отпечатка физического и нравственного цинизма; пусть оно будет безрассудно, опрометчиво, — лишь бы оно не было глупо и тупо; мертвенность же и безжизненность хуже всего. Но ребенок рассуждающий, ребенок благоразумный, ребенок резонер, ребенок, который всегда осторожен, никогда не сделает шалости, ко всем ласков, вежлив, предупредителен, — и все это по расчету... горе вам, если вы сделали его таким!.. Вы убили в нем чувство и развили рассудок; вы заглушили в нем благодатное семя бессознательной любви и возрастили — резонерство...

Бедные дети, сохрани вас бог от оспы, кори и сочинений Беркена, Жанлис и Бульи!..

Основу, сущность, элемент высшей жизни в человеке составляет его внутреннее чувство — бесконечного, которое, как чувство, лежит в его организации. Чувство бесконечного есть искра божия, зерно любви и благодати, живой проводник между человеком и богом. Степени этого чувства различны в людях, по глаголу спасителя: «И дал одному пять талантов, другому два, третьему один, каждому по его силе»; но мерою глубины этого чувства измеряется достоинство человека и близость его к источнику жизни — к богу. Все человеческое знание должно быть выговариванием, переводением в понятия, определением, короче — сознанием таинственных проявлений этого чувства, без которого, поэтому, все наши понятия и определения суть слова без смысла, форма без содержания, сухая, бесплодная и мертвая отвлеченность. Без чувства бесконечного в человеке не может быть и внутреннего, духовного созерцания истины, потому что непосредственное созерцание истины, как на фундаменте, основывается на чувстве бесконечного. Это чувство есть дар природы, результат счастливой организации, и потому оно свойственно и детям, в которых лежит как зародыш, и развитию этого-то зародыша требуем мы от воспитания и детской литературы.

Мы сказали, что живая, поэтическая фантазия есть необходимое условие, в числе других необходимых условий, для образования писателя для детей; чрез нее и посредством ее должен он действовать на детей. В детстве фантазия есть преобладающая способность и сила души, главный ее деятель и первый посредник между духом ребенка и вне его находящимся миром действительности. Дитя не требует диалектических выводов и доказательств, логической последовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любит отвлеченных идей: ему нужны истории, повести, сказки, рассказы, — и посмотрите, как сильно у детей стремление ко всему фантастическому, как жадно слушают они рассказы о мертвецах, привидениях, волшебствах. Что это доказывает? — потребность бесконечного, предощущение таинства жизни, начало чувства поэзии, которые находят для себя удовлетворение пока еще только в одном чрезвычайном отличающемся неопределенностью идеи и яркостью красок. Чтобы говорить образами, надо быть если не поэтом, то, по крайней мере, рассказчиком и обладать фантазией живой, резвой и радужной. Чтобы говорить образами с детьми, надо знать детей, надо самому быть взрослым ребенком, не в прошлом значении этого слова, но родиться с характером младенче-

ски-простодушным. Есть люди, которые любят детское общество и умеют занять его и рассказом, и разговором, и даже игрой, приняв в ней участие; дети, с своей стороны, встречают этих людей с шумною радостью, слушают их со вниманием, и смотрят на них с откровенною доверчивостью, как на своих друзей. Про всякого из таких у нас, на Руси, говорят: это детский праздник. Вот таких-то «детских праздников» нужно и для детской литературы. Да, — много, очень много условий! Такие писатели, подобно поэтам, рождаются, а не делаются...

Но резонерам крайне не нравятся подобные требования. В самом деле, кому приятно выслушивать свой смертный приговор, свое исключение из списка живущих? Вероятно, по этой же причине плохие стихотворцы терпеть не могут рассуждений о высших требованиях искусства: в них они видят свое уничтожение. Отнимите у резонера право пересыпать из пустого в порожнее моральными сентенциями, — что же ему останется делать на белом свете? Ведь жизни, любви, одушевления, таланта не поднимешь с улицы, не купишь и за деньги, если природа отказала в них. А резонерствовать так легко: стоит только запастись бумагой, пером и чернилами, да присесть, — а оно уж польется само! Какой поклонник Бахуса не в состоянии ораторствовать о пагубном влиянии крепких напитков на тело и душу, и о пользе трезвости и воздержности? Какой развратник не наговорит короба три громких фраз о нравственности? Какой бездушный и холодный человек не в состоянии вкось и вкривь рассуждать о любви, благочестии, благотворительности, самопожертвовании и о прочих священных чувствах, которых у него нет в душе? Жизнь, теплота, увлекательность и поэзия — суть свидетельства того, что человек говорит от души, от убеждения, любви и веры, и они-то электрически сообщаются другой душе. Мертвенность, холодность и скука показывают, что человек говорит о том, что у него в голове, а не в сердце, что не составляет лучшей части его жизни и чуждо его убеждению. Но повторяем — для некоторых людей рассуждать легче, чем чувствовать, и пресная вода резонерства, которой у них вдоволь — для них лучше и вкуснее шипучего нектара поэзии, которого — бедняки! — они и не пробовали никогда. И вот один хочет уверить детей, что вставать рано очень полезно, ибо-де один мальчик, имевший привычку вставать с солнцем, нашел на поле кошелёк с деньгами; а другой хочет уверить детей, что надо вставать поздно, ибо-де одна девочка, вставши рано, пошла гулять в сад, простудилась да и умерла. Один говорит детям — будьте успешны, другой — не торопитесь, третий — будьте откро-

венны, ничего не скрывайте, четвертый — не все говорите, что знаете. Кому верить, кому следовать?.. Забавнее же всего, что все эти глубокие мысли подтверждаются случайными примерами, ровно ничего не доказывающими. Нет, моральные сентенции не только отвратительны и бесплодны сами по себе, но и портят даже прекрасные и полные жизни сочинения для детей, если вкрадываются в них! Вы рассказываете детям сказку или повесть: спрячьтесь за нее, чтоб вас было не видно, пусть все в ней говорит само за себя, непосредственным впечатлением. У вас есть нравственная мысль — прекрасно; не выговаривайте же ее детям, но дайте ее почувствовать, не делайте из нее вывода в конце вашего рассказа, но дайте им самим вывести: если рассказ им понравился, или они читают его с жадностью и наслаждением — вы сделали свое дело. Здесь мы повторим мысль, уже высказанную в нашем журнале¹⁷ и возбудившую негодование и ужас резонеров: «Не нужно никаких нагих мыслей, и как язвы берегитесь нравственных сентенций. Пусть основная мысль вашего рассказа деятельно движется, и давайте ей, для ней же самой, пробиваться наружу и выводить детскую душу из полноты жизни, из борьбы и столкновения частных, на отвлеченную высоту, где воздух редок и удушлив для слабой груди еще несозревшего человека; пусть мысль кроется во внутренней недоступной лаборатории и там перерабатывает свое содержание в жизненные соки, которые неслышно и незаметно разольются по вашему рассказу». Не говорите детям о том, чего они еще не в состоянии понять своим умом, дайте им простое к а т е х и з и ч е с к о е понятие о боге, по учению православной церкви, но не пускайтесь с ними в диалектические тонкости философских определений, а старайтесь больше заставить детей полюбить бога, который является им и в ясной лазури неба, и в ослепительном блеске солнца, и в торжественном великолепии восстающего дня, и в задумчивом величии наступающей ночи, и в реве бури, и в раскатах грома, и в цветах радуги, и в зелени лесов, и в журчании ручья, и в шуме моря, и во всем, что есть в природе живого, так безмолвно и вместе так красноречиво говорящего душе юной и свежей, и, наконец, во всяком благородном порыве, во всяком движении их младенческого сердца. Не рассуждайте с детьми о том только, какое наказание полагает бог за такой-то грех, но учите их смотреть на бога, как на отца, бесконечно любящего своих детей, которых он создал для

* Журнал „Отечественные записки“, 1839 г., т. V, стр. 179. — *Ред.*

блаженства и которых блаженство он искупил мучением и смертью на кресте. Внушайте детям страх божий, как начало премудрости, но делайте так, чтобы этот страх вытекал из любви же, и чтобы не рабский ужас наказания, а сыновняя боязнь оскорбить отца благого и любящего, а не грозного и мстящего, производила этот страх, и чтобы не лишение земных благ, а отвращение от виновных лица отчего почитали они наказанием. Обращайте ваше внимание не столько на истребление недостатков и пороков в детях, сколько на наполнение их животворящею любовью: будет любовь — не будет пороков. Истребление дурного без наполнения хорошим — бесплодно: это производит пустоту, а пустота беспрестанно наполняется — пустотой же; выгоните одну, явится другая. Любви, бесконечной любви! — все остальное ничтожно! «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нем». Равным образом, не искажайте действительности ни клеветами на нее, ни украшениями от себя, но показывайте ее такую, какова она есть в самом деле, во всем ее очаровании и во всей ее неумолимой суровости, чтобы сердце детей, научаясь ее любить, привыкало бы, в борьбе с ее случайностями, находить опору в самом себе. В одной истине и жизнь и благо: истина не требует помощи у лжи. И потому, конец вашей повести может быть и несчастный, в котором добродетель страждет, а порок торжествует; но вы вполне достигнете вашей нравственной цели, если юные сердца ваших маленьких читателей станут за страждущих и не позавидуют торжествующим, если на вопрос — на чем бы хотели они быть месте? — они, не колеблясь, ответят, что на месте страждущих, но добрых. Не упускайте из вида ни одной стороны воспитания, говорите детям и об опрятности, о внешней чистоте, о благородстве и достоинстве манер и обращения с людьми; но выводите необходимость всего этого из общего и из высшего источника — не из условных требований общественного звания или сословия, но из высокости человеческого звания, не из условных понятий о приличии, но из вечных понятий о достоинстве человеческом. Внушайте им, что внешняя чистота и изящество должны быть выражением внутренней чистоты и красоты, что наше тело должно быть достойным сосудом духа божия... Уважение к имени человеческому, бесконечная любовь к человеку за то только, что он человек, без всяких отношений к своей личности и к его национальности, вере или званию, даже личному его достоинству или недостоинству, словом, бесконечная любовь и бесконечное уважение к человечеству даже в лице последнего из

его членов (die Menschlichkeit) должны быть стихией, воздухом, жизнью человека, а высокое выражение поэта — девизом всей его жизни.

При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою*.

Но повести и рассказы не суть еще единственная и исключительная форма бесед с детьми. Вы можете еще и обогащать их познаниями, расширять круг их созерцания действительности, знакомя их с бесконечным разнообразием явлений прекрасного божьего мира. Но и здесь одна цель — знакомство не с фактами, а с тем, так сказать, букетом жизни и духа, который скрывается в них и составляет их сущность и значение. Да, вам предстоит обширное и богатое поле: не говорю уже об источнике собственной вашей фантазии, — религия, история, география, естествознание — умеете только пожинать! Для детей предметы те же, что и для взрослых; только их должно излагать сообразно с детским понятием, а в этом-то и заключается одна из важнейших сторон этого дела! Какие богатые материалы представляет одна история! Показать душе юной, чистой и свежей примеры высоких действий представителей человечества, действительность добра и призрачность зла — не значит ли возвысить ее?.. Провести детей по всем трем царствам природы, пройти с ними по всему земному шару, с его многочисленным населением и обширными пустынями, с его сушей и океанами, показать им божий мир в картине человеческих племен и обществ, с их нравами и обычаями, с их понятиями и верованиями — не значит ли это показать им творца в его творении, заставить их возлюбить его и возблаженствовать этой любовью?.. Но для этого надо одушевить для них весь мир и всю природу, заставить говорить языком любви и жизни и немой камень, и полевую былинку, и журчащий ручей, и тихо веющий ветер, и порхающую по цветам бабочку... Надо дать детям почувствовать, что все это бесконечное разнообразие имеет единую душу, живет одной жизнью, и что жизнь природы является не только под тропиками, но и у полюсов, не только на земле, но и в недрах ее... Вот, например, это писано для взрослых, но мы уверены, что музыка этого языка будет доступна и для детей: «Там снежная, мертвая пустыня полюсов... Безотраднa там жизнь. Но эти пустыни имеют свои музыкальные выюги, гуляющие с серебристой пылью по звонким, чистым, необозримым льдам... Вот глубь океана. Чув-

* Из пьесы Жуковского „Теон и Эсхин“. — *Ред.*

ствуете ли, что океан можно только любить? Что душе хотелось бы его измерить, постигнуть и заглянуть в пропасть морей? Душе весело, уповательно, что эта глубь воды не лежит в мертвой тишине, что в ней родина целой половины существ одушевленных, быстрых, могучих; им легок путь сквозь плотно слиянную массу волн; эти волны текут, то уходя на безвестное дно, то с плеском, слышимым нами, лобзая гранит берегов, и снова уносясь в неизмеримый свой путь шумно и торжественно...»

Самым лучшим писателем для детей, высшим идеалом писателя для них может быть только поэт. И таким явился один из величайших германских поэтов — Гофман в своих двух сказках: «Неизвестное дитя» и «Щелкун Орехов и царек мышей», хотя и написанных не для детей собственно и годных для людей всех возрастов¹⁸. Нисколько не удивительно, что странный, причудливый и фантастический гений Гофмана не спустился до сферы детской жизни: в нем самом так много детского, младенческого, простодушного, и никто не был, столько как он, способен говорить с детьми языком поэтическим и доступным для них! Сверх того, Гофман есть попрежнему воспитатель людей, поэт юношества — почему ж бы ему не быть и поэтом детства? Да, с тех пор, как дети начинают переставать быть детьми и становятся юношами, Гофман должен быть их поэтом по преимуществу. Гофман поэт фантастический, живописец невидимого внутреннего мира, ясновидящий таинственных сил природы и духа. Фантастическое есть предчувствие таинства жизни, противоположный полюс пошлой рассудочной ясности и определенности, которая в жизни видит математику, индустриальность или сытный обед с трюфелями и шампанским. Фантастическое есть один из необходимейших элементов богатой природы, для которой счастье только во внутренней жизни; следственно, его развитие необходимо для юной души, и вот почему называем мы Гофмана воспитателем юношества. Но он вместе с тем бывает и губителем его, односторонне увлекая его в сферу призраков и мечтаний и отрывая от живой и полной действительности. Чтобы дать юной душе равновесие, Гофману не должно противопоставлять пошлую повседневность и ее дюжинных представителей; но молодым людям должно читать все без исключения романы Вальтер Скотта и Купера, которые, по светлому и верному взгляду на жизнь, по гениальной глубокости, а вместе с тем, спокойствию и елейности духа, заслуживают название представителей разумной действительности, поэтически воспроизведенной в великих художественных созданиях, и непременно

должны быть воспитателями юношества, хотя равно существуют и для возмужалости и для старости.

Если в «Неизвестном дитяти» развита мысль о гармонии младенческой души с природою, как об основе воспитания и условий будущего счастья детей, то «Щелкун и царек мышей» есть апофеоз фантастического, как необходимого элемента в духе человека, и цель этой сказки — развитие в детях элемента фантастического. Когда мы приближаемся к общему, родовому началу жизни, развитой в природе, нас объемлет какой-то приятный страх, мы чувствуем какое-то сладостное замирание сердца. Кто не испытывал этого при входе в большой темный лес или на берегу моря? Шум листьев и колебание волн говорят нам каким-то живым языком, которого значение мы уже забыли и тщетно стараемся вспомнить; лес и море кажутся нам живыми, индивидуальными существами...

Жизнь есть таинство, ибо причина ее явления в ней самой; переходы общей жизни в частные индивидуальные явления и потом возвращение их в общую жизнь — то же великое таинство, а впечатление всякого таинства — страх и ужас мистический. Вот почему мифы младенцествующих народов дышат такой фантастической мрачностью, и все отвлеченные понятия являются у них в странных образах. Искусство освобождает дух от рабского ужаса, просветляет его предметы светом мысли и эстетической жизни. Образованный человек не боится суеверных видений кладбища, но это немое кладбище тем не менее веет на него таинственной жизнью, от которой сладостно волнуется его дух неопределенным чувством приятного страха. Бывает состояние души, когда и обыкновенные вещи оживотворяются и воскресают фантастической жизнью: как будто выражаемые этими вещами понятия, отрешаясь от своей отвлеченности, принимают на себя живые образы, начинают мыслить и чувствовать. Дух наш во всем предчувствует жизнь и дает ей определенные индивидуальные образы.

В России писать для детей первый начал Карамзин, как и много прекрасного, начал он писать первый. К «Московским Ведомостям» прилагались листки епо «Детского чтения», в котором замечательна «Переписка юнца с сыном о деревенской жизни». Много читателей впоследствии доставил Карамзин и себе и другим, подготовив этим «Детским чтением». После он издал «Детское утешение», которое и теперь еще не изгладилось у нас из памяти, хотя мы читали его в детском возрасте; а это большая похвала для детской книжки: память хранит в себе только то, что поразило душу сильным впечатлением.

Но в настоящее время русские дети имеют для себя в дедушке Иринее такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций. Узнав его, с ним не расстанутся и взрослые. Мы находим в нем один недостаток и очень важный: старик или очень стар и уж не в состоянии держать перо в руке, или ленится на старости лет, оттого мало пишет. А какой чудесный старик! Какая юная, благодатная душа у него! Какой теплотой и жизнью веет от его рассказов и какое необыкновенное искусство у него заманить воображение, раздразнить любопытство, возбудить внимание иногда самым, повидимому, простым рассказом! Советуем, любезные дети, лучше познакомиться с дедушкою Иринею. Не бойтесь его старости: он не принадлежит к тем брюзгливым старикам, которые своим ворчанием и наставлениями отнимают у вас каждую минуту веселости, отравляют всякую вашу радость. О, нет! Это самый милый старик, какого только вы можете представить себе: он так добр, так ласков, так любит детей; он не смутит вашего шумного веселья, не помешает вам играть, но с такой снисходительностью и любовью примет участие в вашей веселости, ваших играх, научит вас играть в новые, неизвестные вам и прекрасные игры. Если вы пойдете с ним гулять — вас ожидает величайшее удовольствие: вы можете бегать, прыгать, шуметь, а он между тем будет рассказывать вам, как называется каждая гравка, каждая бабочка, как они рождаются, растут и, умирая, снова воскресают для новой жизни. Вы заслушаетесь его рассказов, вы сами не захотите шуметь и бегать, чтобы не проронить ни одного слова!

Лучшие пьесы в «Детских сказках дедушки Иринея» — «Червяк» и «Городок в Табакерке». В первой рассказывается история червячка, сделавшегося бабочкою, — самый интересный акт возрождения природы в насекомых. Мы не будем говорить о поэтической прелести этого рассказа, который нам невозможно было бы иначе передать, как переписав его вполне; но, чтобы хоть намекнуть на важность его содержания и очаровательность изложения, выпишем несколько строк, которыми он оканчивается:

... Наконец скинул он (червячок) свою узорчатую шубку, примолвив: «там в ней не будет нужды» и заснул сном покойным. Не стало червяка, лишь на листке качался его безжизненный гробок и свернутая в комок шубка.

Но не долго спал червячок! Вдруг, он чувствует, забилося в нем новое сердце, маленькие ножки пробились из-под брюшка и на спинке что-то зашевелилось; еще минута — и распалась его могилка; червячок смотрит: он не червяк, ему не надобно ползать по земле и цепляться за листки; развились у него большие радужные крылья; он жив, он свободен, он гордо поднимается в воздух.

Так бывает и не с одним червячком, любезные дети; нередко видите вы, что тот, с которым вы вместе резвились и играли, на мягком лугу, завтра лежит бледный, бездыханный; над ним плачут родные, друзья, и он не может им улыбнуться; его кладут в сырую могилку, — и вашего друга как не бывало! Но не верьте! ваш друг не умер: раскрывается его могила, и он, невидимо для вас, в образе светлого ангела взлетает на небо.

Отец показал сыну табакерку, на которой был изображен городок с восходящим над ним солнцем. Табакерка была сверх того с музыкою. Мише захотелось побывать в ней — и он вошел. Там увидел он целое царство говорящих мальчиков-колокольчиков, своды, галереи и прочее, словом — весь механизм маленького юргана, выходил его всего, понял, как он устроен, и... проснулся. Жалеем, что заговорили об этой поэтической пьеске, которую можно понять только из нее самой, а не отзывов о ней. Она принадлежит к разряду фантастических повестей: через нее дети поймут жизнь машины, как какого-то живого, индивидуального лица, и под ней не странно было бы увидеть имя самого Гофмана. За этими двумя пьесами должны следовать «Анекдоты о муравьях» — в высшей степени живая и интересная пьеска, способная развивать в детях любознательность, наблюдательность и любовь к природе. «Разбитый кувшин», ямайская сказка, обнаруживает в авторе глубокое знание детского характера; в ней развивается практическая истина о необходимости доброты, скромности и послушания, а между тем она — волшебная сказка; но в том и высокое ее достоинство: она действует на фантазию детей, а не на их рассудок, и потому практическая истина является в ней не моральной сентенцией, но живым чувством. К тому же роду должно отнести и «Царь-девицу», трагедию для марионеток, в которой, в волшебной сказке, автор очень удачно намекнул детям на могущество человеческого разума, победившего, через книгопечатание, порох и паровые машины, законы мертвой, материальной действительности. Три драматические пьесы: «Маленький фарисей», «Переносчица, или хитрость против хитрости» и «Воскресенье», вводят детей в мир житейской действительности и практической мудрости жизни. Простота и естественность содержания спорят в них с заманчивостью интриги и увлекательностью драматического изложения; характеры очеркнуты в них живо, сентенций нет; действие говорит само за себя. Кроме интересного чтения, эти комедийки — клад детям и для домашнего театра, этого прекрасного и полезного наслаждения. Другие пьесы: «Бедный Гнедко», «Индийская сказка о четырех глухих», «Столяр» и

«Сирота» также представляют детям приятное чтение. Но «Отрывки из журнала Маши» не так нравятся нам; эта пьеса слишком односторонняя, в ней слишком много житейской, рассудочной мудрости. Да и неестественно, чтобы маленькая девочка могла вести свой журнал, и еще такой умный и написанный таким прекрасным языком, каким у нас пишут немногие даже и из знаменитых литераторов и опекунов русского языка. Героиня записок, Маша, мало возбуждает к себе участия: она слишком благоразумна, а это в детях большой недостаток, потому что в них величайшее достоинство — игра молодой жизни. Избыток практических замечаний и нравственных уроков тоже не принадлежит к числу достоинств этой пьесы. Сам дедушка Ириней сказал: «Сказки пишутся не для того, чтобы учить детей, а только, чтобы возбуждать их внимание и любопытство: мы распространяем это правило на всякого рода сочинения для детей, а не на одни сказки. Впрочем, и в «Отрывках из журнала Маши» много прекрасных частных; только общее впечатление пьесы не совсем в ее пользу.

Поздравляем детей с прекрасным подарком, который предстоит им получить от своих родителей: «Детские сказки дедушки Ириней» скоро выйдут в свет все вполне. Много, много чистых радостей доставит им этот подарок: многими благодатными впечатлениями усладит он их юные души. Повторяем: такой подарок был бы редкостью во всякой литературе, а в нашей он просто драгоценность.

Любезный и почтенный дедушка! Из уважения к вашим летам, не смеем думать, чтобы вы так мало писали по лености, но тем не менее не можем и не сердиться на вас. Прежде, нежели представите нам причины, оправдывающие вас, войдите и в наше положение, и не сердитесь на нас: кому же и писать для детей, как не людям, которым бог дал все, что нужно для этого: и талант, и душу живу, и поэтическую фантазию, и знание дела? А дело это ничуть не ниже и немаловажнее тех, которыми бы угодно было вам оправдываться, каковы бы они ни были. Как хотите, а мы не дадим вам покоя, если вы не будете дарить ежегодно по такому подарку своим маленьким друзьям. Не то, мы их поднимем на вас, — и тогда посмотрим, как-то вы устоите... А пока обращаемся с искренней просьбой ко всем вашим знакомым, которые пекутся о воспитании своих детей, чтобы они обязали вас подпискою — писать, писать и писать!



СЕМЕЙСТВО ИЛИ ДОМАШНИЕ РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ

Роман шведской писательницы Фредерики Бремер. СПб. 1842¹⁹

... «Современник» еще с конца 1842 г. начал печатать роман шведской писательницы Фредерики Бремер:

«Роман отменно-длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный».

Поговорим об этом романе. Он обратил на себя общее внимание, и многие увидели в нем даже колоссальное произведение, тогда как другие ничего ровно не видели. Мы держались середины между двумя этими крайностями. Прежде всего, надо сказать, что г-жа Бремер не лишена свойственной женщинам способности не только хорошо и легко рассказывать, но даже с некоторым успехом очерчивать характеры, которые под силу ее одностороннему взгляду на вещи и ее небогатой фантазии. Основная мысль ее романа та, что счастье заключается только в семейной жизни. Мысль, как видите, не лишенная истины, но довольно односторонняя и притом не новая: на ней в конце прошлого и начале нынешнего столетия выехала слава Августа Лафонтена²⁰, блаженной памяти. Этот добрый немец также во всяком человеке видел прежде всего мужа и жену, как натуралист во всяком животном прежде всего видит самца или самку. Но прославляемое им блаженство семейной жизни было так мешански идеально, так приторно сладко, что оно скоро сделалось всем неприятно, как теплая вода, рассыченная медом. Фредерика Бремер не испугалась этого и отважно сделалась Августом Лафонтеном нашего века. Надо согласиться, что она явилась весьма кстати и в то же время весьма некстати: кстати потому, что без такой жаркой защитницы блаженства супружеской и семейной жизни, это блаженство сделалось бы теперь столько же сомнительным, как и действительность золотого века; не кстати потому, что теперь жениться по склонности и для счастья считается совсем не в тоне, и все решительно женятся для денег и связей, а на детей смотрят как на неизбежное неудобство семейной

жизни. Сверх того, в наше скептическое время скорее поверят существованию волшебников и кудесников, чем существованию «счастья». Ему верят теперь только безбородые юноши да мечтательные девы; последние верят жарче первых, но не дальше, как только до замужества; а если они остаются на всю жизнь девицами, то и до гробовой доски верят счастью и мечтают о нем. Это исключительная привилегия старых дев, да и что же им было бы делать на свете, если бы они не верили в счастье и не мечтали о нем? .. Фредерика Бремер тем с большим убеждением и большим жаром верит в счастье семейной жизни, что сама имеет ни с чем не сравнимое преимущество быть «девою», и притом уже, кажется, такую, которая годится Минерве в ровесницы не по одному уму. Это очень выгодное обстоятельство для дела, которого адвокатом явилась Фредерика Бремер; блаженство, которое мы знаем только в мечтах, всегда кажется нам лучше, выше, обольстительнее блаженства, которое изведено нами на самом деле. И потому Фредерика Бремер с восхищением, с энтузиазмом описывает счастье семейной жизни, так что вы с первых же страниц тотчас видите, что сочинительница не была, а только желала страстно быть замужем. Это, разумеется, столько же выгодно для романа, сколько вредно для юных читателей, особенно читательниц, и особенно читательниц без приданого: бедняжки сейчас ударятся в розовые мечты о счастье и о нем, — и каково же будет их разочарование, когда ни один «он» ни в грош не оценит их прекрасной души, которая, как ни хороша, а все-таки совсем не то, что «души»... Каково будет разочарование и тех юных читательниц, которые с склонностью к мечтательности владеют и «действительными достоинствами», т. е. приданым? Бедняжки, пожалуй, потребуют от своих мужей любви и счастья, не подозревая в простоте сердца, что любовь и счастье при деньгах совершенно лишние и даже вредные вещи, как лекарство при здоровье. Сначала им будет больно, а потом они возненавидят все эти романы, которые так добросовестно лгут и так благонамеренно обманывают детей, заранее ставя их в ложное положение к действительности, вместо того, чтобы заранее знакомить их с «действительностью»...

И, однако ж, Фредерика Бремер не буквально повторила собою Августа Лафонтена: она, как бы против воли своей, принуждена была сделать значительную уступку духу времени: в заглавии ее романа стоят не одни «радости» семейные, но и «огорчения». А, так эта утопия имеет и свои огорчения, даже и в романах! Прочтите роман г-жи Бремер, — и то ли еще увидите! Вы увидите, что для полного семей-

ного счастья мало одной любви, но еще более нужно эгоистического сосредоточения в маленькой и тесненькой сфере домашнего быта, — нужна значительная доля умственной ограниченности, которая только одна дает человеку силу заткнуть уши от всех других обаятельных зовов бытия и закрыть глаза на все другие обаятельные картины широко раскинувшейся, бесконечно разнообразной жизни... И какая разница в этом отношении, например, между семейственной Германиею нашего времени и общественным древним миром! В первой — жизнь так узко, так душно определяется для людей с их младенчества, семейный эгоизм полагается в основу воспитания; во втором — человек родился для общества, воспитывался обществом и потому сделался человеком, а не филистером...

Роман Фредерики Бремер читается не без удовольствия, потому что эта писательница не без дарования; но как все произведения, писанные на тему, под влиянием односторонней мысли, его нельзя долго читать без отдыха, и он местами страшно наскучает.



СОЧИНЕНИЯ ЗИНАИДЫ Р-ОВОЙ

Четыре части. СПб. 1843. ²¹

В России женщины мало пишут. Впрочем, этому нечего удивляться: в России и мужчины почти совсем не пишут. Смотря с этой точки зрения, вы увидите, что у нас женщины пишут именно не больше и не меньше того, сколько могут они писать. Звание писательницы пока еще контрабанда не у одних нас. Лживый взгляд на женщину осуждает ее на молчание. Этот взгляд, запрещающий женщине выходить из заколдованного круга простых светских отношений, не есть принадлежность собственно русского общества: он равно принадлежит и просвещенному западу Европы. Правда, там, как и у нас, женщина давно уже приобрела право говорить печатно, но как и о чем говорить? Вот вопрос, подробное решение которого завело бы нас далеко-далеко... в самую Азию. Никакая пишущая женщина в Европе не избегнет пошлых намеков и названия сине го чулка, каков бы ни был ее талант, равно всеми признанный. Никто там не оспаривает у женщины права высказываться печатно и возможности быть одаренною даже великим творческим талантом; никого не оскорбляет и не соблазняет зрелище пишущей женщины; но в то же время едва ли кто упустит случай, говоря о пишущей женщине, посмеяться над ограниченностью женского ума, более, будто бы, приноровленного для кухни, детской, шитья и вязанья, чем для мысли и творчества. Это уже такая привычка у мужчин: если они давно перестали бить женщин, то еще не отстали от привычки грозить им кулаком или дразнить языком, в ознаменовании права своей силы. Привычка — вторая натура, и потому отстать от нее трудно. Для женщины-писательницы это первое, и притом еще самое меньшее зло. Хуже всего, что она осуждена общественным мнением на самые невинные литературные занятия, именно — вечно повторять старые обветшалые истины, которым не верят даже и дети, но которые тем не менее считаются почтенными. Нельзя употребить большего насилия

над женщиной, нельзя оказать ей большего презрения. Конечно, ей не воспрещается законом быть оригинальною и глубокою в своих мыслях, могущественною и великою в творчестве, — по крайней мере, настолько, насколько не воспрещается это законом мужчине; но если закон оставит женщину в покое, тогда против нее действует общественное мнение. Тысячеглавое чудовище объявляет ее безнравственною и беспутною, грязнит ее благороднейшие чувства, чистейшие помыслы и стремления, возвышеннейшие мысли, — грязнит их грязью своих комментариев; объявляет ее базовразною кометою, чудовищным явлением, самовольно вырвавшимся из сферы своего пола, из круга своих обязанностей, чтоб упоить свои разнузданные страсти и наслаждаться шумною и позорною известностью. Не правда ли, что это возмутительно несправедливо? А вот вам и смешное: то же самое общество не читает женщин, пишущих в духе его же собственной морали и обходит их самым презрительным невниманием, потому что оно само не верит своей морали и смеется над нею...

Поэтому женщина у нас смело может пускаться в писательство: если она не всегда может надеяться стать слишком высоко, зато никогда не должна бояться затеряться в задних рядах писак. Это тем вернее, что женщины, которые когда-либо пускались на Руси в авторство, всегда обладали известною степенью образованности, знанием хоть французского языка; при этом им не мало служит и врожденный женской натуре такт приличия и здравого смысла; тогда как несравненно большая часть пишущих в России мужчин попала в писатели нечаянно и без всякого приготовления, а потому и не знают даже первых оснований грамматики своего родного языка, да и не принадлежат к такому кругу понятий, из которого совсем не следовало бы показываться в печати...

К чести русских женщин-писательниц надобно сказать, что между ними примеры подобного романтизма или безграмотности составляют исключения из общего правила, — исключения, которые остаются за немногими теми, которые, соблазнившись некоторыми журналами, пустились гуторить в них народною (т. е. огородническою) речью... Все другие, обладая большим или меньшим талантом, все-таки отличаются большею или меньшею грамотностью, уважением к приличию и отвращением к площадной и харчевенной народности.

Нельзя сказать, чтобы в повестях Зинаиды Р-вой русская повесть достигла талантом женщины своего полного развития, чтоб она стала выражением созревшей мысли и верною картиною современного общества, но в то же время нельзя не сказать, что ни одна из русских писательниц не обладала

такую силою мысли, таким тактом действительности, таким замечательным талантом, как Зинаида Р-ва. Созданная ею повесть, как ее талант и жизнь, остановились на полудороге и не дошли до своего полного и конечного развития. Мы не хотим и упоминать о полноте чувства, которою проникнуты повести Зинаиды Р-вой: это должно само собой подразумеваться, когда дело идет о сильном таланте: какого же порядочного математика хвалят за способности комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступим к тому, что составляет существенное достоинство повестей Зинаиды Р-вой — к их мысли.

В истинно-поэтических произведениях мысль не является отвлеченным понятием, выраженным догматически, но составляет их душу, разлитая в них, как свет в хрустале. Мысль в поэтических созданиях, — это их пафос или патос. Что такое пафос? — Страстное проникновение и увлечение какою-нибудь идеею.

Что же составляет пафос повестей Зинаиды Р-вой? — без сомнения любовь, ибо все ее повести основаны исключительно на одном этом чувстве. Но любовь есть понятие слишком общее, которое у всякого истинного таланта должно принять более или менее индивидуальный оттенок, или представляться под особенною точкою зрения. Посему мало сказать, что любовь составляет пафос повестей Зинаиды Р-вой: надо прибавить — любовь женщины. Все повести этой даровитой писательницы проникнуты одним страстным чувством, одною живою идеею, одним могучим созерцанием, не дающим покоя автору и тревожно его наполняющим, созерцанием, которое можно выразить такими словами: как умеют любить женщины и как не умеют любить мужчины.

Мы совершенно согласны с автором на счет превосходства женщин над мужчинами в деле любви; мы принимаем это превосходство за факт, не подлежащий никакому сомнению, и только стараемся, как сумеем, объяснить причину такого явления.

Начнем с того, что женщина более чем мужчина создана для любви самой природой. Женщина — представительница земного, производительного и хранительного начала, тогда как мужчина — представитель начала умственного, отвлеченного, олимпийского. Отсюда происходит великая разница в семейственном значении женщины и мужчины. Женщина — мать по призванию, по душе и по крови. Мать есть понятие живое, действительное, фактически существующее; тогда как отец есть понятие более или менее условное, более или менее относительное. Мать любит свое дитя сердцем,

кровью, нервами, любит его всем существом своим; ее любовь прежде всего физическая, естественная, следовательно любовь по преимуществу, любовь, как любовь. Она носит свое дитя у себя под сердцем, девять месяцев питает и растит его своею кровью, чувствует в себе первые жизненные его движения; юно, это дитя — плоть от плоти ее и кость от костей ее; она рождает его на свет в муках и страданиях, и вместо того, чтобы возненавидеть, именно за них то, за эти муки и страдания еще более любит его. Это маленькое, слабое, крикливое, неопрятное и деспотическое существо, с первого дня своего появления на свет делается предметом нежнейших попечений и неусыпных забот своей матери: она лобует его безобразiem, как красотою; его красная, морщиноватая кожа только манит ее поцелуи; в его бессмысленной улыбке она видит чуть не разумную речь и готова начать с ним говорить; ей не противно наблюдать за чистотою этого маленького животного; ей не тяжело не спать ночи, бодрствуя над его ложем. И она — бедная мать — будет любить его всегда, и прекрасного и безобразного, и умного и глупого, и доброго и злого, и добродетельного и порочного, и славного и неизвестного... Она рыдает и над гробом своего дитяти-младенца, и над гробом своего сына-старика или своей дочери-старухи. Ангел-хранитель младенчества детей своих, она друг их юности, возмужалости и старости. Нет жертвы, которой бы не принесла она для детей; их счастье — ее счастье; их несчастье — ее несчастье. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею. Любовница, жена любит вас для себя самой, ваша мать любит вас для вас самих. Ее высочайшее счастье видеть вас подле себя, и она посылает вас туда, где, по ее мнению, вам веселее; для вашей пользы, вашего счастья она готова решиться на всегдашнюю разлуку с вами. Конечно, таких матерей не много на белом свете; но ведь и женщин тоже мало в этом мире, а много в нем самок...

Совсем иначе любит отец своих детей. Во-первых, он любит их только тогда, когда и мать их любима им; во-вторых, он начинает их любить только с тех пор, как они начнут становиться и милы и забавны. Их крика и доуки он не любит. Источник любви отца к детям всегда или эгоизм, или рефлексия, и никогда — природа. «Они мои дети — они на меня похожи — они продолжают мое имя — я прижил их от моей милой — они обнаруживают большие способности — они много обещают в будущем» — думает про себя дражайший родитель — и он в восторге от мысли, что

он любит своих детей, что он не только нежный супруг, но и примерный отец. Правда, и отец может страстно любить своих детей, когда его с ними соединит нравственное, духовное родство; но так же точно может любить он и приемыша, даже еще больше, чем собственных детей.

Что мать есть понятие действительное, а отец — понятие отвлеченное (говоря философским языком), этому может служить доказательством и то, что мать не может не знать, что именно она сама, а не кто-нибудь другая, мать этого ребенка: ибо она девять месяцев носила его под сердцем и в болезнях деторождения произвела его на свет... Отцы считают себя отцами детей своих опираясь только на свидетельство жен своих, не всегда непреложно-истинном... Для всякого человека — большое несчастье не знать своей матери; для многих большое счастье — не знать своих отцов...

Все люди равно рождаются для любви, и без любви ни для кого из людей нет ни истинного счастья, ни истинной жизни; но любовь женщины есть более любовь, чем любовь мужчины; в любви женщины больше кровного, а потому и больше страстного, — тогда как в любви мужчины больше мыслительного, если можно так выразиться. Давно уже было замечено, что женщина мыслит сердцем, а мужчина и любит головою. Эту разницу в характере любви того и другого пола показали мы в разнице любви матери и любви отца.

Мы охотно соглашаемся в том, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но из этого еще не следует, чтоб женщина только на одно то и родилась, чтоб любить: напротив, из этого следует, что женщина под преимущественным преобладанием характера любви и чувства создана действовать в тех же самых сферах и на тех же самых поприщах, где действует мужчина, под преимущественным преобладанием ума и сознания. А между тем, общественный порядок обрек женщину на исключительное служение любви и преградил ей пути во все другие сферы человеческого существования. Гаремы только фактически принадлежат Востоку: в идее они принадлежность и просвещенной Европы и всего мира. Известно физиологически, что каждое наше чувство с особенною силою развивается на счет других чувств; потерявшие слух лучше начинают видеть, ослепшие — лучше слышать, тоньше осязать. Удивительно ли, что вся сила духовной природы женщины выражается в любви, когда у женщины не отнято только одно право любить, а все другие человеческие права решительно отняты? Удивительно ли, вместе с тем, что тогда в женщинах становится недостатком именно то, что должно бы составлять их высочайшее достоинство? Исключительная

преданность любви делает их односторонними и требовательными: они, кроме любви, не хотят признавать ничего на свете и требуют, чтобы мужчина для любви забыл все другие интересы — и общественные вопросы, и общественную деятельность, и науку, и искусство, и все на свете. Это разрушает равенство: ибо тогда мужчина не совсем без основания начинает видеть в женщине низшее себя существо. Не совсем без основания, сказали мы: ибо, действительно, какую сделало ее воспитание и разные общественные отношения, она — низшее в сравнении с ним существо, хотя в возможности, какую создала ее природа, она столько же не ниже его, сколько и не выше. Это неравенство рождает разные отношения одной стороны к другой... Получая воспитание хуже, чем жалкое и ничтожное, хуже, чем превратное и неестественное, скованные по рукам и ногам железным деспотизмом варварских обычаев и приличий, жертвы чуждой безусловной власти всю жизнь свою, до замужества рабы родителей, после замужества — вещи мужей, считая за стыд и за грех предаться вполне какому-нибудь нравственному интересу, например, искусству, науке, — они, эти бедные женщины, все запрещенные им кораном общественного мнения блага жизни хотят, во что бы ни стало, найти в одной любви, — и разумеется, почти всегда горько и страшно разочаровываются в своей надежде. Изменила мужчине надежда на что-нибудь, — сколько у него выходов из горя, сколько дорог на попрание жизни, которые могут вести его к той или другой цели! Изменила женщине любовь, — ей ничего уже не остается в жизни, и она должна пасть, погибнуть под бременем постигшего ее бедствия, или умереть душою для остаточного времени своей жизни, сколько бы ни продолжалась эта жизнь. Не говорите ей об утешении, не маните ее надеждою, не указывайте ей на очарование искусств, на усладу науки, на блаженство высокого подвига гражданского: ничего этого не существует для нее! Возвратите ей любовь любимого ею, пусть вновь сидит он подле нее, да глядит в упоении страсти в ее сияющие блаженством очи. Бедная, для нее в этом столько счастья, тогда как только Манилов — мужчина способен найти в этом все свое счастье...

Итак, даровитая Зинаида Р-ва, сознавши существование факта, была чужда сознания причин этого факта. Но к чести ее надо сказать, что она глубоко понимала униженное положение женщины в обществе и глубоко скорбела о нем, но она не видела связи между этим униженным положением женщины и ее способностью находить в любви весь смысл жизни. Мысль об этом состоянии унижения, в котором находится женщина, составляет вторую живую стихию повестей Зинаиды

Р-вой. И потому нельзя сказать, чтоб весь пафос ее поэзии заключался только в мысли: как умеют любить женщины и как не умеют мужчины любить, нет, он заключается еще и в глубокой скорби об общественном унижении женщины и в энергическом протесте против этого унижения...

Что у Зинаиды Р-вой был талант и притом замечательный, выходящий из ряда обыкновенных дарований, — в этом нет никакого сомнения, но что ее талант не был развит, что он вечно колебался в какой-то нерешительности, это также правда. Вот почему ее повести имеют большой недостаток со стороны художественности. Характеры действующих лиц не довольно резко очерчены и часто похожи друг на друга, разнясь только положением, в каком описывает их сочинительница. Подробности быта и колорит местности не довольно поражают своею верноcтью и яркостью. Но главный и существенный недостаток сочинений Зинаиды Р-вой, — это отсутствие иронии и юмора и присутствие какого-то провинциального идеализма à la Марлинский²²...

Нам кажется, что это объясняется жизнью даровитой писательницы нашей. Жена военного человека, она следовала за ним из губернии в губернию, из уезда в уезд, и случалось ей кочевать даже в степях Новороссии. Отдаление от столичной жизни есть большое несчастье и для души и для таланта: они или увядают в апатии и бездействии, или принимают провинциальное направление, которое комизм полагает в плоской шутливости, а высокое — в детском отвлеченном идеализме. Как бы ни сильна была натура человека и как бы ни велик был талант его, но невозможно же ему долго бороться с подавляющими впечатлениями окружающего его мира, и волею или неволею, более или менее, ранее или позднее, но должен же он принять на себя их отпечаток. Зинаида Р-ва знала итальянский, немецкий, английский и французский языки, хорошо была знакома с великими поэтами, писавшими на этих языках: это видно даже и из эпитафий, которыми испещряла она главы своих повестей. И вместе с ними вы находите эпитафии из г. г. Кукольника²³ и Бенедиктова²⁴...

Мир праху твоему, благородное сердце, безвременно разорванное силою собственных ощущений. Мир праху твоему, необыкновенная женщина, жертва богатых даров своей возвышенной натуры. Благодарим тебя за краткую жизнь твою: не даром и не втуне цвела она пышным, благоуханным цветом глубоких чувств и высоких мыслей... В этом цвете — твоя душа и не будет ей смерти, и будет жива она для всякого, кто захочет насладиться ее ароматом...



АНТОЛОГИЯ ИЗ ЖАН-ПОЛЯ РИХТЕРА.

СПБ. 1844²⁵

Жан-Поль навсегда утвердил за собою почетное место в немецкой литературе. Он имел сильное влияние на современную ему Германию, которая уже так мало походит на современную нам Германию. Хотя от смерти Жан-Поля едва ли прошло двадцать лет, однако в это время в умственной жизни германцев произошло много великих переворотов, возникло много новых вопросов, и вообще направление Германии и ее симпатии значительно изменились. Несмотря на то, Жан-Поль всегда будет находить себе в Германии обширный круг читателей, а Германия всегда с любовью будет вспоминать о нем, как воспоминает возмужалый человек о добром и умном учителе своей юности, или о книге, которая уже не удовлетворяет его вкусам и требованиям, но которая в его юношеские лета была столько же полезна для него, сколько и любимой им книгой. Но из всего этого еще не следует, что Жан-Поль был великим писателем, гением. Он обладал замечательно сильным талантом, принявшим, впрочем, до дикости странное направление и уродливо развившимся. Этому, конечно, много способствовал аскетический дух немецкой нации, узкость и теснота ее общественной жизни, которые способствуют сильному внутреннему развитию отдельных лиц, но задушают всякое социальное, богатое широкими симпатиями развитие людей, рожденных для общества. Такие гениальные личности, как Гете и Шиллер, собственною силою могли вырваться из этой душной сферы и, не переставая быть национальными писателями, возвыситься, в то же время, до всемирно-исторического значения. Но такие, впрочем, яркие и сильные таланты, как Гофман и Рихтер, не могли не поддаться губительному влиянию дурных сторон общественности, которою они окружены были, как воздухом. По таланту, Гофман вообще выше и замечательнее Рихтера. Юмор Гофмана гораздо жизненнее, существеннее и жгучее юмора Жан-Поля, — и немецкие гоф-

раты, филистеры и педанты должны чувствовать до костей своих силу юмористического гофманова бича. Какою мастерскою кистью изображал Гофман почтенного князя Иринуса, его комический двор и его микроскопическое государство! Какою глубиною дышит его превосходная повесть «Мейстер Иоганн Вахт»! Сколько прекрасных и новых мыслей о глубоких тайнах искусства высказал, в самой поэтической форме, этот человек, одаренный такою богато артистическою натурою! И все это не помешало ему вдаться в самый нелепый и чудовищный фантазм, в котором, как многоценная жемчужина в тине, потонул его блестящий и могучий талант! Что же загнало его в туманную область фантазерства, в это царство саламандр, духов, карликов и чудовищ, если не смрадная атмосфера гофратства, филистерства, педантизма, словом, скука и пошлость общественной жизни, в которой он задыхался и из которой готов был бежать хоть в дом сумасшедших?.. Жан-Поль был совсем другой натуры. Преобладающею стороною всего его существа было чувство, более пламенное и задушевное, чем сильное и крепкое, более расплывающееся, чем сосредоточенное и подчиненное разуму, более гуманное, чем многостороннее. Говорят, что Жан-Поль не мог не заплакать от умиления, видя человека с лицом, сияющим от довольства и счастья. Дух его был по преимуществу внутренний и созерцательный. Поэтому его высочайшим идеалом человека была красота внутреннего развития личности, без всякого отношения ее к обществу, — и пафос всего его существования составляла не разумная деятельность, сияющая вносить в действительность свои собственные идеалы, но природа, луна, солнце, весна, роса, ручьи, облака, цветы, ночь, звездное небо. Полная елейной, несколько сентиментальной и расплывающейся любви, натура Жан-Поля была ясна, спокойна и кротка.

Герои его романов или, лучше сказать, его выпреженных фантазий, все люди восторженные, которые живут в высоких, поэтических мгновениях жизни, никогда не зевают и всегда импровизируют, вместо того, чтобы говорить. Надо отдать им полную справедливость — они люди прекрасные, но только с ними скука смертельная.

В глазах Жан-Поля, мать, торгующая счастьем целой жизни своей дочери, есть явление как бы случайное, нарушающее собою гармонию общественной нравственности, — и он хлопочет силою краткою, теплого убеждения исправить такую «дражайшую родительницу», если бы она нашла где-нибудь, не подозревая в своем простодушии, что на таких матерей не действуют красноречивые строки. В то же время он видит в поступке такой матери только злоупотребление

права, а самое право признает неотъемлемым, — и если бы бедная дочь, принесенная матерью в жертву своей корысти, прибегла к Жан-Поллю с жалобой растерзанного сердца и глубокооскорбленного и поруганного своего человеческого достоинства, — добродушный Жан-Поль, со всей филистерскою елейностью любящего сердца, утешил бы ее красноречивыми советами — терпеливо покориться ее участи, к радости погубивших ее извергов-спекулянтов. Он сказал бы ей: «О, дева! (Жан-Поль любил это смешное слово). — Ты носишь терновый венец на окровавленной главе; зато вечные розы цветут в груди твоей». Не знаем, могло ли бы деву сделать счастливою подобное утешение, но знаем, что от таких утешений общественные раны никогда не излечатся и что человек, выговаривающий такие утешения высоким до напыщенности слогом, как великие истины, толчет воду в ступе, ибо позволяет всему оставаться так, как оно есть. Сколько людей и как уже давно доказали верно и несомненно, что взаимная любовь между людьми есть лучшая гарантия их общей безопасности и благосостояния; но люди тем не менее не хотят согласиться на такую любовь! Я очень рад, если вследствие любви меня никто не ограбит и не убьет на большой дороге, но, при отсутствии строгого полицейского надзора, я никак не положусь на любовь моих ближних... Конечно, естественная любовь матери к дочери — хорошая порука в том, что мать не выдаст своей дочери насильно за какого-нибудь негодяя (ибо всякий мужчина, способный насильно жениться, есть негодяй), но все-таки мое сердце меньше обливается кровью при мысли о насильственных браках, когда возможность их уничтожена строгостью ясно и положительно высказанных законов...

«Дитя должно быть для вас священное настоящего, которое состоит из вещей и людей образовавшихся. Вникните в великое значение детского возраста! Воспитывая дитя, вы трудитесь для будущего, заготовляете ему богатую жатву; не бросайте же на бразду земли пороху, который взорвет мину: но посейте на ней зерно хлебное, которое принесет плод и насытит душу. Дайте этому маленькому ангелу, готовому утратить свой земной рай и собирающемуся в путь далекий, неизвестный. — крепкую броню против судьбы, талисман, который защищал бы его в стране опасностей; даруйте ему небо и полярную звезду, которая руководила бы его в продолжение всей жизни и осветила бы перед ним мрачные страны, которые ему позднее суждено посетить. Осветите прежде всего его сердце лучем нравственного чувства: то будет заря прекрасной души. Внутренний человек, подобно негру, рождается белым; жизнь — вот что очерняет его. В старости величайшие примеры нравственной силы проходят мимо нас, не совращая более нашей жизни с ее пути, подобно комете, летящей мимо земли; — в первой же поре детства, напротив, первый порыв любви, внешней или внутренней, первые несправедливости набрасывают долгую тень или яркий свет на необозримое поле следующих возрастов.

«Почему вы знаете, что младенец, рвущий цветы подле вас, не устремится некогда со своей Корсики, как бог войны, в мятежную часть света, чтобы играть бурями, срывать, очищать или сеять? Неужели для вас ничего не значило бы, воспитавши его, сделаться его Фенелоном, его Корнелиею и его Дюбуа? И если вы не могли ни сокрушить, ни поправить полета его гения (чем глубже море, тем круче его берега), вы бы могли в самом важном десятилетии жизни, на этом первом пороге, через который проходят все чувства, посещающие человеческое сердце, сковать возникающую силу льва и опутать его нежнейшими привычками прекрасного сердца и всеми узами любви».

Все это прекрасно, но всего этого мало. Что детей должно воспитывать хорошо, — об этом многие говорили и писали, и потому вопрос давно уже не в том, должно ли воспитывать детей, а в том, как должно воспитывать и в чем должно состоять основное начало истинного воспитания. У Жан-Поля на все болезни одно лекарство — любовь. Но ведь и госпожа Простакова любила же своего Митрофанушку, и Брут любил своих сыновей: любовь одна, а ее характер и проявление совершенно различны. Что же дало ей это различие? — то, что в первой есть только смысл, но нет никакой мысли, а во второй, кроме смысла, есть еще и мысль. Чтоб развить любовь в молодом сердце, надо заставить его полюбить что-нибудь, и это «что-нибудь» должно быть истинною, мыслью. Молодых людей и дома, и в школах учат любить правду, ненавидеть ложь, а когда они вступят в жизнь, их гонят за правду и их правдивость называют гордостью, самонадеянностью, буйством и «вольнодумством» — любимое слово филистеров и гофратов... Итак, вопрос в том, должно ли детей воспитывать так, чтобы они могли уживаться с обществом или должно желать, чтобы общество сделалось способным уживаться с людьми благовоспитанными. Этот вопрос важнее вопросов о всевозможных родах любви.



Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — Конечно, то, что мы называем его духовностью, т. е. чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается в человеке низшим, случайным, относительным, преходящим? — Конечно, его тело. Известно, что наше тело мы с детства привыкли презирать, может быть, потому именно, что, вечно живя в логических фантазиях, мы мало его знаем. Врачи, напротив, больше других уважают тело, потому что больше других знают его. Вот почему от болезней, чисто нравственных, они лечат иногда средствами чисто материальными, и наоборот. Из этого видно, что врачи, уважая тело, не презирают души: они только не презирают тело, уважая душу. В этом отношении, они похожи на умного агронома, который с уважением смотрит не только на богатство получаемых им от земли зерен, но и на самую землю, которая их произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючий навоз, который усилил плодотворность этой земли.

— Вы, конечно, очень цените в человеке чувство? — Прекрасно! — так цените же и этот кусок мяса, который трепещет в его груди, который вы называете сердцем, и которого замедленное или ускоренное биеие верно соответствует каждому движению вашей души. — Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении и перед этою массой мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются, через позвоночный хребет, нити нерв, которые суть органы ощущений и чувств и которые исполнены каких-то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материального наблюдения и не даются умозрению. Иначе, вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины, или — что еще хуже — сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же не состоятельна,

как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовлетворялась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить физический процесс нравственного развития. Но это внутренний мир физиологической жизни человека; все его сокровенные от нас действия, как результат, выказываются наруже в лице, взгляде, голосе, даже манерах человека. А между тем, что такое лицо, глаза, голос, манеры? Ведь это все — тело, внешность, следовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что ведь все это — не чувство, не ум, не воля? — так! но ведь во всем этом мы видим и слышим и чувство, и ум, и волю. Всего случайнее в человеке его манеры, потому что они больше всего зависят от воспитания, образа жизни, от общества, в котором живет человек; но почему же иногда и в грубых манерах мужика чувство ваше угадывает доброго человека, которому вы смело можете довериться, и в то же время изящные манеры светского человека заставляют вас иногда невольно остерегаться его? — Сколько на свете людей с душой, с чувством, но у каждого из них чувство имеет свой характер, свою особенность. Сколько на свете умных людей, и между тем у каждого из них свой ум. Это не значит, чтобы умы у людей были разные: в таком случае люди не могли бы понимать друг друга; но это значит, что у самого ума есть своя индивидуальность. В этом его ограниченность, и поэтому ум величайшего гения всегда неизмеримо ниже ума всего человечества; но в этом же и его действительность, его реальность. Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность. Оттого на свете столько умов, сколько людей, и только у человечества один ум. Посмотрите, сколько нравственных оттенков в человеческой натуре: у одного ум едва заметен из-за сердца, у другого сердце как будто поместилось в мозг; этот страшно умен и способен на дело, да ничего сделать не может, потому что нет у него воли; а у того страшная воля да слабая голова, и из его деятельности выходит или вздор, или зло. Перечесать этих оттенков также невозможно, как перечесать различия физиономий: сколько людей, столько и лиц, и двух совершенно схожих найти еще менее возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожие между собою... Когда вы влюблены в женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ее ума и сердца: иначе, когда вам укажут на

другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перевлюбитесь и оставить первый предмет своей любви для нового, как оставляют хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на чувство любви, но когда любят человека, любят его всего, не как идею, а как живую личность; любят в нем особенно то, чего не умеют ни определить, ни назвать. В самом деле, как бы определили и назвали вы, например, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физиономии, его голоса, словом, все то, что составляет его особенность, что делает его не похожим на других, и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе, зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? — Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что называли вы в нем духовным и нравственным, — а умерло только грубо материальное, случайное?.. Но об этом-то случайном и рыдаете вы горько, потому что воспоминание о прекрасных качествах человека не заменит вам человека, как умирающего от голода не насытит воспоминание о роскошном столе, которым он недавно наслаждался. Я охотно соглашусь с спиритуалистами, что мое сращение грубо, но зато оно верно, а это для меня главное. Державин сказал:

Так! весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить.

Против действительности такого бессмертия нечего сказать, хотя оно и не утешит людей близких поэту; но что передает поэт потомству, в своих созданиях, если не свою личность? Не будь он личность больше, чем кто-нибудь, личность по преимуществу, его создания были бы бесцветны и бледны. От этого творения каждого великого поэта представляют собою совершенно особенный, оригинальный мир, и между Гомером, Шекспиром, Байроном, Сервантесом, Вальтер Скоттом, Гете и Жорж Санд общего только то, что все они — великие поэты...

Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению, и без которой все — или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели: но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами. Это такая же тайна, как и жизнь: все ее видят, все ощущают себя в ее недрах, и никто не скажет вам, что она такое. Так точно ученые, хорошо зная действие и силы деятелей природы, каковы электричество, гальванизм, магнетизм, и потому несколько не сомневаясь

в их существовании, все-таки не умеют сказать, что они такое. Страннее всего, что все, что мы можем сказать о личности, ограничивается тем, что она ничтожна, перед чувством, разумом, волей, добродетелью, красотой и тому подобными вечными и непреходящими идеями; но что без нее, преходящего и случайного явления, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродетели, ни красоты, так же, как не было бы ни бесчувственности, ни глупости, ни бесхарактерности, ни порока, ни безобразия...

Что личность в отношении к идее человека, то и народность в отношении к идее человечества. Другими словами: народность суть личность человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят как такое-то издание такой-то логики... Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому...

Человеческое присуще человеку потому, что он человек; но оно проявляется в нем не иначе, как, во-первых, на основании его собственной личности и в той мере, в какой она может его вместить в себе, а во-вторых, на основании его национальности. Личность человека есть исключение других личностей и, потому самому, есть ограничение человеческой сущности: ни один человек, как бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпает самим собою не только всех сфер жизни, но даже и одной какой-нибудь ее стороны. Ни один человек не только не может заменить самим собой всех людей (т. е. сделать их существование не нужным), но даже и ни одного человека, как бы он ни был ниже его в нравственном или умственном отношении; но все и каждый необходимы всем и каждому. На этом и основано единство и братство человеческого рода. Человек силен и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — национальность. Она есть самобытный результат соединения людей, но не есть их произведение: ни один народ не создал своей национальности, как не создал самого себя. Это указывает на кровное, родовое происхождение всех национальностей. Чем ближе человек или народ к своему началу, тем ближе он к природе, тем более он ее раб; тогда он не человек, а ребенок, не народ, а племя. В том и другом человеческое развивается по

мере их освобождения от естественной непосредственности. Этому освобождению часто способствуют разные внешние причины; но человеческое тем не менее приходит к народу не извне, а из него же самого, и всегда проявляется в нем национально.

Собственно говоря, борьба человеческого с национальным есть не больше, как риторическая фигура; но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса. Когда народ поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе силы перерабатывать их, самодеятельностью собственной национальности, в собственную же сущность, — тогда он гибнет политически. На свете много людей, известных под именем «пустых»: они умны чужим умом, ни о чем не имеют своего мнения, а между тем и учатся и следят за всем на свете. Пустота их в том и состоит, что они заимствуют целиком, и их мозг не переваривает чужой мысли, а передает ее, через язык, в том же самом виде, в каком принял ее. Это люди безличные, потому что чем человек личнее, тем способнее обращать чужое в свое, т. е. налагать на него отпечаток своей личности. Что человек без личности, то народ без национальности. Это доказывается тем, что все нации, игравшие и играющие первые роли в истории человечества, отличались и отличаются наиболее резкою национальностью. Вспомните евреев, греков и римлян; посмотрите на французов, англичан, немцев. В наше время народные вражды и антипатии погасли совершенно. Француз уже не питает ненависти к англичанину только за то, что он — англичанин, и наоборот. Напротив, со дня на день более и более, обнаруживается в наше время сочувствие и любовь народа к народу. Это утешительное, гуманное явление есть результат просвещения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все народы похожими один на другой, как две капли воды. Напротив, наше время есть по преимуществу время сильного развития национальностей. Француз хочет быть французом и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и интересуется им. В таких точно отношениях находятся теперь друг к другу все европейские народы. А между тем они нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно-бессильных и ничтожных. Древняя Эллада была наследницей всего предшествовавшего ей древнего мира. В ее состав вошли элементы египетские и финикийские,

кроме основного пелазгического. Римляне приняли в себя, так сказать, весь древний мир, и все-таки остались римлянами, и если пали, то не от внешних заимствований, а от того, что были последними представителями исчерпавшего всю жизнь свою древнего мира, долженствовавшего обновиться через христианство и тевтонских варваров. Французская литература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила их заимствованиями, — и все-таки оставалась национально-французской. Все отрицательное движение французской литературы XVIII в. вышло из Англии, но французы до того умели усвоить его себе, наложив на него печать своей национальности, что никто и не думает оспаривать у их литературы чести самобытного развития. Немецкая философия пошла от француза Декарта, нисколько не сделавшись от этого французской.

Разделение народа на противоположные и враждебные будто бы друг другу большинство и меньшинство, может быть, и справедливо со стороны логики, но решительно ложно со стороны здравого смысла. Меньшинство всегда выражает собой большинство, в хорошем или в дурном смысле. Еще страннее приписать большинству народа только дурные качества, а меньшинству одни хорошие. Хороша была бы французская нация, если бы о ней стали судить по развратному дворянству времен Людовика XVI! Этот пример указывает, что меньшинство скорее может выражать собою более дурные, нежели хорошие стороны национальности народа, потому что оно живет искусственной жизнью, когда противопоставляет себя большинству, как что-то отдельное от него и чуждое ему. Это видим мы и в современной нам Франции, в лице *bourgeoisie*, — господствующего теперь в ней сословия. Что же касается до великих людей, — они по преимуществу — дети своей страны. Великий человек всегда национален как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собой свой народ. Борьба гения с народом не есть борьба человеческого с национальным, а просто на просто нового со старым, идеи с эмпиризмом, разума с предрассудками. Масса всегда живет привычкой, и разумным, истинным и полезным считает только то, к чему привыкла. Она защищает с остервенением то старое, против которого, веком или менее назад, с остервенением же боровалась она, как против нового. Противодействие массы гению необходимо: это с ее стороны экзамен гению: если он возьмет свое, ни на что не смотря, значит, он точно гений, т. е. в самом себе носит свое право действовать на судьбы своего отечества. Иначе всякий резонер, всякий мечтатель, всякий философ, всякий маленький великий человек стал бы обхо-

даться с народом, как с лошадыо, направляя его по воле своих прихотей и фантазий то в ту, то в другую сторону...

Нет никакой необходимости разделять народу на самого себя, чтобы доставить себе источник новых идей. Источник всего нового есть старое; по крайней мере, старым готовится новое. В гении не столько поражает находчивость нового, сколько смелость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведений в России чувствовали еще предшественники Петра; она указывалась настоящим положением государства, но произвести реформу мог только Петр. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебных отношениях к своему народу, но, напротив, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство с ним. Что в народе бессознательно живет как возможность, то в гении является как осуществление, как действительность. Народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. Тут единство, а не разделение, не двойственность. И вопреки силлогистам (новое слово!), для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим. То, что называют резонеры человеческим, противопоставая его национальному, есть в сущности новое, непосредственно и логически следующее из старого, хотя бы оно и было чистым его отрицанием. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелепости, из нее один единственный путь — переход в противоположную крайность. Это в натуре и человека и народов. Следовательно, источник всякого прогресса, всякого движения вперед заключается не в двойственности народов, а в человеческой натуре, так же, как в ней заключается и источник уклонений от истины, коснения и неподвижности.

Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности. То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны. И — что всего лучше — эти вопросы решены там самой жизнью, или, если теория и имела участие в их решении, то при помощи действительности. — Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких вопросов²⁷, потому что пока не решим мы их сами собой и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том,

что они решены в Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же, да не те, и требуют другого решения. — Теперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль дон-Кихотов, горячась из него. Этим мы заслужили бы скорее насмешки европейцев, нежели их уважение. У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения.



СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

СПБ. Одиннадцать томов.²⁸

Статья первая

Карамзин имел огромное влияние на русскую литературу. Он преобразовал русский язык, совлекиши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи. Своим журналом, своими статьями о разных предметах и повестями он распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению. При нем и вследствие его влияния тяжелый педантизм и школярство сменялись сентиментальностью и светскою легкостью, в которых много было странного, но которые были важным шагом вперед для литературы и общества...

Крылов писал комедии весьма замечательные по остроумию; но слава его, как баснописца, не могла не затмить его славы, как комика. Крылов далеко оставил за собою и Хемницера и Дмитриева, и достиг в басне возможного совершенства. Басни Крылова — сокровищница русского практического смысла, русского остроумия и юмора, русского разговорного языка; они отличаются и простодушием, и народностью. Крылов вполне народный писатель и теперь уже воспитатель не менее тридцати поколений...

Статья вторая

[Карамзиным началась новая эпоха русской литературы. Преобразование языка отнюдь не составляет исключительного характера этой эпохи, как думают многие. Как бы ни была велика реформа, произведенная кем-нибудь или сама собою происшедшая в языке, — она никогда не может быть фактом особенной важности. Язык, взятый сам по себе, есть только посредствующий материал, и его движение может быть только формальное. Но всегда важно движение языка вследствие движения мысли: и вот где важность реформы, произведенной Карамзиным, и вот почему Карамзину принад-

лежит честь основания новой эпохи русской литературы. Карамзин ввел русскую литературу в сферу новых идей, — и преобразование языка было уже необходимым следствием этого дела. Загляните в журналы, в романы, в трагедии и вообще стихотворения эпохи, предшествовавшей Карамзину: вы увидите в них какую-то стоячесть мысли, книжность, педантизм и риторику, отсутствие всякой живой связи с жизнью. Карамзин первый на Руси заменил мертвый язык книги живым языком общества. До Карамзина у нас на Руси думали, что книги пишутся и печатаются для одних «ученых» и что неученому почти так же не пристало брать в руки книгу, как профессору танцевать. Оттого содержание книг, по тогдашнему мнению, должно было быть как можно более важным и дельным, то-есть как можно более тяжелым и скучным, сухим и мертвым. Более всех подходил тогда к идеалу великого поэта Херасков, потому что был тяжел и скучен до невыносимости...

Карамзин первый на Руси начал писать повести, которые заинтересовали общество и казались пустыми и ничтожными для педантов, — повести, в которых действовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного повседневного быта. Конечно, в таких повестях, как «Бедная Лиза», «Наталья боярская дочь», «Остров Борнгольм», «Рыцарь нашего времени», «Чувствительный и великодушный» и проч., никто не будет теперь искать творческого произведения действительности, никто не будет читать их как художественные произведения, ради эстетического наслаждения, никто не будет ими восхищаться; но, вместе с тем, никто из мыслящих людей не скажет, что в повестях Карамзина не было своего неотъемлемого интереса и для нашего времени — интереса исторического. Чуждые творчества, они все-таки не чужды таланта, ума, одушевления, чувства, и в них, как в зеркале, верно отражается жизнь сердца, как ее понимали, как она существовала для людей того времени...

(Жуковский ввел в русскую поэзию романтизм. Что же такое романтизм вообще, и романтизм Жуковского в особенности? — Вот вопрос, от решения которого зависит определение значения, какое имеет Жуковский в русской литературе... У нас много говорили, толковали и спорили о романтизме. «Московский телеграф» был журналом, как бы издававшимся для романтизма, — а журнал этот существовал с 1825 по 1834 год. Но если толки о романтизме кончились на Руси с «Московским телеграфом», то начались они гораздо раньше, именно в исходе второго десятилетия текущего столетия. Но от всего этого вопрос не уяснился, и романтизм

попрежнему остался таинственным и загадочным предметом. Его поняли, как противоположность французскому псевдо-классицизму. Отсюда, естественно, вышла ошибка: как под «классицизмом» разумели известную условную форму искусства, так под «романтизмом» стали разумеать нарушение правил этой условной формы...

Действительно, у романтической поэзии необходимо должна быть своя форма, непохожая на форму классической, но это потому, что всякая оригинальная идея имеет свою, ей присущую, оригинальную форму, всякий самобытный дух является в свойственной ему самобытной личности. Однакож, как форма есть творение явившегося в ней духа, то, отправляясь от формы, никогда нельзя постичь заключенного в ней духа; наоборот, только отправляясь от духа, можно постичь и самый дух и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается в его идее, а не в произвольных случайностях внешней формы.

Романтизм — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии: его источник в том, в чем источник и искусства, и поэзии — в жизни. Жизнь там, где человек, а где человек, там и романтизм. В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма; чувство, любовь есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек — романтик. Исключение остается только или за эгоистами, которые, кроме себя, никого любить не могут, или за людьми, в которых священное зерно симпатии и антипатии задавлено и заглушено или нравственною неразвитостью, или материальными нуждами бедной и грубой жизни. Вот самое первое, естественное понятие о романтизме.

Законы сердца, как и законы разума, всегда одни и те же, и потому человек, по натуре своей, всегда был, есть и будет один и тот же. Но как разум, так и сердце живут, а жить — значит развиваться, двигаться вперед; поэтому человек не может одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; но его образ чувствования и мышления изменяется сообразно возрастам его жизни: юноша иначе понимает предметы и иначе чувствует, нежели отрок; возмужалый человек много разнится в этом отношении от юноши, старец — от мужа, хотя все они чувствуют одним и тем же сердцем, мыслят одним и тем же разумом. Это различие в характере чувства и мысли вытекает из природы человека и существует для каждого: оно связано с его неизбежным свойством расти, мужать и стариться физически. Но человек

имеет не одно только значение существа индивидуального и личного. Кроме того, он еще член общества, гражданин своей земли, принадлежит к великому семейству человеческого рода. Поэтому он — сын времени и воспитанник истории: его образ чувствования и мышления видоизменяется сообразно с общественностью и национальностью, к которым он принадлежит, с историческим состоянием его отечества и всего человеческого рода. Итак, чтоб вернее определить значение романтизма, мы должны указать на его историческое развитие. Романтизм не принадлежит исключительно одной только сфере любви: любовь есть только одно из существенных проявлений романтизма. Сфера его, как мы сказали, — вся внутренняя, душевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазиею...

Вследствие страшных потрясений и ударов, нанесенных романтизму XVIII веком, романтизм явился в наше время совершенно перерожденным и преображенным. Романтизм нашего времени есть сын романтизма средних веков, но он же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнее, наш романтизм есть органическая полнота и всецелость романтизма всех веков и всех фазисов развития человеческого рода; в нашем романтизме, как лучи солнца в фокусе зажигательного стекла, сосредоточились все моменты романтизма, развивавшегося в истории человечества, и образовали совершенно новое целое. Общество все еще держится принципами старого, средневекового романтизма, обратившегося уже в пустые формы за отсутствием умершего содержания; но люди, имеющие право называться солью земли, уже стремятся осуществить идеал нового романтизма. Наше время есть эпоха гармонического уравнивания всех сторон человеческого духа. Стороны духа человеческого неисчислимы в их разнообразии; но главных сторон только две: сторона внутренняя, душевная, сторона сердца, словом, — романтика, и сторона сознающего себя разума, сторона общего, разумя под этим словом сочетание интересов, выходящих из сферы индивидуальности и личности. В гармонии, то-есть во взаимном соп്രоникновении одной другою этих двух сторон духа, заключается счастье современного человека. Романтизм есть вечная потребность духовной природы человека: ибо сердце составляет основу, коренную почву его существования, а без любви и ненависти, без симпатии и антипатии человек есть призрак. Любовь — поэзия и солнце жизни. Но горе тому, кто в наше время здание счастья

своего вздумает построить на одной только любви, и в жизни сердца вознамерится найти полное удовлетворение всем своим стремлениям! В наше время, это значило бы отказаться от своего человеческого достоинства, из мужчины сделаться — самцом! Мир действительный имеет равные, если еще не большие права на человека, и в этом мире человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы и ревностно поборующим, по мере сил своих, его преуспеванию на пути нравственного развития. Любовь к человечеству, понимаемому в его историческом значении, должна быть живородящей мыслью, которая просветляла бы собою любовь его к родине. Историческое созерцание должно лежать в основе этой любви и служить указателем для деятельности, осуществляющей эту любовь. Знание, искусство, гражданская деятельность, — все это составляет для современного человека ту сторону жизни, которая должна быть только в живой органической связи с стороною романтики или внутреннего задушевного мира человека, но не заменяться ею. Если человек захочет жить только сердцем, но имя одной любви, и в женщине найти цель и весь смысл жизни, — он непременно дойдет до результата самого противоположного любви, то-есть до самого холодного эгоизма, который живет только для себя и все относит к себе. Если, напротив, человек, презрев жизнь сердца, захотел бы весь отдаться интересам общим, — он или не избежал бы тайной тоски и чувства внутренней неполноты и пустоты, или, если не почувствовал бы их, то внес бы в мир высокой деятельности сухое и холодное сердце, при котором не бывает у человека ни высоких помыслов, ни плодотворной деятельности. Итак, эгоизм и ограниченность, или неполнота — в обеих этих крайностях; очевидно, что только из гармонического их соприкновения одной другою выходит возможность полного удовлетворения, а следовательно, и возможность свойственного и присущего душе человека счастья, основанного не на песчаном берегу случайности, а на прочном фундаменте сознания. В этом отношении мы гораздо ближе к жизни древних, чем к жизни средних веков, и гораздо выше тех и других. Ибо в нашем идеале общество не угнетает человека на счет естественных стремлений его сердца, а сердце не отрывает его от живой общественной деятельности. Это не значит, чтоб общество позволяло теперь человеку, между прочим, и любиться, но это значит, что уже нет или, по крайней мере, более не должно быть борьбы между сердечными стремлениями и общественным устройством, примиренными разумно и свободно. И в наше

время жизнь и деятельность в сфере общего есть необходимость не для одного мужчины, но точно так же и для женщины: ибо наше время создало уже, что и женщина так же точно человек, как и мужчина, и создала это не в одной теории (как это же создавали и средние века), но и в действительности. Если же мужчине позорно быть самцом, на том основании, что он человек, а не животное, то и женщине позорно быть самкою на том основании, что она — человек, а не животное. Ограничить же круг ее деятельности скромностью и невинностью в состоянии девическом, спальнею и кухнею в состоянии замужества (как это было в средние века) — не значит ли это лишить ее прав человека, и из женщины сделать самкою? Но, скажут нам: женщина — мать, а назначение матери свято и высоко, — она воспитательница детей своих. Прекрасно! Но ведь воспитывать не значит только выкармливать и вынянчивать (первое может сделать корова или коза, а второе — нянька), но и дать направление сердцу и уму, — а для этого разве не нужно со стороны матери характера, науки, развития, доступности ко всем человеческим интересам?.. Нет, мир знания, искусства, словом мир общего должен быть столько же открыт женщине, как и мужчине, на том основании, что и она, как и он, прежде всего — человек, а потом уже любовница, жена, мать, хозяйка и проч. Вследствие этого, отношения обоих полов к любви и одного к другому в любви делаются совсем другими, нежели какими они были прежде. Женщина, которая умеет только любить мужа и детей своих, а больше ни о чем не имеет понятия и больше ни к чему не стремится, — так же точно смешна, жалка и недостойна любви мужчины, как смешон, жалок и недостойн любви женщины мужчина, который только на то и способен, чтоб влюбиться, да любить жену и детей своих. Так как истинно человеческая любовь теперь может быть основана только на взаимном уважении друг в друге человеческого достоинства, а не на одном капризе чувства и не на одной прихоти сердца, — то и любовь нашего времени имеет уже совсем другой характер, нежели какой имела она прежде. Взаимное уважение друг в друге человеческого достоинства производит равенство, а равенство — свободу в отношениях. Мужчина перестает быть властелином, а женщина — рабою, и с обеих сторон устанавливаются одинаковые права и одинаковые обязанности: последние, будучи нарушены с одной стороны, тотчас же не признаются более и другою. Верность перестает быть долгом, ибо означает только постоянное присутствие любви в сердце: нет более чувства — и верность теряет свой смысл;

чувство продолжается — верность опять не имеет смысла, ибо что за заслуга быть верным своему счастью?

Мы сказали выше, что романтизм нашего времени есть органическое единство всех моментов романтизма, развивавшегося в истории человечества. Приступая к развитию этой мысли, заметим прежде, что теперь для всякого возраста и для всякой ступени сознания должна быть своя любовь, т. е. один из моментов развития романтизма в истории. Смешно было бы требовать, чтоб сердце в восемнадцать лет любило, как оно может любить в тридцать и сорок, или наоборот. Есть в жизни человека пора восточного романтизма; есть пора греческого романтизма; есть пора романтизма средних веков. И во всякую пору человека сердце его само знает, как надо любить ему и какой любви должно оно отозваться. И с каждым возрастом, с каждой ступенью сознания в человеке изменяется его сердце. Изменение это совершается с болью и страданием. Сердце вдруг охладевает к тому, что так горячо любило прежде, и это охлаждение повергает его во все муки пустоты, которой нечем ему наполнить, — раскаяния, которое все-таки не обратит его к оставленному предмету, — стремления, которого оно уже боится и которому оно уже не верит. И не один раз повторяется в жизни человека эта романтическая история, прежде чем достигнет он до нравственной возможности найти своему успокоенному сердцу надежную пристань в этом вечно волнующемся море неопределенных внутренних стремлений. И тяжело дается человеку эта нравственная возможность: дается она ему ценою разрушенных надежд, несбывшихся мечтаний, побитых фантазий, ценою уничтожения всего этого романтизма средних веков, который истинен только как стремление, и всегда ложен, как осуществление! И не каждый достигает этой нравственной возможности; но большая часть падает жертвою стремления к ней, падает с разбитым на всю жизнь сердцем, нося в себе, как проклятие, память о другом разбитом навсегда сердце, о другом навеки погубленном существовании... И здесь-то заключается неисчерпаемый источник трагических положений, печальных романтических историй, которыми так богата современная действительность, наша грустная эпоха, которой недостает еще сил ни оторваться совершенно от романтизма средних веков, ни возвратиться вновь и вполне в обманчивые объятия этого обаятельного призрака... Но иные спасаются от общей участи времени, находя в самом же этом времени не всеми видимые и не всем доступные средства к спасению. Это спасение возможно не иначе, как только через совершенное отрицание неопределенного романтизма средних веков;

однако ж это не есть отрицание от всякого идеализма и погружение в прозу и грязь жизни, как понимает ее толпа, но просветление идеею самых простых житейских отношений, очеловечение естественных стремлений. Для человека нашего времени не может не существовать прелесть изящных форм в женщине, ни обаятельная сила эстетически-страстного наслаждения. И, несмотря на то, это будет не одна чувственность, не одна страсть, но вместе с тем и глубокое целомудренное чувство, привязанность нравственная, связь духовная, любовь души к душе. Это будет растение, которого прекрасный и роскошный цвет проливает в воздухе аромат, а корень кроется во влажной и мрачной почве земли. Восточная любовь основана на различии полов: основание это истинно и недостаток восточной любви заключается не в том, что она начинается чувственностью, но в том, что она также и оканчивается чувственностью. Мужчине можно влюбиться только в женщину, а женщине — только в мужчину; следовательно, половое различие есть корень всякой любви, первый момент этого чувства. Грек обожал в женщине красоту, как только красоту, придавая ей в вечные спутницы грацию. Основа такого воззрения на женщину истинна и в наше время, и надо иметь дубовую натуру и заскорузлое чувство, чтоб смотреть на красоту, не пленяясь и не трюгаясь ею; но одной красоты в женщине мало для романтизма нашего времени. Романтизм средних веков пошел далее древних в понятии о красоте: он отказался от обожания красоты, как только красоты, и хотел видеть в ней душевное выражение. Но это выражение понимал он до того неопределенно и туманно, что древняя пластическая красота относилась к идеалу его красоты, как прекрасная действительность к прекрасной мечте. Понятие нашего времени о красоте выше созерцания древнего и созерцания средних веков: оно не удовлетворяется красотою, которая только что красота и больше ничего, как эти прекрасные, но холодные мраморные статуи греческие и бесцветными глазами; но оно также далеко и от бесплотного идеала средних веков. Оно хочет видеть в красоте одно из условий, возвышающих достоинство женщины, и вместе с тем ищет в лице женщины определенного выражения определенного характера, определенной идеи, отблеска определенной стороны духа. В наше время умный человек, уже вышедший из пелен фантазии, не станет искать себе в женщине идеала всех совершенств, — не станет потому, во-первых, что не может видеть в самом себе идеала всех совершенств, и не захочет запросить больше, нежели сколько сам в состоянии дать, а во-вторых, потому, что не может, как умный человек, верить возможности осуществленного

идеала всех совершенств, ибо он — опять-таки, как умный, а не фантазирующий человек, — знает, что всякая личность есть ограничение «всего» и исключение «многого», какими бы достоинствами она ни обладала, и что самые эти достоинства необходимо предполагают недостатки. Найти одну или, пожалуй, несколько нравственных сторон и уметь их понять и оценить — вот идеал разумной (а не фантастической) любви нашего времени. Красота возвышает нравственные достоинства, но без них красота в наше время существует только для глаз, а не для сердца и души. В чем же должны заключаться нравственные качества женщины нашего времени? — В страстной натуре и возвышенно-простом уме. Страстная натура состоит в живой симпатии ко всему, что составляет нравственное существование человека; возвышенно-простой ум состоит в простом понимании даже высоких предметов, в такте действительности, в смелости не бояться истины, не набеленной и не нарумяненной фантазией. В чем состоит блаженство любви по понятию нашего времени? — В наше время о полном и безусловном счастье в любви могут мечтать только или отроки, или духовно-малолетние натуры. Это, во-первых, потому, что мир романтизма не может вполне удовлетворить порядочного человека, а во-вторых, потому, что наше время как-то вообще неудобно для всякого счастья, а тем менее для полного. Возможное счастье любви в наше время зависит от способности дорожить одаренным благородною душою существом, которое, при сердечной симпатии к вам, столько же может понимать вас так, как вы есть (ни лучше, ни хуже), сколько и вы можете понимать его, и понимать в том, что составляет принадлежность нравственного существования человека. Видеть и уважать в женщине человека — не только необходимое, но и главное условие возможности любви для порядочного человека нашего времени. Наша любовь проще, естественнее, но и духовнее, нравственнее любви всех предшествовавших эпох в развитии человечества. Мы не преклоним колен перед женщиною за то только, что она прекрасна собою, как это делали греки, но мы и не бросим ее, как наскучившую нам игрушку, лишь только чувство наше насытилось обладанием. Это не значит, чтоб наше сердце не могло иногда охладевать без причины: но для нас нет большего несчастья, как, взяв на себя нравственную ответственность в счастье женщины, растерзать ее сердце, хотя бы и невольно... Мы ни с кем не станем драться, чтоб заставить кого-нибудь признать любимую нами женщину за чудо красоты и добродетели, как это делали рыцари; но мы уважим ее действительные права, и, не делая

ее своею царицею, не захотим видеть в ней не только свою рабу, но и низшее (почему-то) нас существо... Мы не увидим в ней, как в средние века, какого-то бесплотного существа высшей природы, но вполне признаем ее человеком... Мать наших детей, она не унижится, но возвысится в глазах наших, как существо, свято выполнившее свое святое назначение, и наше понятие о ее нравственной чистоте и непорочности не имеет ничего общего с тем грязно-чувственным понятием, какое придавал этому предмету экзальтированный романтизм средних веков: для нас нравственная чистота и невинность женщины — в ее сердце, полноте любви, в ее душе, полной возвышенных мыслей... Идеал нашего времени — не дева идеальная и неземная, гордая своею невинностью, как скупец своими сокровищами, от которых ни ему, ни другим не лучше жить на свете: нет, идеал нашего времени — женщина, живущая не в мире мечтаний, а в действительности осуществляющая жизнь своего сердца, — не такая женщина, которая чувствует одно, а делает другое. В наше время любовь есть идеальность и духовность чувственного стремления, которое только ею и может быть законно, нравственно и чисто; без нее же оно и в самом браке есть унижение человеческого достоинства, греховный позор и растление женщины...

Мы выше заметили, что романтизм не есть достояние и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: он — вечная сторона натуры и духа человеческого; он не умер после средних веков, а только преобразился. Итак, наш новейший романтизм не думает отрицать любви, как естественного стремления сердца, но только требует, чтоб это стремление не было подземною, темною, адскою силою, вовлекающего человека, как пасть гремучей змеи, в бездну гибели. Не отнимая у чувства свободы, наш романтизм требует, чтоб и чувство, в свою очередь, не отнимало у человека свободы, а свобода есть разумность. Где же разумность — в болезненном чувстве, приковавшем одного человека к другому, когда этот другой свободен? В таком случае, бег с нею — с любовью! — Широка жизнь, и много дорог на ее бесконечном пространстве, и любую из них может выбрать себе свободная деятельность мужчины. Грустно видеть человека, который потерял все, что любил, и которого сердце эту потерю навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудит такого человека: его скорбь имеет имя, она действительно, — он оплакивает то, что звал своим, чем был счастлив. Но сделаться жертвою призрака, мечты, прихоти больного воображения, каприза неразумного сердца, сосредоточить все свои желания на женщине, которая о нас не

думает, посвятить всю жизнь свою на то, чтобы украдкою изредка смотреть на нее в почтительном расстоянии; какая унизительная, какая презренная роль! В одной сказке сумасбродного романтика Гофмана человек влюбляется в автомата и гибнет жертвою этой любви: не похож ли на него рыцарь Тогенбург?.. В средние века понимали любовь как какое-нибудь неизбежное, роковое предназначение. Романтизм нашей эпохи понимает дело проще, без всякого мистицизма. Он не думает, чтоб для мужчины существовала только одна женщина в мире, а для женщины — только один мужчина в мире... Выбор предмета любви основан на капризе сердца; любовь зависит от сближения, а сближение — от случайности. Не удалось здесь — удастся там; не сошлись с одною, сойдется с другою. Это опять не значит, чтоб можно было полюбить или не полюбить по воле своей; это значит только то, что если каждый может любить только известный идеал, то никогда никакой идеал не является в мире в одном экземпляре, но существует в большем или меньшем числе видоизменений и оттенков. Наш романтизм хлопочет не о том, однажды или дважды должно и можно любить в жизни, но о том, чтоб не разбить другого, предавшегося вам сердца и не быть причиною несчастья его жизни. Вы любили только раз в жизни и были до гроба верны одной только привязанности: прекрасно! Но не делайте из этого общего для всех правила! Один так, другой иначе, тот — один раз в жизни, а этот — десять раз: оба равно правы, лишь бы только на совести которого-нибудь из них не легло ничье несчастье. Нет преступления любить несколько раз в жизни и нет заслуги любить только один раз: упрекать себя за первое и хвастаться вторым — равно нелепо...

Статья пятая

Душе Пушкина присуща была прежде всего та поэзия, которая не в книгах, а в природе, в жизни, — присущно художество, печать которого лежит на «полном творении славы». Разум — это дух жизни, душа ее: поэзия — это улыбка жизни, ее светлый взгляд, играющий всеми переливами быстро-сменяющихся ощущений. Бывают женщины, одаренные от природы редкою красотою, но которых строго правильные черты лица поражают какою-то сухостью, а движения лишены грации: такие женщины могут быть по-своему ослепительно-блестящи и возбуждать удивление; но их появление не заставит ни чье сердце забиться от неведомого волнения, их красота не родит любви, а красота, не сопровождаемая харитою любви, лишена жизни, лишена поэзии.

Так точно и природа, и жизнь возбуждали бы только холодное удивление, если б они не были насквозь проникнуты поэзией; не любовью — небесным огнем жизни, а холодной сыростью могилы веяло бы от них. Пусть светила небесные образуют собою стройные миры: не тем только возвышают они душу озерцающего их человека, но поэзией своего таинственного мерцания, но дивною красотою живой игры своих бледно-огнистых лучей: в их стройном ходе Пифагор видел не одну математику в факте, но и слышал гармонию миров... Если б солнце только грело и светило, оно было бы не более, как огромный фонарь, огромная печка; но оно проливает на землю яркий, весело-дрожащий, радостно-играющий луч — и земля встречает этот луч улыбкою, а в этой улыбке — невыразимое очарование, неуловимая поэзия... Природа полна не одних органических сил — она полна и поэзии, которая наиболее свидетельствует о ее жизни: в ее вечном движении, в колыбании ее лесов, в трепете серебристого листа, на котором любовно играет луч солнца, в ропоте ручья, в веянии ветра, волнующего золотистую жатву, разлит для человека таинственный блеск и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокие, как звуки эоловой арфы, то веселые и радостные, как песнь взвывающегося под небеса жаворонка... Человек еще более исполнен поэзии. Отчего вам так хочется расцеловать этого ребенка, шумно играющего на лугу, отчего так пленяют вас и его блестящие чистою радостью глаза, его дышущая блаженством улыбка, живость и резвость его движений? — Что общего между вами, измученным жизнью, опытом и житейскими заботами, вами, человеком пожилым и мудрым, и между им, ничего не понимающим, почти бессознательным существом? Зачем же, торопливо бежа по важному делу, с озабоченным видом, вы вдруг остановились на лугу, забыв ваши важные дела, и с улыбкою умиления смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснилось, забота на миг слетела с него, и улыбка счастья на мгновение осветила ваше угрюмое лицо, как луч солнца, проникнувший сквозь щель в мрачное подземелье и трепетно заигравший на его сыром полу?.. От того, что вид этого дитяти пахнул на вас поэзией жизни...

Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность. К этому прибавим мы, что если всякое человеческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человеческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, как чувство и зящное. Мы здесь разумеем не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда в высшей

степени прекрасна; нет, каждое чувство, лежащее в основании каждого его стихотворения, изящно, грациозно и виртуозно само по себе: это не просто чувство человека, но чувство человека-художника, человека-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но показывает ее в ее естественной, истинной красоте; в поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля. Поэтому поэзия Пушкина не опасна юношеству, как поэтическая ложь, разгорающая воображение, — ложь, которая ставит человека в враждебные отношения с действительностью, при первом столкновении с нею, и заставляет безвременно и бесплодно истощать свои силы на гибельную с нею борьбу. И при всем этом, кроме высокого художественного достоинства формы, такое артистическое изящество человеческого чувства!

Статья девятая

У нас «прекрасный пол» существует только в романах, повестях, драмах и элегиях; но в действительности он разделяется на четыре разряда: на девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто поделом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женщин, которые уже замужем. Русская девушка — не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она не что другое, как невеста. Еще ребенком она называет своими женихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто обещается выйти замуж за своего папашу или за своего братца; еще в колыбели ей говорили и мать, и отец, и сестры, и братья, и мамы, и няньки, и весь окружающий ее люд, что она — невеста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться и тому подобных недостатках, говорит ей: «не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уже невеста!» Удивительно ли после этого, что она не умеет, не может смотреть сама на себя, как на женственное существо, как на человека, и видит в себе только не-

весту? Удивительно ли, что, с ранних лет до поздней молодости, иногда даже до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной *idée fixe* — на замужестве, что выйти замуж — ее единственное страстное желание, цель и смысл ее существования, что вне этого она ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает, и что на всякого неженатого мужчину она смотрит опять не как на человека, а только как на жениха? И виновата ли она в этом? — С восемнадцати лет она начинает уже чувствовать, что она — не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадет с цены и не сойдет с рук. Что же остается ей делать, если не сосредоточить всех своих способностей на искусстве ловить женихов? И тем более, что только в одном этом отношении и развиваются ее способности, благодаря урокам «дражайших родителей», милых тетушек, кузин и т. д. За что больше всего упрекает и бранит свою дочь попечительная маменька? — За то, что она не умеет ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошим женихам, или за то, что расточает свою любезность перед людьми, которые не могут быть для нее выгодною партией. Чему она больше всего учит ее? — кокетничать по расчету, притворяться ангелом, прятать под мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти. И, какова бы ни была по своей натуре бедная дочь — она невольно входит в роль, которую ей дала жизнь и в тайнство которой ее так прилежно, так основательно посвящают. Дома ходит она неряхой, с непричесанною головою, в запачканном, узеньком и коротком платьишке линючего ситца, в стоптанных башмаках, в грязных, спустившихся чулках: в деревне ведь кто же нас видит, кроме двора, а для нее стоит ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завиделся экипаж, обещающий неожиданных гостей, — наша невеста подымает руки и долго держит их над головою, крича впопыхах: гости едут, гости едут! От этого руки из красных делаются белыми: затея сельской остроты! Затем весь дом в смятении: маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное белье надевают шерстяные или шелковые платья, пять лет назад тому спитые. О чистоте белья заботиться смешно: ведь белье под платьем и его никто не видит, а рядиться — известное дело — надо для других, а не для себя. Но вот, рано или поздно, наконец тайные стремления и жаркие обеты готовы свершиться: кандидат — невеста уже действительная невеста и рядится только для же-

ниха. Она давно его знала, но влюбилась в него только с той минуты, как поняла, что он имеет на нее виды. И ей кажется, что она действительно влюблена в него. Болезненное стремление к замужеству и радость достижения способны в одну минуту возбудить любовь в сердце, которое так давно уже раздражено тайными и явными мечтами о браке. Притом же, когда дело к спеху и торопят, то поневоле влюбиться сразу, не имея времени спросить себя, точно ли вы любите или вам только кажется, что любите... Но «дражайшие родители» учили свою дочь только искусству во что бы то ни стало выйти замуж; подготовить же её к состоянию замужества, объяснить ей обязанность жены, матери, сделать ее способною к выполнению этой обязанности, — они не подумали. И хорошо сделали: нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, если они не подкрепляются примерами, не оправдываются в глазах ученика, всею совокупностью окружающей его действительности. «Я вам пример, сударыня!» — беспрестанно повторяет диктаторским тоном мать своей дочери. И дочь преспокойно копирует свою мать, готовя в своей особе свету и будущему мужу второй экземпляр своей маменьки. Если ее муж — человек богатый, он будет доволен своею женою: дом у них как полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелепо, грязно, пыльно, в беспорядке, вычищается только перед большими праздниками (и тогда в доме подымается возня, делается вавилонское столпотворение в лицах); дворня огромная, слуг бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вам чашку чаю... А недавняя невеста, теперь молодая дама? — О, она живет в «полном удовольствии»!, она, наконец, достигла цели своей жизни — она уже не сирота, не приемыш, не лишнее бремя в родительском доме; она хозяйка у себя дома, сама себе госпожа, пользуется полною свободою: — едет куда и когда хочет, принимает у себя кого ей угодно; ей уже не нужно более притворяться то невинною овечкою, то кротким ангелом; она может капризничать, падать в обмороки, повелевать, мучить мужа, детей, слуг. У ней бездна затей: карета — не карета, шаль — не шаль, дорогих игрушек вдоволь; она живет барыней-аристократкой, никому не уступает, но всех превосходит, и муж ее едва успевает закладывать и перезакладывать имение... Дитя нового поколения, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-как наблюдает в них даже какую-то получистоту, полуопрятность: ведь это комнаты для гостей, комнаты парадные, комнаты на показ; полное торжество грязи может быть только в спальней, в детской, в кабинете мужа, — словом, во внутренних комна-

тах, куда гости не ходят. А у ней беспрестанно гости, возле нее беспрестанно кружок; но она пленяет гостей своих не светским умом, не грацией своих манер, не очарованием своего увлекательного разговора, — нет, она только старается показать им, что у нее всего много, что она богата, что у ней все лучшее — и убранство комнат, и угощение, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что таких, как она, немного... Содержание разговоров составляют сплетни и наряды, наряды и сплетни. Бог благословил ее замужество — что ни год, то ребенок. Как же она будет воспитывать детей своих? — Да точно так же, как сама была воспитана своею маменькою: пока малы — они прозябают в детской, среди мамок и нянек, среди горничных, на лоне холопства, которое должно внушить им первые правила нравственности, развить в них благородные инстинкты, объяснить им различие домового от лешего, ведьмы от русалки, растолковать разные приметы, рассказать всевозможные истории о мертвецах и оборотнях, выучить их браниться и драться, лгать не краснея, приучить беспрестанно есть, никогда не наедаясь. И милые дети очень довольны сферою, в которой живут: у них есть фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живут дружно с первыми, ругают и колотят последних. Но вот они подросли: тогда отец делай что хочешь с мальчиками, а девочек поучат прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски — и воспитание кончено; тогда им одна наука, одна забота — ловить женихов.

Но если наша невеста выйдет за человека небогатого, хотя и не бедного, но живущего немного выше своего состояния, посредством умения строгим порядком сводить концы с концами: тогда горе ее мужу! Она в своей деревне никогда ничего не делала (потому что барышня ведь не холопка какая-нибудь, чтоб стала что-нибудь делать), ничем не занималась, не знает хозяйства, а что такое порядок, чистота, опрятность в доме, — этого она нигде не видала, об этом она ни от кого не слыхала. Для нее выйти замуж — значит сделаться барынею; стать хозяйкою — значит повелевать всеми в доме и быть полною госпожею своих поступков. Ее дело — не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всем этом? Какое имеете вы право требовать от нее, чтобы она была не тем, чем сами же вы ее сделали? Можете ли вы обвинять даже ее родителей? Разве не вы сами сделали из женщины только невесту, и жену, и ничего более? Разве когда-нибудь подхо-

дили вы к ней бескорыстно, просто без всяких видов, для того только, чтоб насладиться этим ароматом, этою гармониею женственного существа, этим поэтическим очарованием присутствия и сообщества женщины, которые так кротко, успокоительно и обаятельно действуют на жестокую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь иметь друга в женщине, в которую вы совсем не влюблены, сестру в женщине вам посторонней? — Нет! если вы входите в женский круг, то не иначе, как для выполнения обычая приличия, обряда; если танцуете с женщиною, то потому только, что мужчинам танцевать с мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое внимание, то всегда с положительными видами — ради женитьбы или волокитства. Ваш взгляд на женщину чисто утилитарный, почти коммерческий: она для вас — капитал с процентами, деревня, дом с доходом; если не это, так кухарка, прачка, ключница нянька, много, много, если юдалиска...

Конечно, из всего этого бывают исключения; но общество состоит из общих правил, а не из исключений, которые всего чаще бывают болезненными наростами на теле общества...

Но среди этого мира нравственно-увечных явлений изредка удаются истинно-колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры гениальные, не подозревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются бессознательным обществом, как очистительная жертва за его собственные грехи... Такова Татьяна Пушкина...

Повторяем: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины — ровное, светлое пламя; в противном случае — упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этою наружною холодною, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна. Но это

только главные и, так сказать, общие черты ее личности: взглянем на форму, в которую вылилась эта личность, посмотрим на те особенности, которые составляют ее характер.

Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скраться, никуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чём опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми, и вот почему у нас только гениальность спасает человека от пошлости. По этому же самому у нас так мало истинных и так много книжных, вычитанных чувств, страстей и стремлений; словом, так мало истины и жизни в чувствах, страстях и стремлениях и так много фразерства во всем этом. Повсюду распространяющееся чтение приносит нам величайшую пользу: в нем наше спасение и участь нашей будущности, но в нем же, с другой стороны, и много вреда, так же как и много пользы для настоящего...



ВЕКФИЛЬДСКИЙ СВЯЩЕННИК

Роман, сочиненный Оливьером Гольдсмитом. Перевел
с английского Алексей Огинский. СПб. 1847²⁹

— Отец Гольдсмита, в числе многих даров природы, получил странную, баснословную ныне способность — презирать вполне земные блага. Изучив многие предметы, преимущественно фантастические, он не имел ни малейшего понятия о предметах действительных, о делах сего, т. е. грешного мира. Смотря все вверх, он никогда не смотрел себе под ноги; удивительная беспечность, крайняя непредусмотрительность равнялись простоте его нрава. Можно было извинить первые по той же самой причине, по которой можно было не уважать последнюю, именно потому, что его достоинства и недостатки были врожденные: разум и воля умывали здесь свои руки. Он не приобрел одних и не старался уничтожить другие, как честный воин. Он шел, руководимый слепым инстинктом, без труда и, следовательно, без заслуги. Герой пассивной добродетели, если только могут быть пассивные герои, он всю жизнь сохранил веру в добро, переходящую в суеверие. Бессознательный оптимизм управлял его чувствами и мыслями, но этот оптимизм не вырос на почве мышления, а дался ему от природы, не стоил ему ни гроша. Я знаю, как бы назвали теперь подобного философа, презирающего земные блага, но не знаю наверное, как называли его люди тогдашнего века. Впрочем, современники Гольдсмита отца отзывались о нем очень положительно: «Гольдсмита — странные люди. У них все по-своему: они глотают первый кусок, никогда не заботясь о следующем». Причина такой беззаботности объяснена также благоразумно. «Это происходит от того, говорили, что сердце у них устроено хорошо, но голова не на своем месте». А вот любопытный отзыв о нем самого сына, автора «Векфильдского священника»: «Отец мой считал деньги презренным прахом. Он приучил нас сочувствовать бедствиям ближних как истинным, так и ложным, но не дал средств сопротивляться бедствию. Мы были чрезвычайно искусны в искреннем жела-

нии давать другим миллионы и не имели способности зарабатывать копейку».

Такое воспитание, отрывая человека от действительных интересов жизни, уносит его в холодную даль фантастического мирозерцания. Оно убивает энергию действия, чтобы дать раздолье теплым ощущениям, которыми ничего не сделаешь для пользы общества, а разве только будешь забавляться ими для собственной приятности и развлечения. Оно, наконец, не спасает и самого воспитанника при встрече его с действительной жизнью, когда нужна борьба с врагом, а не спокойное созерцание враждебных предметов, когда необходима сила, а не умилительные чувства. Гольдсмит испытывал всю жизнь неловкое положение от батюшкина оптимизма: непредусмотрительность и слепое доверие к той истине, что все идет к лучшему, давали ему порядочные щелчки. Но так как он от той же предусмотрительной природы, в руках которой яд и противоядие, получил огромную долю терпения, этой знаменитой добродетели ослов, и равнодушия, этого стоического достоинства хладнокровных животных, то удары судьбы отражались от его души подобно тому, как стрелы отражаются от толстой шкуры бегемота. Несмотря на уроки действительных неприятностей. Гольдсмит стремился больше к мечтам, нежели к существенности. Он кормил себя баснями и думал, что тот же корм пригоден всем птицам без разбора. Он не жаловался на удары судьбы или общества и вообразил, что лучшее, единственное средство быть счастливым — не жаловаться на несчастье. Умирая, отец оставил ему вместо всякого движимого и недвижимого имущества свое родительское благословение, — наследство прекрасное, единственно нужное тем, кто презирает земные блага.



ПИСЬМО Н. В. ГОГОЛЮ

3 июля 1847 г.³⁰

Вы только отчасти правы, увидев в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе неправы, приписавши это вашим, действительно, не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства: нельзя молчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедают ложь и безнравственность, как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страной, может любить ее надежду, честь, славу одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа, и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши и не литературные — Чичиковы, Ноздревы, городничие... и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы сами видите, что от вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда она должна была бы произвести на публику то же впечатление. И если ее приняли все (за исключением немно-

гих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур нецеремонную проделку для достижения небесным путем чисто земной цели, — в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что в этом прекрасном далеке вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торсуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики с своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута треххвостною плетью.

Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными

творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами. И это ли не должно привести меня в негодование?.. Да, если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки... И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет. Если бы вы действительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволовым учением, — совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать ему свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться трудами крестьян, как можно льготнее для них, сознавая себя в глубине своей совести в ложном в отношении к ним положении.

А выражение: «Ах, ты, неумытое рыло!» Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или вы больны — и вам надо спешить лечиться, или... не смею досказать моей мысли!..

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги — ведь вы стоите над бездною!.. Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма, но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть,

любопытницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа плотью от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи восточные и западные! Неужели вы этого не знаете? ведь теперь это не новость для всякого гимназиста... А потому неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели вы искренне от души пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочку и попова работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе кое-где. Он говорит об образе: годится — молиться, а не годится — горшки покрывать.

Приглядитесь попристальнее и вы убедитесь, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается и с ними; живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными, и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то может быть огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не прививалась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся тихой холодной аскетической созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинять в религиозной нетерпимости и фанатизме, но скорее можно похвалить за образцовый

индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по направлению. Что касается до меня лично, представляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас), только продолжайте благоразумно созерцать его из вашего прекрасного далека: вблизи-то оно не так прекрасно и не так безопасно... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим беззакония сильных земли. У нас же наоборот: постигает человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем *religiosa mania*, он тотчас же земному богу подкупит, более, нежели небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но ~~положительно вредна~~. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, предавши ее бумаге, вы не знали, что говорили... Но, может быть, вы скажете: «Положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь, но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в вашей книге более ума и даже таланта (хотя и того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; но зато они развили общее им с нами учение с большей энергией и большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали своему византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы, желая поставить по свечке и тому, и другому, впали в противоречие, ютсаввали, например, Пушкина, литературу и театры, которые с вашей точки зрения, если бы вы только имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить

к ее гибели... Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения — ясно, что книга писана не день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность; а гимн властям предержавшим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде в Петербурге сделалось известным письмо ваше к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете неудовольствие своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда ими будет доволен тот, который и т. д. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя и еще более как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмили мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих талантов, отдающих себя искренно или неискренно в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданических стихотворения и надеть камерюнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви! И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать

о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» вы менее резко, с меньшею истиной и талантом и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от того не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадитесь вместе со мною, порадитесь падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольствия скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет отпечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, — мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она памятей теперь всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины.

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастливая. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом или гордости или слабоумия, — и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко,

потому что, если человек, бьющий своего ближнего по щекам возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет, вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненной боязнью смерти, чорта и ада веет от вашей книги!

И что за язык, что за фразы? — «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек», — неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий — значит выражаться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант. Не будь на вашей книге выставлено вашего имени, и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе, как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение автора «Ревизора» и «Мертвых душ».

Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя мою статью выражением досады за ваш отзыв обо мне, как об одном из ваших критиков. Если бы только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно, беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне не хорош. Я понимаю необходимость щелкнуть иногда глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным, но и эта необходимость тяжела потому, что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей, если не с отличным умом, то все же не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, быть может, гораздо больше восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их главою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то превратный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развив вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех более) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих». Все это нехорошо. А что вы ожидали только времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал; не мог,

да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мной была ваша книга, а не ваши намерения: я читал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко оскорбило и возмутило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние «Шпекины» распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и Некрасов переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж, через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполнину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я заблуждался в моих о вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут дело идет об истине, о русском обществе, о России.

И вот мое последнее заключительное слово: если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние.

Зальцбрунн. 15 июля 1847 г.



**О СОДЕРЖАНИИ,
МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ
И УЧЕБНЫХ КНИГАХ**



ГРАММАТИКА ЯЗЫКА РУССКОГО

Часть I. Познание слов

Сочинение Калайдовича (Ивана Федоровича). Москва 1834 ³¹

— Слышали вы новость; говорят, Грамматика Калайдовича ³² поступила в печать и скоро выйдет в свет? — В самом деле? — Право! — Знаете ли вы новость: ведь Грамматика Калайдовича уже вышла! — Нет? — Я сейчас видел ее своими глазами. — Ну что же, какова? — Да еще не знаю, я только мельком заглянул кой-куда. — Надобно думать, что очень хороша; от Калайдовича больше чем от кого-нибудь другого можно ожидать дельной Грамматики; кому неизвестны его глубокие и обширные познания по этой части? — Да, правда ваша, надо поскорее прочесть: ведь это любопытно.

Вот что или почти вот что еще недавно слышно было в Москве со всех сторон. Судя по таким возгласам, можно подумать, что в нашей ученой литературе последовало событие, долженствующее отметить собою новую эру оной. В добрый час молвить, в худой помолчать — дай Бог не разочароваться...

Признаюсь: не без трепета приступаю к разбору Грамматики г. Калайдовича. Она еще до своего появления и даже, может быть, до своего рождения успела приобрести себе такую громкую славу; общий голос ставит ее автора в числе литераторов-ученых, опытных и коротко знающих свое дело; я же не больше, как безвестный юноша, еще ничем не приобревший права голоса на литературном сейме, еще не сочинивший ни одной афиши, не издавший ни одной программы, не объявивший ни одной подписки и даже не обещававший ни одну строчку никакого творения: очевидное неравенство! Прибавьте к сему, что у нас еще и по сию пору так сильно влияние авторитетов, еще так могущественно очарование имен; что у нас еще весьма немногие осмеливаются произнести свое суждение о стихотворении, журнальной статье или книге, не посмотревши сперва на подпись или

не справившись в «Северной Пчеле»³³ — этом литературном аукционе, — каково сходит с рук то или другое сочинение, т. е. сколько экземпляров оного разошлось в продолжение того или другого времени; сообразите все это — и вы признаетесь, что тут хоть у кого так опустятся руки. Но как бы то ни было, а я решаюсь на этот отчаянный подвиг, и, прикрываясь мудрым правилом наших предков — страшен сон, да милостив Бог, — приступаю к делу.

Учебные книги бывают двух родов. Одни из них пишутся для первоначального обучения; главное их достоинство должно состоять в простом и ясном изложении предмета и искусном принаровлении оного к детским понятиям. Другие же пишутся для людей взрослых, мыслящих и, кроме ясности в изложении, требуют нового взгляда или на целый предмет, или хотя на некоторые части оного, или, по крайней мере, представления оного в его современном состоянии.

К которому из сих двух родов относится Грамматика г. Калайдовича?

По запутанности и сбивчивости ее изложения, по отсутствию новых взглядов, худо прикрытому мелочными нововведениями в терминологии, ни к одному; по своей незначительности и неважности — к первому, по претензиям же автора — ко второму.

Теперь у нас четыре знаменитые Грамматики: Ломоносова, Российской Академии, г. Греча³⁴ и г. Востокова³⁵. Их достоинство, исключая, может быть, второй, находится в прямом содержании ко времени их появления. Без всякого сомнения, пятая Грамматика, чтобы заслужить внимание, должна быть лучше всех сих четырех, ибо автор оной, кроме своих собственных открытий, может воспользоваться открытиями своих предшественников, и смело взять у каждого из них все лучшее. Так ли поступил г. Калайдович? Посмотрим. Сначала я брошу общий взгляд на его сочинение, потом буду преследовать его шаг за шагом, сколько будет то возможно.

Всем и каждому известно, что способ изложения всякой науки бывает аналитический и синтетический и что, вследствие сего, всякая наука разделяется на общую и частную, на теорию и приложение. Грамматик (наук) может быть столько, сколько языков и наречий на земном шаре; но есть одна общая им всем Грамматика, есть Грамматика слова человеческого, Грамматика Всеобщая или Философская. Грамматики языков суть Грамматики частные, относящиеся к ней, как виды к роду, и поверяющиеся ею. Г. Калайдович как будто даже и не слышал об этом. Он не говорит ничего о проис-

хождении человеческого слова, о его назначении, его разделении на языки, о сходстве и различии языков, о причинах такого сходства и различия и пр. и пр. Части речи не выводятся у него из законов слова человеческого или из законов русского языка; нет: они у него как будто с неба упадают, и притом в таком ужасном количестве, что страшно и подумать. Бедные ученики! трепещу за вас! Этого мало: он даже не почел за нужное определить каждую часть речи, показать необходимость и назначение ее существования...

Грамматике г. Калайдовича, как водится, предшествует азбука. Это отделение у него также недостаточно, сбивчиво и странно, как и все прочие.

«Звуки русского языка разделяются на тоны и полутоны, дыхания и полудыхания». Эти тоны и полутоны г. Калайдовича не больше, не меньше, как гласные и полугласные г. Греча; дыхания же и полудыхания, вероятно, принадлежат к разряду бытословов и отглаголий. В рассуждении первых замечательно только то, что г. Калайдович опровергал некогда (помнится, в «Московском Вестнике») полугласные г. Греча математическою аксиомою, что две половины составляют одно целое и что, следовательно, ъ и ъ, ъ и ъ, или й и й должны бы составить одну гласную букву, если бы определение г. Греча было справедливо. Теперь спрашивается: неужели г. Калайдович думал, что его полутоны, дважды взятые, не могут также составлять гласной буквы? Одним словом, он гораздо бы лучше поступил, если бы выписал целиком о б у к в а х из Грамматики г. Греча, в которой этот предмет обработан вообще очень хорошо и требует весьма немногих и неважных изменений. Почему не пользоваться трудами своих предшественников? Ведь в этом-то и заключается условие успехов каждого знания. Один человек не может всего сделать.

Словопроизведение автор разделяет на три главы: Различие Слов, Изменение Слов, Произвождение Слов. Вследствие сего, склонения Имен и Прилагательных и спряжение глаголов являются у него в одной главе. Вот, можно сказать, единственная новость автора, заслуживающая, по крайней мере, опровержения и наиболее обнаруживающая его претензии на самостоятельность. Но правильно ли такое изложение Этимологии? Словопроизвождение и теория частей речи должны заключаться во введении, как предметы, подлежащие Всеобщей Грамматике, должны составлять аналитическую часть Грамматики. Притом же, изложение каждой части речи особенно гораздо удобнее для учащихся;

система же г. Калайдовича не только не облегчает изучение, но еще более затрудняет его.

Перехожу к глаголу.

Вот самая запутаннейшая часть Русской Грамматики. Благодаря нашим досужим грамотеям, спряжения наших глаголов походят доселе на темный лес, непроходимую чашу, где беспрестанно натыкаешься на пни и колоды. И неужели это оттого, что нет никакой возможности привести наши спряжения в ясную систему, основанную на духе языка? Совсем нет; напротив, ничего не может быть проще, яснее и удовлетворительнее теории русских глаголов; вся беда от странного упрямства и неуместного чванства гг. грамматистов. Ибо, во-первых, они хотят сочинять, выдумывать законы языка, а не открывать их, не выводить из духа оною; во-вторых, они не хотят пользоваться трудами своих предшественников, как будто бы почитая это унижением для своего авторского достоинства. Удивительно ли после этого, что у нас по сю пору нет Грамматики, которую бы можно было принять за руководство при обучении детей? Для людей, занимающихся преподаванием отечественного языка, всего более ощутителен недостаток в подобных руководствах. Если они сами не имеют столько ума и силы, чтоб быть в состоянии выбиться из старой колеи, пробитой жалкою посредственностью, то должны прибегать к известным грамматикам, несмотря на то, что одни из них слишком обширны, другие слишком кратки, третьи слишком мудрены, четвертые слишком нехитры: вот причина необыкновенного успеха грамматики велемудрого Меморского³⁶ (вечная ему память); она кратка, она искони веков слывет классической книгою и, сверх того, снабжена вопросами, следовательно, избавляет горемыку-педагога от излишних хлопот. Если же преподаватель принадлежит к числу людей мыслящих и понимает важность и святость своей обязанности, то должен составлять записки и по ним учить своих учеников; ибо, спрашиваю: как он может решительно предпочесть ту или другую из известных грамматик? Кто не согласится, что Грамматика г. Греча не без достоинств, что в ней есть много дельных замечаний, что ее автор умел иногда кстати пользоваться трудами и открытиями наших филологов? Но кто, вместе с этим, не согласится, что эта грамматика есть не иное что, как сбор, или лучше своз материалов, книга полезная для составителя грамматики, но отнюдь не то, что должно разуметь под наукою в высшем значении сего слова? И притом, сколько странностей, сколько клевет на бедный русский язык!.. Грамматика г. Востокова, без всякого сомнения, есть лучшая из всех, донныне изданных; она драго-

ценна по многим важным открытиям и тонким замечаниям касательно свойств и особенностей нашего языка; она обнаруживает в авторе человека, глубоко изучившего свой предмет, преследовавшего его с неутолимою ревностью в продолжение многих лет своей жизни, посвященной бескорыстному служению родному слову. Но он не обработал своего сочинения ученым образом, т. е. не озарил его философией человеческого слова, и потому его грамматика есть только богатый и драгоценный сборник материалов для составления Русской Грамматики. Равным образом она не может быть принята безусловно за руководство при обучении детей*. Удовлетворить ум ребенка еще может быть труднее, чем ум взрослого человека; ему мало сказать, сколько частей речи и как они называются: объясните ему, что такое эти части речи, для чего они и почему их столько, а не столько, — или обвиняйте самих себя в его тупоумии и непонятливости! Ему так же, как и взрослому, нужно сперва объяснить философию слова человеческого, и потом уже из ней вывести теорию слова отечественного: дело в том, чтобы уметь изложить эту философию понятным для него образом. Некоторые, оправдываясь слабостью детского рассудка, представляют науки, назначаемые для преподавания детям, в ложном и искаженном виде. Так поступил г. Греч в своей Учебной Книге Российской Словесности, этом сборнике пошлых и обветшалых правил, взятых из пресловутого Словаря Древняя и Новые Поэзии г. Остолюпова³⁷. Странные люди! да неужели ребенку, потому только, что он ребенок, должно говорить, что $2 \times 2 = 5$, а не 4?

Г. Греч выдумал три спряжения (г. Греч очень, очень любит тройственность!); и вот каким образом: глаголы первого спряжения оканчиваются у него на **ть** с предыдущими гласными **а**, **я**, **ѣ**., а в первом лице на **ю** с предыдущею гласною и разделяется на **ч е т ы р е** отдела; второе на **ть** с предыдущими гласными и или **о**, также с другими гласными, коим предшествует буква согласная губная шипящая или изменяемая, в настоящем времени на **ю** с предыдущею согласною, весьма редко гласною, или по свойству предыдущей шипящей согласной на **у**, и разделяется на **с е м ь** отделов (не правда ли,

* Грамматика всякого языка, без философических выводов и определений, может годиться только для взрослых и то в таком случае, когда имеет предметом привести в систему особенности языка и не обнаруживает претензий на новые взгляды в построении науки вообще. Грамматики же, назначаемые для обучения, не могут принести вполне ожидаемой пользы, когда не основаны на Всеобщей Грамматике, или, по крайней мере, когда ученики не ознакомлены предварительно с основаниями сей последней. В. Б.

что это удивительно как ясно и просто? бедные учителя! бедные ученики!); глаголы третьего спряжения оканчиваются на *нуть* и *ереть*, а в первом лице на *у* с предыдущею поднебесною буквою, и разделяется на два отдела. И так, говоря собственно, у г. Греча *тринадцать** спряжений. Уф!! Нужно ли доказывать чудовищность подобного разделения?

У г. Востокова два спряжения, кои различаются по второму лицу ед. ч. наст. вр. изъяв. наклонения. В рассуждении сего он ближе всех к истине. Как жаль, что он только в половину принял ее!

У г. Калайдовича четыре спряжения. (Кому покажете верить?) Так как он неопределенное наклонение называет не формою глагола, а неизменяемым именем, то и различает спряжения по первому лицу ед. ч. наст. врем. изъяв. наклонения. Не стану терять времени на опровержение его разделения, скажу просто, что оно также мило, как его бытослов и отглаголия.

Но, несмотря на все сие разногласие в системах русских глаголов, между ними есть одна истинная и непреложная. Она не сочинена, а открыта, не выдумана, а почерпнута из русского языка, и потому проста, ясна и вполне удовлетворительна. Читали ли вы статью г. проф. Болдырева³⁸ о системе Русских глаголов, помещенную в Труды Общества Российской Словесности? Присоедините к ней разделение спряжений по Мелентию Смотрицкому, и вот вам эта система! Уверяю вас, что ларчик просто открывался!

Отчего происходит главная путаница в спряжении наших глаголов? Во-первых, оттого, что у нас для иного глагола полагается три, для иного пять, а для иного семь и больше времен, и что относят к одному и тому же спряжению столь различные числом времен глаголы. Во-вторых, от сбивчивости в разделении спряжений. Следовательно, чтобы привести в порядок этот хаос, нужно дать для каждого спряжения определенное, равное число времен, и сделать такое разделение спряжений, которое бы не допускало исключений. Не так ли?

Что есть глагол? Слово, выражающее бытие, состояние, действие и страдание предмета, содержащееся во времени, так как имя выражает самый предмет, содержащийся в пространстве. Очевидно, что тот язык совершенней и богаче,

* Как не поверить теперь, что число *тринадцать* точно имеет несчастное значение? г. Греч придумал *тринадцать* спряжений и г. Калайдович — *тринадцать* частей речи. В. Б.

которого глаголы способнее к выражению всех оттенков действия, развивающегося во времени. Эти оттенки выражаются наклонениями и временами. В латинском языке четыре, а во французском пять наклонений, у нас только три. Но так как сослагательное того и другого и условное последнего у нас совершенно выражаются через прибавление к прошедшим временам частиц, то в сем случае наш язык ни чуть не беднее обоих упомянутых...

Заключаю: грамматика языка русского г. Калайдовича ровно ничего не прибавила к нашей ученой литературе, ни на шаг не подвинула вперед теории отечественного языка, и не только не может идти ни в какое сравнение с грамматикою г. Востокова, но даже гораздо ниже грамматики г. Греча, и весьма недалеко ушла от тех грамматик, которые мы считаем дюжинами.



ОСНОВАНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ ³⁹

Глава I. Общие понятия о грамматике

§ 1. Человек одарен способностью мыслить и выражать свои мысли посредством слова или языка, другими словами, человек мыслит и говорит.

§ 2. Способность мыслить называется разумом, и потому мышление есть действие или акт разума; произведение или плод этого действия разума называется суждением; способность выражать суждения ума, т. е. сообщать их другим посредством разных изменений голоса и сочетания звуков, или мыслить вслух, а не про себя, называется словом или языком. Следовательно,

§ 3. Мысль ютносится к слову, как душа к телу, а слово к мысли, как тело к душе, т. е. слово есть покров, одежда, форма, выражение мысли, а мысль есть смысл, разум, значение слова.

§ 4. Наука о мышлении называется Логикой; наука о слове или о языке называется Грамматикой. Итак,

§ 5. Грамматика есть наука о слове человеческом или систематическое изложение законов человеческого слова.

§ 10. Русская Грамматика есть наука о законах и свойствах русского слова или русского языка, т. е. она учит говорить, читать и писать по-русски сообразно с основными законами русского языка и общим употреблением или принятым обычаем.

§ 11. Язык состоит из множества отдельных слов. Когда мы произносим какое-нибудь слово, то соединяем с ним, в уме нашем, понятие о каком-нибудь предмете; так например, произнося слово огонь, мы представляем себе эту стихию, со всеми ее признаками, т. е. светом, жгучестью и горением, хотя бы в то время, как мы говорим, мы и не видели бы огня; когда мы говорим слово лошадь, то представляем себе умственно это животное, со всеми его признаками, т. е. ютличительною фигурой, гордою поступью,

быстротю бега, хотя бы и не видели перед собою лошади, когда о ней говорим. Из этого видно, что слова суть не что иное, как условные знаки понятий, выражаемых посредством различных сочетаний звуков голоса, потому что огонь мог бы называться лошадью, а лошадь огнем, и тогда мы, с словом лошадь, представляли бы себе светящуюся, жгучую и разрушающую стихию, а с словом огонь представляли бы себе красивое, сильное и быстрое четвероногое животное. Слова: ignis, le feu, das Feuer, огонь принадлежат к разным языкам и произносятся различно, но выражают одно и то же понятие, равно как и слова: equus, le cheval, das Pferd, лошадь, конь.



РУССКАЯ ГРАММАТИКА ДЛЯ РУССКИХ

Виктора Половцова (старшего). Шестое, исправленное издание.
СПБ, 1843⁴⁰

Грамматика г. Половцова, выходящая уже шестым изданием, отличается от всех прочих русских грамматик только своею методою, ныне, впрочем, принятою всеми опытными, знающими свое дело преподавателями. Переходить от анализа к синтезу, из примеров извлекать правила — самая полезная система в преподавании: об этом в наше время никто уже и спорить не будет. Но это более дело учителя в классах, нежели составителя систематического учебника. В этом смысле, труд г. Половцова можно почесть скорее вспомогательным средством при изучении грамматики, нежели полным систематическим курсом. Для кого он назначал свою книгу? Для преподающих или для учащихся? Для первых, в виде руководства в классах, нужен курс в полном, строгом систематическом порядке, курс, который до сих пор едва ли мы имеем. Для учеников? — Всякий согласится, что редкий ребенок успеет в какой-либо науке без помощи учителя. Паскаль, на двенадцатом году самоучкою постигший эвклидовы начала, для нас не пример. Но положим, что автор «Русской грамматики для Русских» хотел устроить изучение своей науки до того, что дитя, читая и перечитывая его книгу, может само собою достигнуть до полного сведения правил отечественного языка. Учащийся, положим, открывает первую страницу и читает: «Человек прежде всего думает, а потом говорит. И так сперва надобно искать мысли (?), находить их, схватывать и удерживать; далее сличать их между собою, упрощать, соединять, разделять, распространять и усиливать» и пр.

Мы, знакомые с теорией мышления, скажем, что это такое; но сошлемся на всех детей в свете: поймут ли они из этого хоть слово? Вы скажете: объяснит учитель. Так не лучше ли было бы написать такую книгу, в которой по примерам, не выходящим из круга детских понятий, помаленьку,

так сказать по пальцам, изъяснить, что такое значит мыслить, что такое сличать мысли между собою. Признаемся, мы сами не понимаем, что такое «искать мысли, схватывать, упрощать мысли»...

Как скоро дело дошло до науки, тут главное дело система, порядок, которого мы не находим в книге г. Половцова. Он беспрестанно переходит от логических начал к законам языка, от правил синтаксиса к правилам, как ставить знаки препинания; потом этимология; потом опять правила правописания... Но иногда, по своей методе, он переходит от примеров к правилам, а иногда, вопреки ей (стр. 3), от правил к примерам; кое-что извлечено из законов разума, что очень хорошо; а многое излагается так, без основания, как в большей части других грамматик.

Ограничимся некоторыми отдельными замечаниями. «Тщательный разбор нескольких басен (почему же только басен?) и постоянное наблюдение ученика за самим собою (!) лучше всех правил о знаках препинания. Только невежды оправдывают себя незнанием правил». Это уж очень наивно...

«Буква *ь* употребляется в словах: письмо, деньги, больше, меньше, весьма, тесьма и некоторых других». В каких же других? Тут надобно или найти общее правило, или уж написать все слова, в которых употребляется буква *ь*.

Автор не объясняет, почему мы иностранные слова пишем: Экватор, Этаж, и в то же время Европа, Ефес, офицер и пр. Разумеется, потому что первые два слова во французском языке пишутся через *e*, которое у нас выражается посредством *э*; между тем как Европа пишется *Eurore*, ефес *Jeſſſ*, а «офицер» — слово хоть иностранное, но искажившееся в нашем языке, что мы называем, обрусевшее.

Говоря о том, какие слова в предложении должно произносить с большим напряжением голоса, автор ставит правило: «Определения, и особенно приложения, произносятся большею частью легко». А вот, например, в этих предложениях: «Дорого яичко к христову дню». «Я вам докажу, что мой друг человек благородный; вы найдете в нем весьма сильного покровителя и он прекрасно обделает ваши дела, не слишком-то и справедливые?»

«Причастия имеют три рода или числа» (?). Верно автор хотел сказать три рода и два числа.

«Междометие есть частица речи, выражающая ощущения». Много ли поймут дети из этого определения?

«В словосочинении рассматривается состав, происхождение и образование предложений, а также значение и изложение сочинений (по крайней мере тех, которыми должно

заниматься в училищах)». Воля ваша, а значение и изложение сочинений относятся уже к теории прозы. Особенно, если возьмем в соображение, что в училищах воспитанники, по мере своих способностей, могут, а следовательно, и должны заниматься сочинениями, — довольно значительными по предмету и по содержанию.

Иные примеры (а их очень много в книге) выбраны не весьма удачно. Неужели для детей, даже для самых малолетних, нечего выбрать из Карамзина, Жуковского, Пушкина, — а эти писатели будто и не существуют для книги г. Половцова; вместо того, он извлекает таковые словеса из книги, изданной в 1762 г.:

«Человек духом и жизнью, а не деньгами и пожитком богат. Хотя б твои сундуки золотом да серебром наполнены были, однако ты от сего «щ(сч)ас(т)ливейшим не з(с)делаешься, ежели в себе спокоен и своим состоянием доволен не будешь».

Что за охота приучать детей к такому варварскому слогу?

Опечатки в самой терминологии еще более умножают темноту и сбивчивость. Вот, например: «Первый вид глагола называется определенным, он выражает точность действия; второй определенным (ВМ. неопределенным); он означает продолжаемость (продолжительность?) действия». И что такое значит точность и неточность действия?



**АЗБУКА РУССКАЯ НОВЕЙШАЯ (.) ИЛИ БУКВАРЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ**

с молитвами, нравоучениями, краткими для детей повестями, с показанием чисел и таблицею умножения.

Издание шестое. СПб. 1844

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ, С ПРАЗДНИКАМИ
Подарок детям и родителям на дни рождения, именины, Рождество Христово, Новый год и Светлое Воскресенье.

Второе издание, Л. Жебелева. СПб. 1844⁴¹

Обе эти книжонки, несмотря на всю разницу их назначения и содержания, имеют одну и ту же цель и один и тот же характер. Первая хочет учить детей читать; вторая — предлагает выучившимся грамоте детям поздравительные стихи; первая предлагает буквы и склады русского церковного языка, нравоучения, повести, показание чисел и таблицу умножения; вторая, как уже сказано, дарит родителей и детей прескверными виршами на дни рождения, именин и разных праздников, назначение и содержание их различно, но цель одна и та же: несколько копеек серебром, выманенных у того разряда простодушной публики, которая покупает книги, руководствуясь длиннотою и вычурностию их заглавий, или рекомендациями их издателей и продавцов. Сходство в характере обеих этих книжиц тоже разительно: обе они — выходцы с того свега, бледные и тощие порождения давно скончавшегося на Руси классицизма блаженной памяти. «Азбука», она же «Букварь», явилась с эпиграфом из Ломоносова, который еще в старину употреблялся при «букварях»:

Творец, покрытому мне тьмою,
Простри премудрости лучи,
И что угодно пред Тобою,
Всегда творити научи.

«Краткое Нравоучение» в «Букваре» напоминает собой наставление, которое, в повести Луганского «Колбасники и Бородачи», давал своему сыну «поштенный» купчина Яков Иванович Корюшкин: «не воруй, не шатайся, не пьянствуй».

Но особенно забавны в «Букваре» классические стихи Шишкова ⁴².

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько; и пр.

Все это так похоже на выходцев с того света. Сам «Букварь», он же и «Азбука», ничем не умнее помещенных в нем басен «Гусь и Утка» и «Резвая Коза»: зато он и вышел в свет шестым изданием. Будь он хоть крошечку поумнее составлен, не Шуккиным, не потребовалось бы даже и второго издания.

«Новые детские поздравления» вышли вторым изданием по той же причине, по которой «Букварь» вышел шестым, и мы убеждены, что они со временем выйдут и сороковым, потому что трудно вообразить что-нибудь пошлее и нелепее этих «поздравлений», написанных совершенно во вкусе и тоне публики Толкучего Рынка. Кроме того, они — произведение чисто классическое, напоминающее собою эпоху громких од, которые оглушали напыщенным ревом и криком тяжело несладких стихов ⁴³. Не угодно ли послушать:

Сего — дня, папенька мой милый,
У нас день ваших именин:
Позвольте, чтоб ваш сын счастливый,
Еще малютка, — и один, —
Поднес в стихах вам поздравление:
Стихи учитель написал,
А я имел для вас терпенье
Их твердо выучить, и знал,
Что это будет вам приятно,
А мне, ей, ей! Все в них понятно:
Желаю я, чтоб ангел ваш,
Семейства нашего хранитель,
Заступник наш, помощник наш,
И нас от бед оборонитель,
Дни вашей жизни так хранил,
Как, говорят, в теплице розу
Хранят зимою от морозу;
И чтоб ваш век весь соткан был,
Без грустных дней и без ненастья.
Из шелку, золота и счастья.

Эти милые стишки декламирует Митя своему папеньке или своей маменьке, и надо согласиться, что этот мальчик обладает истинно-ослиным терпением, если он мог вызубрить такие варварские вирши, а его папенька или его маменька, особы очень крепколобые, если они не только допустили его выучить, но еще с удовольствием выслушали от

него стопудовые нежности, сочиненные учителем из семинаристов, как то видно по классической фактуре стишищев. В одном из «поздравлений» Катенька просит свою маменьку принять от нее «нелестный глас плененных ею сердец»: не чистый ли это классицизм доброго старого времени, нашедший теперь свое убежище на новом Геликоне, Аполлон которого ходит во фризовой шинели с небритой бородою? Жаль, что в этих «поздравлениях» слово — папенька (впрочем, уже довольно опошлившееся) не заменено еще более пошлыми, но зато и более приличными тону «поздравлений» словами «тятенька», потому что эти «поздравления» явно назначены для тех сословий, которые очень заботятся об «учливости», поставляя ее в «цаловании ручки». Это, между прочим, видно и из коротенького предисловия в прозе к одной «поздравительной» пьесе: «Катенька входит в комнату к маменьке, с листочком в руках бумаги, приседает и целует у ней ручку»; а вот и самое «поздравление»:

Сегодня, маменька, в день вашего рожденья
Молю я благодать Провиденья,
Чтоб от высот оно своих
Хранило ваши дни бесценны,
Для добродетелей священные,
Для нас залог всех благ земных
И струек времени златых. —
Вам утра доброго желаю
И с днем рожденья поздравляю,
Стишки в подарок приношу:
Принять их ласково прошу!

Сочинитель этих дубинно-вязовых стихов присовокупляет к ним глубокомысленное замечание, что «эти стихи пригодны также и для мальчика». Мы вполне согласны с ним, если под «мальчиком» он понимает поваренка или казачка, который не мог бы не восхититься такими «поздравительными» стихами своего «тятеньку», «батеньку» или свою «маменьку».



УЧЕБНЫЙ КУРС СЛОВЕСНОСТИ,

с присовокуплением предварительных понятий о человеке вообще, о его познавательных силах, о свойствах и связи мыслей; краткой теории изящных искусств и примеров во всех родах прозаических и поэтических сочинений. Поставленный Василием Плаксиным.

Книга вторая. СПб. 1844⁴⁴

... в 1844 г. от Р. Х. при том объеме, в котором словесность преподается в университетах и гимназиях, не только бесполезно, но даже странно являться на суд публики с таким курсом словесности, каков «Курс» г. Плаксина⁴⁵. Бесполезно, — потому что каждый преподаватель в средних учебных заведениях, вероятно, запасася собственными записками, если не книгой, в которых теория красноречия и поэзия изложена удовлетворительнее, чем в произведении г. Плаксина; странно — потому что сочинитель не дорожит своей известностью, если он ее имел, предлагая учащим и учащимся такой скудный плод своей богатой опытности. Представим тому доказательства.

С тех пор, как немецкая эстетика определила изящное соединением истины и блага, все наши курсы словесности приняли это определение больше, кажется, на веру, нежели по надлежащем его объяснении. Надобно было взять его и г. Плаксину в «Краткую Теорию Изящных Искусств». Как же он решает отношение истины к изящному? Он говорит (стр. 8):

«Часто мы принимаем заблуждения за достоверные положительные знания, будучи довольно мнимым знанием; и притом нередко с сознанием любимся вымыслами, стройною, хорошо придуманною (!) и безвредною (!!)) ложью (и ложь во спасение); то (за чем здесь то?) из сего следует, что только логическая истина составляет необходимое условие изящного.

Однако ж, прибавляет автор, свободное создание человека не может (т. е. не должно) искажать дознанные истины и известные определенные знания, не должно противоречить началам нравственности. Вот почему истина философическая и нравственная соблюдается в изящных произведениях только отрицательно, а логическая положительно».

В этих словах, кроме лжи, есть еще противоречие. Если мы с сознанием любуемся вымыслами, стройною и безвредною ложью, то где же здесь истина философская, т. е. согласие познания с познаваемым предметом? Она не только не соблюдается отрицательно, но положительно отвергается. Вот противоречие, которое привело прямо ко лжи, утверждающей, что свободное сознание человека не должно искажать дознанные истины и известные определенные знания. Заметим сначала, что дознанная истина и истина так же могут разниться между собою, как известное определенное знание и верное знание. То, что вчера было для вас истиной, может завтра обратиться в ложь. Прежние астрономы уверены были в неподвижности земли, и, вследствие этого, г. Плаксин запретил бы жившим тогда поэтам изображать движение земли, неподвижность солнца? Их произведения были бы изящные, как нарушающие философскую истину. Не вижу причины, почему бедные поэты, опережающие иногда ученых, принуждены идти по следам дознанных истин, которые не всегда истинны, и основывать свои создания на известных знаниях, которые со временем окажутся неверными. Пушкин, в одном из подражаний Алкорану, заметил очень умно, что автор Алкорана плохой физик, но великий поэт. В балладе Жуковского «Ахилл» греческий герой изображен не таким, как в «Илиаде», а между тем баллада превосходна. Разве в идиллии Гнедича «Рыбаки» г. Плаксин видит русских рыбаков, живущих на берегах Невы. Однако ж, такое искажение истины не помешало ему поместить это стихотворение в «Курсе Словесности», как образец изящных идиллий. Отсюда ясно, что г. Плаксин с чужого голоса пропел об истине и благе, соединяющихся в изящном, не вникнув основательно в истинные их отношения, без чего всегда по-является множество противоречий.

Все эстетики строго различают в изящных произведениях форму внешнюю и форму внутреннюю. Под первой разумеют они вещественное средство выражать мысли; под второй — тот образ, в который воплощается идея и который обыкновенно называется идеалом. Так, например, в романе внешняя его форма будет речь и слог, короче: словесное выражение автора; внутреннюю формую будет сюжет, т. е. происшествия и лица, в которых раскрывается какая-нибудь идея. Г-н Плаксин до того смешал эти две строго-различаемые формы, что в 10 и в 11 параграфах говорит о форме внешней, умалчивая о внутренней, как будто бы она не существует, а в пятой главе, объясняя историческое изменение изящного, выходит на сцену с идеалом, т. е. с фор-

мой внутренней, умалчивая о внешней. Кто захочет свести и согласить два указанные нами места, тот возьмет на себя тяжелую обязанность!

В историческом изменении изящного сочинитель видит четыре идеала: древний, или греческий, в котором форма вполне обнимала и ясно выражала идею; ново-европейский, в котором форма не вполне выражала идею; новоклассический и самобытный или национальный, принадлежащий нашему времени. Куда же отнести индийцев? К грекам нельзя: в их искусстве нет соответствия между идеей и формой. Вычеркнуть их из истории искусства — тоже нельзя: сам сочинитель пишет, что у них была и эпopeя, и басня, и драма. Мы не знаем, право, как поступить в таком щекотливом случае. Гегель отделяет для восточного искусства особенный период развития, но едва ли г. Плаксин захочет следовать Гегелю... Другой затруднительный вопрос состоит в том, чтоб показать характер современного искусства. Название национальный не отделяет его от греческого классического и ново-европейского (романтического), которые были очень национальны, именно, выражали народный дух и окружающую природу. У греков форма соответствовала идее; в новом мире, в искусстве романтическом идея брала перевес над формой; ну что ж теперь-то? неужели форма перевешивает идею?.. Как вы думаете, г. Плаксин?..

Оставляя в стороне любопытные рассуждения о эдчестве, ваянии, музыке, живописи и пр., перейдем к поэзии. Поэзию делят различно, смотря по различным основаниям деления: это основание заключается или в содержании произведений, или в их форме, или в их характере (тоне); для г. Плаксина этого мало; он ищет исходной точки во времени: первое самое время, и в жизни и в грамматике, настоящее — отсюда поэзия лирическая; за настоящим следует прошедшее — отсюда поэзия эпическая; за прошедшим будущее — поэзия дидактическая, содержащая в себе выводы и наставления, оживленные мечтами. Последний род хотя противоречит понятию об искусстве вообще, которое никого не наставляет, но г. Плаксин часто забывает прежние положения, когда идет дело о положениях дальнейших. Драматическая, не имеющая соответственного себе четвертого времени, находит его в прошедшем и настоящем, следовательно, соединяет в себе лирику и эпопею: это ясно!

Лирическая поэзия, по словам г. Плаксина, ниже эпопей вероятно потому, что настоящее время ниже прошедшего. Для лирики, говорит сочинитель, нужно только вдохновение, и в ней почти нет никакого искусства, забывая, что

если поэзия есть искусство, то искусство же и лирическая поэзия. Не знаем, из чего так нужно «Учебному Курсу» определять относительные высоты разных родов поэзии: ведь это не горы, в которых высота — все и в которых почти нет никакого искусства. Другого рода хлопоты о сохранении лирического беспорядка: его, действительно, надобно было сохранить; он оправдывает многие драматические произведения, где поэты представлены растрепанными, нечосами, и глубокомысленно подтверждает мнение г. Н. Полевого, по которому поэзия есть своего рода «безумство» и Ломоносов сумасшедший. Кто не поверит нам, тот пусть пробежит в «Очерках литературы» критическую статью о сочинении г. К. Полевого «Михаил Васильевич Ломоносов».

Лучший элэгист в «Учебном Курсе Словесности» — Батюшков, а за ним уже следует Жуковский. Подобная сортировка писателей и должна была выйти из путаницы определений как лирической поэзии вообще, так и родов ее. Вы не поверите, когда я скажу вам, что г. Плаксин отнес Думу Лермонтова, эту страшную сатиру к... балладам лирическим. Воля ваша, после этого Учебный Курс Словесности есть... эпический водевиль! Да и самое определение поэзии выражает ли то, что действительно представляет поэзия? Нисколько! «Поэзия есть свободное выражение творческих помыслов человека словом» (стр. 46). Каким словом? Ведь и рассуждение выражается словом. Понятие свободное объясняет г. Плаксин следующим образом:

«Гений новых веков и народов (а старых?) раскрывает творческую силу и в человеке, и в природе; по законам первой, он творит свободно, завися только от степени преобладания своего над вещественными и животными силами (что это такое?); по законам второй, он действует в духе идеи Создателя. И так ясно (очень ясно!), что творческая сила человека может создавать только в духе законов природы или, по крайней мере, в духе понятий о ней; а в ознаменование своего торжества над вещественною природой облекает свои создания — идеи и помыслы — в формы не вещественные — слова» (ibid.).

Курьезное и ясное толкование автора выражается короче так: «Поэзия есть свободное выражение, потому что гений творит свободно». Заметьте, всегда так бывает, когда сочинитель говорит с чужого голоса, бессильный дать себе отчет в истинных понятиях об искусстве и поэзии. Каждое слово его лишь запутывает мысль, и нам от души становится жаль бедных учеников, которые принуждены будут понимать толкования своего учителя, а может быть и затверживать их. Истинно-мыслящий, сказав, что поэзия есть творчество, есть та же истина, только в образах, позаботился тотчас оправдать это определение

всеми родами поэзии, показав, что и эпик, и лирик, и драматик творят, воплощают истину в образы. Тогда слова автора не были бы пустотою пустот, бесполезным повторением чужих, нередко бессмысленных определений, а шли бы очень к делу, как приложение общего к частям, рода к видам и подвидам. А теперь, что мы видим? Г-н Плаксин, говоря о лирической поэзии, молчит о том, в чем состоит ее творчество и как должно понимать ее образность, т. е. представление чувств и мыслей в чувственных формах. Вследствие этого, лирическая поэзия выходит у него из круга поэзии вообще; ибо сказать, что «главное отличие лиризма состоит в том, что он выражает личность самого поэта, его внутреннюю жизнь, его сильные порывы души», значит плохо отделить лиризм от других родов поэзии, и еще плохо отделить его от красноречия, прозы: личность поэта, внутренняя жизнь его могут прекрасно выразиться в простой биографии, в обыкновенной, прозаической характеристике, а сильные порывы души, не составляя исключительной принадлежности всех родов лирической поэзии, входят весьма часто в ораторскую речь.

Наговорив сотни удивительных вещей об эпической эпопее, г. Плаксин задает себе таковой вопрос: «и так, ежели роман заменяет у нас эпопею, то она теперь уже невозможна?» — Вопрос, действительно, замысловатый. Сочинитель и решил его замысловато. Он сперва отрекся от прежнего вывода. «Роман не заменяет ее; он также необходим в кругу нашей духовной деятельности, как эпопея у древних народов». Потом продолжает:

«Эпопея и ныне может изображать первообразы (!?) религиозно-исторических действователей с их добродетелями и пороками; но при этом она должна или изображать так и нравственно-семейные добродетели, или, удержав за собою прежнюю область свою, предоставить роману изображать идеалы действователей по связям и побуждениям нравственно-семейным» (стр. 162).

Итак, одна из обязанностей новейшей эпопеи есть предоставить роману изображать идеалы действователей по связям и побуждениям нравственно-семейным? Я думаю, что роман и без дозволения эпопеи будет делать то, что ему следует делать; надобно только, чтоб и новейшая эпопея не совалась туда, где ей нет места. Г-н Плаксин решительно хочет воскресить древнюю, классическую эпопею, образцы которой так удачно представил нам Херасков!

Есть ли дидактическая поэзия?.. Есть, отвечает г. Плаксин, и свое утверждение доказывает очень просто, хотя и не менее изящно.

«В поэзии и дидактике есть противоположность, а противоречия нет; потому что чистой, безусловной поэзии без прозы быть не может, точно так же, как не может быть зодчества изящного без основания, без стен» (стр. 246).

Отсюда и выходит, что поэзия есть изящное зодчество, а дидактика — стены и основание. Эти стены, т. е. дидактика, должны «очаровывать нас идеею благости и красоты или пристыдить человека изображением зла, расстройства и безобразия». Так повар басни Крылова, руководимый истинным понятием о дидактике, говорит коту Ваське: «не стыдно ль стен тебе». Так же точно говорим мы о бесполезных советах человеку, потерявшему стыд: «что ни делай — как стене горох». Впрочем, при этом надобно помнить, что дидактика, хоть и стена, но не должна позволять себе, даже и в басне, бранных выражений. Дмитриев поступил очень дурно, начав свою басню Лев и Комар так: прочь подлейша тварь (стр. 250). Вот в сатире другое дело; там можно говорить: шут, враль, пустомеля, подлец, что и видим в сатире Милонова: на модных болтунов, приведенной г. Плаксиным в пример изящных образцов (стр. 256).

Мы хотели идти далее за г. Плаксиным, но решительно отказываемся от чести шествовать по следам этого «Учебного Курса Словесности», напечатанного, — кто бы поверил, — в 1844 г.! Сил, право, нет: надобно просто переписать всю книгу и забавляться над каждым параграфом, потому что ни один параграф не стоит дельного опровержения. И потому, взяв это пресловутое творение, мы осторожно понесли его на полку и поставили рядом с двумя однородными и однокровными ему теориями: «Курсом Словесности» г. Греча и «Курсом Словесности» г. Георгиевского⁴⁶. Теперь весь этот теоретический хлам словесности образует блистательный триумvirат и покоится в недрах пыли, прижавшись к стене, т. е. к дидактике⁴⁷.



ОБЩАЯ РИТОРИКА Н. КОШАНСКОГО

Издание 9-е, СПб. 1844 ⁴⁸

Наука — великое дело. В этом согласны все — от мудреца до безграмотного простолюдина. Ученые свет, не ученые тьма, говорят наши русские мужички. В наше время эта истина становится аксиомой. Но и враги учения и наук еще не перевелись, и — что всего хуже, они не всегда неправы в своих нападках на ученость и ученых. Мы говорим не о тех противниках просвещения, которые только во мраке невежества и дикости нравов видят неиспорченность мысли и чистоту нравственности: нет, об этих изуверах обскурантизма, об этих чадах тьмы, об этих фанатиках и лицемерах ложно-понимаемого добронравия, не стоит труда и говорить. Но нельзя не обратить внимания на тех противников просвещения, которые вооружаются не столько против науки, сколько против ученых, которые, основываясь на простом здравом смысле и на простом практическом чувстве, не теориею, а указанием на знакомых им ученых, доказывают то пустоту и бесполезность, то даже вред учения. Объясним это примером. Положим, г. NN — человек неучившийся, но умный от природы, образовавшийся опытом жизни и нечуждый некоторой начитанности, повинувшись духу времени, взял для своего сына учителя словесности. И вот, учитель аккуратно является давать юноше уроки, проходит с ним грамматику, риторiku, поэзию, логику. Кончен курс словесности; все довольны: сын — что узнал столько мудреных и полезных наук; отец — что выполнил свой долг; учитель — что образовал нового словесника. Но вдруг декорация переменяется. Отец определяет своего сына на службу и хочет, чтоб тот служил под его руководством. Для практики он дает ему составлять выписки из дел, задает ему писать разные бумаги официального содержания — и что же? Он с удивлением видит, что во всех юридических опытах его сына бездна красноречия, троп и фигур не оберешься, а дела нет и признаков, слог отличный, по-истине высокий, а что-нибудь понять в нем нет никакой возможности. В другое время, он просит сына на-

писать письмо о том-то и тому-то: та же история! Периоды круглые, с понижениями и повышениями; после предложения, начинающегося с «хотя», всегда следует предложение, начинающееся с «однако»; слово «кто» всегда соответствует слову «тот» и т. д.; но письмо тяжело, неприлично, неуклюже, как семинарист в обществе. «Что же это значит?» думает отец. «Сын мой не глуп, способности у него есть, в обществе он держит себя прилично и говорит как принято, а на письме — фразер, педант, надутый враль, тяжелый болтун. Учился он по хорошей книге, по «Риторике» г. Кошанского⁴⁹, которая везде принята за лучшее руководство и напечатана девятым изданием; учитель — человек известный, учит во всех домах и меньше десяти рублей за урок не берет; все это так, — но чему же выучился мой сын?». Далее, отец замечает, что его сын, прошед полный курс словесности, следовательно, выучившись и поэзии, узнав и историю русской словесности, свысока рассуждает иногда о величии гения Державина, вскользь упоминает и о Пушкине, а между тем читает только новые романы и водевили, совершенно не интересуясь ничем иным. Зная название всех наиболее известных сочинений на отечественном языке, он только из некоторых читал отрывки, а большей части совсем не читал. И вот, делать нечего, отец спорит с сыном, кое-как переламывает его, приучает хорошо писать и деловые бумаги и письма. Сын стал хоть куда! Но тогда отец с удивлением замечает, что сын его исправился благодаря тому, что совершенно забыл, как вздор, все, чему учил его учитель словесности. Какое же отец должен вывести мнение из всего этого? — Разумеется, такое, что науки и ученье — вредный вздор. И он прав, тысячу раз прав: за него факт и, может быть, тысячи таких фактов. Какое ему дело рассуждать, что за наука — риторика, может ли и должна ли она преподаваться и так ли ее преподают. Он знает, что риторике учат во всех училищах, что без риторики никого не признают ученым, знает, что его сын учился по риторике, изданной девятым изданием, везде принятой за руководство, — и в то же время он знает, что риторика — сущий вздор, не только бесполезный, но и страшно вредный.

Много можно привести таких примеров, доказывающих, что от учения люди часто ничего не выигрывают, а много проигрывают: выигрывают — тяжесть, сухость, педантизм, претензии, а проигрывают здравый смысл, живость ума, инстинкт истины, такт действительности. Метафизик Хемницера действительно бессмертная вещь: говоря об учении и ученых часто по-неволе вспомнишь о ней...

Но наука и ученье тут ни в чем не виноваты, потому

что надо строго отличать науку и учение от состояния, в котором наука и ее преподавание находятся в известное время и в известном обществе. Конечно, людям практическим, которые привыкли обо всем судить на основании здравого смысла и опыта, которые ценят вещи по их результатам, видят их, как они суть, а не так, как бы должны были быть, — таким людям мало дела до необходимости отделять злоупотребление науки от самой науки, — и они совершенно правы с своей точки зрения. И потому мы хотим поговорить здесь о риторике не для того, чтоб убедить практических людей в высоком достоинстве риторики вообще и «Риторики» г. Кошанского в частности, а для того, чтоб практические люди не презирали всякой науки и всякого знания потому только, что риторика вздорная наука и вредное знание.

Злоупотребление многих вещей происходит большею частью от того, что люди смешивают между собою самые различные вещи. Так, например, чаще всего смешиваются у нас понятия: наука и искусство. Самое слово наука у нас неверно выражает заключенное в нем понятие. Простой народ наш правильнее употребляет это слово, говоря о мальчишке, отданном учиться сапожному ремеслу он отдан в науку. То, что называется scientia, science, Wissenschaft, у нас должно бы называться не наукою, а знанием. Наука ничему не учит, ничему не выучивает: она дает знание законов, по которым существует все существующее; она многообразие однородных предметов приводит в идеальное единство. Искусство имеет более практическое значение: оно больше способность, талант, умение что-либо делать, нежели знание чего-либо. Искусства бывают двух родов: творческие и технические. Деятельная, производительная способность в первых бывает в людях, как дар природы; учение и труд развивают этот дар, но самого дара не дают тем, кому не дано его природою. Технические искусства даются людям наукою, в том смысле, как понимает это слово простой народ, — в смысле практического учения, изучения, навыка. И в творческих искусствах есть своя техническая сторона, доступная и бездарным людям: можно выучиться писать легкие и гладкие стихи, разбирать ноты и лучше или хуже разыгрывать их, срисовывать копии с оригиналов и т. п., но поэтом, музыкантом, живописцем нельзя сделаться учением и рутинною. Все, что существует, существует на основании неизменных и разумных законов, и потому подлежит ведению науки (знание); следовательно, и искусство подлежит ведению науки, но не иначе, как только предмет знания, а совсем не как предмет обучения.

т. е. мастерство, которому можно выучиться посредством науки. Искусствам учатся — это правда, особенно таким, в которых техническая сторона преимущественно важна и трудна; но здесь учение особенного рода — учение практическое, а не теоретическое, учение не по книге, а по наглядному указанию мастера. Таковы и все технические искусства, все ремесла. Напишите самое ясное, самое толковитое руководство к искусству шить сапоги, — самый понятливый и способный человек в пятьдесят, во сто лет не выучится по вашей книге шить сапоги так хорошо, как бы выучился он в несколько месяцев у хорошего мастера, при посредстве его наглядных указаний и своего упражнения и навыка. В таком точно отношении находится наука к искусству. Иной эстетик-критик судит лучше художника о произведении самого этого художника, но сам не в состоянии ничего создать. В сфере искусства ученый знает, художник умеет.

Но не все, к несчастью, понимают это теперь; еще меньше все понимали это прежде. Вот откуда явилась риторика, как наука красноречия, наука, которая брала на выучку кого угодно сделать великим оратором; вот откуда явилась пиитика, как наука делать поэтами даже людей, которые способны только мостить мостовую.

Риторика получила свое начало у древних. Социализм и республиканская форма правления древних обществ сделали красноречие самым важным и необходимым искусством, ибо оно отворяло двери к власти и начальствованию. Удивительно ли, что все и каждый хотели быть ораторами, хотели иметь влияние на толпу посредством искусства красноречия? Поэтому, изучали речи великих ораторов, анализировали их и дошли до открытия тропов и фигур, до источников изобретения; стали искать общих законов в частных случаях. Оратор сильно всколебал толпу могучим чувством, выраженным в фигуре вопрошения, — и вот могучее чувство отбросили в сторону, а фигуру вопрошения приняли к сведению: эффектная-де фигура и на ней как можно чаще надобно выезжать — всегда вывезет. Это напоминает басню о глупом мужике или глупой обезьяне, которая, увидев, что ученый, принимаясь за чтение, всегда надевал на нос очки, тоже достала себе очки и книгу, хотела читать, и с досады, что ей не читается, разбила очки. Но люди бывают иногда глупее обезьян. Из наблюдений и анализа над речами великих ораторов они составили сбор каких-то произвольных правил и назвали этот сбор риторикой. Явились риторики, которые к ораторам относились, как диалектики и софисты относились к философам, и начали обучать людей искусству красноречия; завелись школы, но из них выходили

все-таки не ораторы, а риторы. Какая разница между оратором и ритором? Такая же, как между философом и софистом, между присяжным судьей (juror) и адвокатом: философ в диалектике видит средство дойти до знания истины, софист в диалектике видит средство остаться победителем в споре; для философа истина — цель, диалектика — средство; для софиста и истина и ложь — средство, диалектика — цель; присяжный судья видит свою цель в оправдании невинного, в осуждении виновного; адвокат видит свою цель в оправдании своего клиента, прав ли он или виноват — все равно. Оратор убеждает толпу в мысли, великость которой измеряется его одушевлением, его страстью, его пафосом и, следовательно, жаром, блеском, силою, красотою его слова; ритор у него нет нужды до мысли, в которой он хочет убедить толпу: ритор — человек маленький, и мысль его может быть подленькою, даже у него может не быть вовсе никакой мысли, а только гаденькая цель, — и лишь бы ее удалось ему достигнуть, а до прочего ему нет дела. И там, где оратор берет вдохновением, бурю страстей, громом и молнией слова, там ритор хочет взять тропами и фигурами, общими местами, выточенными фразами, округленными периодами. Но в древности, риторика еще имела какой-нибудь смысл. Когда в какой-нибудь республике переводились на время великие люди, тогда народом управляли крикуны и краснобаи, т. е. риторы. А много ли людей, которые для такой цели не стали бы учиться риторике? — Но скажите, бога ради, зачем нужна риторика в новом мире? Зачем она даже в Англии и во Франции? Ведь Питт и Фокс были не только ораторы, но и государственные люди. Ведь в наше время, когда вся общественная машина так многосложна, так искусственна, даже и великий по таланту оратор недалеко уйдет, если в то же время он не будет государственным человеком. И каким образом риторика сделает кого-нибудь красноречивым в Англии и во Франции, и кто из английских и французских парламентских ораторов образовался по риторике? Разве риторика дает кому-нибудь смелость говорить перед многочисленным собранием? Разве она дает присутствие духа, способность не теряться при возражениях, умение отразить возражение, снова обратиться к прерванной нити речи, находчивость, талант всемогущего слова «кстати»? Приведем известный пример из древнего мира. Демосфен говорил о Филиппе, а ветреные афиняне толковали между собою о новостях дня; раздраженный оратор начинает им рассказывать пустую побасенку, — и афиняне слушают его внимательно. «Боги!» воскликнул великий оратор: «достоин вашего покровительства народ, который не хочет слушать, когда

ему говорят об опасности, угрожающей его отечеству, и внимательно слушает глупую сказку!» Разумеется, эта неожиданная выходка устыдила и образумила народ. Скажите: какая риторика научит такой находчивости? Ведь подобная находчивость — вдохновение! Вздумай кто-нибудь повторить эту выходку — толпа расхохочется, потому что толпа не любит людей, которые велики или находчивы задним числом. Какая риторика даст человеку бурный огонь одушевления, страсть, пафос? Нам возразят: конечно, не даст, но разовьет эти счастливые дары природы. Не правда! Их может развить практика, трибуна, а не риторика. Гений полководца нуждается в хороших книгах о военном искусстве, но развивается он на полях брани. И чем бы могла риторика развить гений оратора: неужели тропами, метафорами и фигурами? ⁵⁰ Но что такое тропы, метафоры и фигуры, если выражение страсти — не произведение вдохновения? Истинный оратор употребляет тропы и фигуры, не думая о них. То энергическое выражение, которым он всколебал толпу, иногда срывается с его уст нечаянно, и он сам не предвидел, не находил его в своей голове, будучи отделен от него только двумя словами предшествовавшей фразы. Ученикам задают писать тропы и фигуры: не значит ли это задавать им работу — быть вдохновенными, страстными? Это напоминает соловья в когтях у кошки, которая заставляет его петь. Да, чего не бывает на белом свете! В старину, в семинариях, в классе поэзии, задавали ученикам описывать в стихах разные назидательные предметы...

Итак, какую же пользу может приносить риторика? Не только риторика — даже теории красноречия (как науки красноречия) не может быть. Красноречие есть искусство — не целое и полное, как поэзия: в красноречии есть цель, всегда практическая, всегда определяемая временем и обстоятельствами. Поэзия входит в красноречие как элемент, является в нем не целью, а средством. Часто самые увлекательные, самые патетические места ораторской речи вдруг сменяются статистическими цифрами, сухими рассуждениями, потому что толпа убеждается не одною красотой живой изустной речи, но вместе с тем и делом, и фактами. Один оратор могущественно властвует над толпой силою своего бурного вдохновения; другой — вкрадчивою грациею изложения; третий — преимущественно иронией, насмешкой, остроумием; четвертый — последовательностью и ясностью изложения, и т. д. Каждый из них говорит, соображаясь с предметом своей речи, с характером слушающей его толпы, с обстоятельствами настоящей минуты. Если б Демосфен вдруг воскрес теперь и заговорил в английской ниж-

ней палате самым чистым английским языком, — английские джентльмены и Джон Буль ошибали бы его; а наши современные ораторы плохо были бы приняты в древней Греции и Риме. Мало того: французский оратор в Англии, а английский во Франции не имели бы успеха, хотя бы они каждый в своем отечестве привыкли властвовать над толпою силою своего слова. И потому, если вы хотите людям, которые не готовятся быть ораторами, дать понятие о том, что такое красноречие, а людям, которые хотят быть ораторами, дать средство к изучению красноречия, — то не пишите риторики, а переберите речи известных ораторов всех народов и всех веков, снабдите их подробною биографиею каждого оратора, необходимыми историческими примечаниями, — и вы окажете эту книгу великую услугу и ораторам и не ораторам.

Но зачем риторика у нас в России? — Затем, чтоб учить детей сочинять?.. Многие смеются над определением грамматики, что она учит правильно говорить и писать. Определение очень умное и очень верное! Всеобщая грамматика есть философия языка, философия человеческого слова: она раскрывает систему общих законов человеческой речи, равно свойственных каждому языку. Частная грамматика учит ни чему иному, как правильно говорить и писать на том или другом языке: она учит не ошибаться в согласовании слов, в этимологических и синтаксических формах. Но грамматика не учит хорошо говорить, потому что говорить правильно и говорить хорошо — совсем не одно и то же. Случается даже так, что говорить и писать слишком правильно значит говорить и писать дурно. Иной семинарист говорит и пишет, как олицетворенная грамматика, его нельзя ни слушать, ни читать; а иной простолюдин говорит неправильно, ошибается и в склонениях и в спряжениях, а его заслушаешься. Из этого не следует, чтоб грамматике не должно было учиться и чтоб грамматика была вздорная наука: совсем напротив! Неправильная речь одаренного способностью хорошо говорить простолюдина была бы еще лучше, если б он знал грамматику. Дело в том только, чтоб грамматика знала свои границы и слушалась языка, которого правила объясняет: тогда она научит правильно и писать и читать; но все-таки только правильно, не больше: учить же говорить и писать хорошо — совсем не ее дело. Сколько мы догадываемся, на это претендует риторика. Нелепость, сущая нелепость! Кто готовится в государственные ораторы, — тот пусть изучает речи государственных ораторов, слушает их, как можно чаще бывает в обществе государственных людей; кто готовится в адвокаты, тот пусть не выходит из судебных мест, пусть ищет

общества адвокатов; но еще лучше, если тот и другой как можно чаще сами будут пробовать свои силы на избранном поприще; кто хочет блистать своим разговором в светском обществе, тот пусть живет в свете; кто хочет посвятить себя литературе, тот пусть изучает писателей своего отечества и следит за современным движением литературы. Но и тот, и другой, и третий, и четвертый больше всего пусть опасаются риторики! Скажут: в искусстве говорить, особенно в искусстве писать, есть своя техническая сторона, изучение которой очень важно? Согласны; но эта сторона несколько не подлежит ведению риторики. Ее можно назвать стилистикой, и она должна составить собою дополнительную, окончательную часть грамматики, высший синтаксис, то, что в старинных латинских грамматиках называлось: *syntaxis ornata*, *syntaxis figurata*. Этот высший синтаксис должен заключать в себе главы: 1) о предложениях и периодах; 2) о тропах и 3) об общих качествах слога — чистоте, ясности, определенности, простоте и пр. в отношении к выражению. В главе о предложениях и периодах должны быть объяснены общие, на логическом строении мысли основанные формы речи; в периоде должно показать силлогизм; надобно обратить особенное внимание на то, чтоб отделить внешнюю форму от внутренней и научить по возможности избегать школьной формы выражения. Так, например, всякий школьник, особенно учившийся по «Риторике» г. Кошанского, необходимою принадлежностью условного периода почитает союзы: если, то; надо внушить ему, что условность может заключаться и в периоде без если и то, как например: скажешь правду, потеряешь дружбу, и что эта последняя форма проще, легче и лучше первой. В главе о тропах не должно гоняться за пошлыми примерами или искать их непременно в сочинениях известных писателей, но брать их преимущественно в обыкновенном, разговорном языке, в пословицах и поговорках. Надо показать ученику, что тропы породили необходимость образного выражения и что тропы лучше всего объясняют и оправдывают философское положение: «ничего не может быть в уме, чего не было в чувстве». Лучшие примеры тропов должны быть в таком роде: острый ум, тупая память, следы преступления, иметь кусок хлеба и т. п. Что касается до фигур, которые, как известно, разделяются риториками на фигуры слов и фигуры мыслей, то о них лучше всего совсем не упоминать. Кто исчислит все обороты, все формы одушевленной речи? Разве риторы исчислили все фигуры? Нет, учение о фигурах ведет только к фразистости. Все пра-

вила о фигурах совершенно произвольны, потому что выведены из частных случаев. Что касается до главы о слоге вообще, — она должна состоять из опытных наблюдений, из общих замечаний и отнюдь не должна претендовать на наукообразное изложение. Чтоб приучить ученика владеть фразой и не затрудняться в выражении мысли, всего менее нужна теория и всего более практика. Упражняйте его в переложении стихов на прозу, а главное — в переводах с иностранных языков. Это — истинная и единственная школа стилистики. Борьба между духом двух различных языков, сравнение средств того и другого для выражения одной и той же мысли, всегдашнее усилие найти на своем языке фразу, вполне соответствующую фразе иностранного языка, — это всего лучше развяжет перо ученика и, кроме того, всего лучше заставит его вникнуть в дух родного языка. Но эти так называемые источники изобретения, эти топики, эти общие места (*lieux communs*), которыми риторика гордится как своим истинным и главным содержанием, все это решительно пустяки, и пустяки вредные, губительные. Мальчику задают сочинение на какую-нибудь описательную, а чаще всего отвлеченную тему; велют ему или описать весну, зиму, восход солнца, или доказать, что лень есть мать пороков, что порок всегда наказывается, а добродетель всегда торжествует; боже великий, какое варварство! Мальчик сочиняет! Мальчик — сочинитель! Да, знаете ли вы, господа-риторы, что мальчик, который сочиняет, почти то же, что мальчик, который курит, волочится за женщинами, пьет водку?.. Во всех этих четырех случаях равно губительно упреждается природа искусственным развитием, и мальчишка играет роль взрослого человека. Где ему рассуждать о природе, когда вся прелесть, все блаженство его возраста в том и состоит, что он любит природу, не зная как и за что? А вы заставляете его находить причины его любви к природе и анализировать это чувство! Мальчик любит своих товарищей, с некоторыми из них дружен, — почему? — По простой симпатии, которая влечет человека к человеку, соединяет возраст с возрастом, — а вы заставляете его насильно уверяться, что это происходит в нем то от того, то от другого, то от нужды в помощи ближнего, то от пользы общего труда! Что из этого выходит? — мальчик был добрый шалун, который любил своих товарищей просто за то, что ему с ними было весело, — этот мальчик, искушенный в риторике, начинает разделять свое чувство на простое знакомство, на приязнь и дружбу; дружбы у него являются несколько родов, и он уже по рецептам начинает направлять свое расположение к ближним, и его чувство

делается искусственно, ложно. Из живого, здорового полно-
тою чувства ребенка делается рефлектёр, резонёр, умник,
и чем лучше он говорит о чувствах, тем беднее он чув-
ствами, — чем умнее он на словах, тем пустее он вну-
тренно. От дружбы не далека любовь, — и вот прежде, чем
пробудилась в нем неопределенная потребность этого чув-
ства, он уже знает любовь в теории, говорит об измене, рев-
ности и кровавом мщении. Он влюбляется не по невольному
влечению, а по выбору, по рефлексии и описывает, анализи-
рует свое чувство или в письме к другу, или в своем днев-
нике, или в стишонках, которые давно он уже кропает. Ре-
зультат всего этого тот, что в мальчишке не остается ничего
истинного, что он весь ложен, что непосредственное чувство
у него заменено прихотью мысли. Прежде, нежели почув-
ствует он что-нибудь, он назовет это, определит. Он не жи-
вет, а рассуждает. И вот он уже не мальчишка, ему уже
двадцать лет, — и в этот-то счастливый возраст полноты
жизни он старик: на все смотрит с презрением, с иронией;
он все испытал, все узнал; для него нет счастья — осталось
одно разочарование, одни погибшие надежды, его настоящее
скучно, будущее мрачно. Вот оно — нравственное растрение,
вот оно — развращение души и сердца! Конечно, много при-
чин такому явлению, и смешно было бы всю вину взвалить
на риторику; но ясно и неопровержимо, что риторика — одна
из главных причин такого грустного явления. Мальчику за-
дают тему: «порок наказывается, добродетель торжествует».
Сочинение, в форме хрии или рассуждения, должно быть
представлено через три дня, а иногда и завтра. Что может
знать мальчик о пороке или добродетели? Для него это —
отвлеченные и неопределенные понятия; в его уме нет ника-
кого представления о пороке и добродетели: что же напишет
он о них? Не беспокойтесь — риторика выручит его: она
даст ему волшебные вопросы: кто, что, где, когда,
как, почему и т. п., вопросы, на которые ему стоит
только отвечать, чтоб по всем правилам науки молоть вздор
о том, чего он не знает. Риторика научит его брать доводы
и доказательства от причины, от противного, от подобия,
от примера, от свидетельства, а потом вывести заключение.
Удивительная школа фразёрства! Ясно, что «риторика есть
наука красно писать обо всем, чего не знаешь, чего не чув-
ствуешь, чего не понимаешь». Удивительная наука! Заик
она делает краснобаем, дурака — мыслителем, немого — ора-
тором. И потому, когда прочтут драму, в которой оболгано
сердце человеческое, говорят: риторика! Когда прочтут
роман, в котором оболгана изображаемая в нем действитель-
ность, говорят: риторика! Когда прочтут пустозвонное

стихотворение без чувства и мысли, говорят: риторика! Когда услышат взяточника, рассуждающего о благонамеренности, лицемера, рассуждающего о развращении нравов, говорят: риторика! Словом, все ложное, пошлое, всякую форму без содержания, все это называют риторикой! Учитесь же, милые дети, риторике: хорошая наука!

Всякая наука должна иметь определенное, только ей одной принадлежащее содержание; она не должна соединять в себе нескольких наук вдруг. Так как наука есть органическое построение идеальной сущности предмета, составляющего ее содержание, — то в ней все должно выходить и развиваться из одной мысли, а эта мысль должна быть вполне схвачена ее определением. Г-н Кошанский даже не позаботился определить, что такое риторика и какое ее содержание. Он начинает с того, что ничто столько не отличает человека от прочих животных, как сила ума и дар слова. До сих пор мы думали, что человека отличает от животных разум, а не сила ума. По определению г. Кошанского выходит, что и у животных есть ум, только не столь сильный, как у человека. Сила ума, по мнению г. Кошанского, открывается в понятиях, суждениях и умозаключениях, составляющих предмет логики. Дар слова заключается в прекраснейшей способности выражать чувствования и мысли, что составляет предмет словесности; а словесность включает в себе грамматику, риторику и поэзию (поэзия — наука!..) и граничит с эстетикой. Потом, грамматика занимается у г. Кошанского словами; риторика — преимущественно мыслями (которыми недавно занималась у него логика); поэзия — чувствованиями (стало быть, в поэзии нет мыслей!..); в эстетике хранятся (словно в архиве!) мечтательные начала не только словесных наук (грамматики, риторики и поэзии!..), но и всех искусств изящных...

Скучно говорить о таких странностях... виноваты — о такой риторике, т. е. о таком наборе слов, лишенном всякого содержания, всякого значения, всякого смысла. «Риторика» г. Кошанского, как и все риторики, говорит и о родах прозаических сочинений, учит как писать историю, как писать ученые трактаты, как описывать то или другое, как писать письма... Что за нелепость! Да разве всему этому выучиваются? Это все равно, что учить (по книге), как вести себя на похоронах и как держать себя на свадьбе, как обращаться на балу и как разговаривать на званом обеде. Дайте молодому человеку прочесть несколько хороших исторических сочинений, познакомьте с хорошими авторами, между сочинениями которых есть и описание, и рассуждения, и

письма, и разговоры, — и он сам поймет, как что пишется. Но вы непременно хотите искажать естественное развитие, хотите знакомить ум детей с предметами, которые не поражали их чувства, — и удивляетесь, что из ваших учеников выходят автоматы, которые отлично хорошо знают как что пишется, а сами не умеют ничего написать и не в состоянии понять и оценить написанного другими. Г-н Кошанский, по обычаю всех риторов, от Василия Кирилловича Тредиаковского, профессора элоквенции, до риторов нашего времени, разделяет слог на высокий, средний и низкий и обстоятельно объясняет, какие сочинения каким слогом пишутся. Г. Кошанский забыл глубокомысленное выражение Бюффона: в слоге весь человек, — забыл, что, кроме небывалых высокого, среднего и низкого слогов, есть еще неисчислимое множество действительно существующих слогов: есть слог Ломоносова, есть слог Державина, слог Фонвизина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Грибоедова и пр. Он забыл, что слогов не три, а столько, сколько на свете даровитых писателей.

И потом: что за пустая манера разделять сочинения на роды по внешней форме и определять, к какому роду сочинений какой приличен слог? Вы были свидетелем наводнения, разрушившего город: в вашей воле описать его в форме письма или в форме простого рассказа. Слог вашего описания будет зависеть от характера впечатления, которое произвело на вас это событие. Как можно сказать, каким слогом должно вам написать письмо к вашему брату о смерти вашего отца? В наставлении о написании рассуждений г. Кошанский ввел логику: жаль, что не включил он в свою риторику ни географии, ни минералогии!.. Что за нелепости пишутся под именем «риторик»!

Всякая риторика есть наука вздорная, пустая, вредная, педантская, остаток варварских схоластических времен; все риторики, сколько мы не знаем их на русском языке, нелепы и пошлы; но риторика г. Кошанского перещеголяла их всех. И эта книга выходит уже девятым изданием! Сколько же невинного народа губила она собою!



ЧАСТНАЯ РИТОРИКА, Н. КОШАНСКОГО

Издание 6-е. СПб. 1845 г.

УМОЗРИТЕЛЬНЫЕ И ОПЫТНЫЕ ОСНОВАНИЯ СЛОВЕСНОСТИ

в 4 частях. Сочинение А. Глаголева. Издание 2-е. СПб. 1845⁵¹

Вот две книги — два ужаснейшие анахронизма, — книги, которые среди книг нашего времени то же, что был бы между людьми нашего времени человек в напудренном парике с пуклями до плеч, с кошельком на затылке, с корабликом на голове, в красном камзоле и голубом кафтане, в чулках до колен и башмаках с золотыми пряжками и высокими красными каблуками. Здравствуй, дедушка, привет тебе, выходец с того света, житель другого мира! Поговори с нами о твоём времени, в которое было сделано так много великого, сказано так много умного! Мы готовы тебя слушать! Твой народ нам не смешон, а только любопытен, и не смеяться, а учиться у тебя хотим мы. Мы так интересуемся твоим временем, с такой жадностью изучаем его в книгах. Но что книга! Твоя живая речь будет лучше всяких книг! Говори же! — Но что же ты такое заговорил? Ты рассказываешь нам не о себе самом, а о нас, не о твоём времени, а о нашем! Ты рассуждаешь о Пушкине, тогда как мы хотели услышать от тебя о Сумарокове и Хераскове, о Державине и Богдановиче! Ты уверяешь нас, что и Петров великий лирик, и Пушкин отличный поэт... А мы ожидали, что ты с восторгом будешь говорить о Державине и ничего хорошего не найдешь в Пушкине, если б мы, твои правнуки, вздумали тебе читать его. Но ты так же не сын того времени, как и не сын нашего, ты междоумок, недоросль из словесников, педант, который равно не понимает ни того, ни нашего времени. Ты надел напудренный парик и накрыл его корабликом потому только, что эти вещи остались тебе по наследству еще от дедушки; истаскав их, ты нарядишься по-нашему — ведь тебе все равно! Поди же прочь с твоим болтаньем — мы не хотим тратить времени на разговор с тобой!..

Такое или почти такое чувство возбуждают в читателе две книги, заглавие которых выписано в начале этой статьи.

О риторике г. Кошанского нечего и говорить: вот уже в шестой раз является она учить писать так, как никто теперь не пишет, учит тому, чему нельзя выучиться из книг. Она верна своей роли — придавать способности несчастных, обзанных твердо знать все пустяки, все вздоры, все нелепости, из которых она сшита. Честь и слава ее постоянству! Беда и горе тем, которые учат и учатся по ней! Смех и потеха тем, которые читают ее для развлечения, по охоте прочесть иногда что-нибудь курьезное, добродушно-нелепое, искренно-пошлое! Вот другое дело — книжица г. Глаголева⁵²: она еще только в другой раз (?) является в свет... Но если и так, — зачем вышла она теперь на белый свет из мрака серых погребов? Уж не за тем ли, чтоб ей снова было доказано, что ее место там, в подвалах? Если так, мы готовы послужить ей этим.

Прежде всего, любопытно происхождение на свет этой книжицы. Сам сочинитель говорит, что «этот ученый (?) труд выходит из круга его настоящих занятий и родился у него случайно». Московский университет обнародовал, в начале 1831 г. программу о конкурсе для занятия кафедры красноречия, стихотворства и языка русского. «Трудность предложенных в программе задач (говорит г. Глаголев) возбудила во мне особенное любопытство: я старался разгадать их решение, и, углубляясь в соображения, не приметным образом составил в уме нечто целое, имевшее систематическую последовательность». Признаемся, несмотря на уверение самого сочинителя, мы в его книге не заметили ни малейших следов чего-либо похожего на систему или последовательность. И не мудрено. Что за наука словесность? Ее выдумали педанты, школяры, которые стихотворство смешивают с поэзией, а красноречие считают искусством, в смысле художества, творчества, и ораторов, следовательно, почитают артистами, художниками, творцами. Г-н Глаголев под словесностью, как наукой, понимает грамматику, риторику и пиитику: так думали люди только во времена варварской схоластики, рабски подражая во всем древним, которых они не понимали. Но подобные предрассудки не стоят опровержения, и потому лучше представим читателям самые курьезные диковинки из книжицы г. Глаголева.

На 5-й странице предисловия г. Глаголев приводит следующий пример римского красноречия:

«В ноны месяца октября (,) в преддверии храма Беллоны (,) Марций и Спурий Постумий, консулы, в присутствии сената слушали предложение Клавдия, Валерия и Минуция о празднествах бахусовых (следуют пункты предложения). В заключение приказали: объявить о сем

всенародно в продолжение трех нундин. Если кто поступит вопреки вышесказанному, того предавать суду уголовному; а для всенародного сведения вырезать СИЕ постановление на медной доске и выставить ОНОЕ во всех публичных местах».

Итак, вот что разумеет г. Глаголев под словом красноречие?.. Но погодите смеяться, самое забавное впереди. Вот оно:

«В наших деловых бумагах кроется все древнее красноречие со всеми его видами: судебным, совещательным и описательным; различие состоит лишь в том, что древние декламировали свои речи в собраниях народных или в сенате, а у нас секретари читают свои записки в присутствиях, начальники отделения перед министрами, обер-секретари в сенате и т. д.».

В примечании, между предисловием и вступлением, Шишков, автор Рассуждения о Старом и Новом Слове, красноречиво произведен г. Глаголевым в «Катоны нашей грамматики»; на 72 стр. второй части о нем же г. Глаголев выразился не только красноречиво, но и очень грамотно, так: Ученые Известия Российской Академии, коей он есть президентом» и пр. На 30 и 31 страницах четвертой части г. Глаголев утверждает, что «появление Риторик г. Рижского, которая в первый раз издана в свет в 1796 году, составило новую эпоху в истории русской литературы, по части теории красноречия», и что «Правила Словесности г. профессора Толмачева также заслуживают внимания». На странице 40, г. Глаголев говорит: «По части учебной достойны уважения труды: «Тредьяковского, Ломоносова, Соколова, Борна, Рижского, Никольского, Талызина, Левитского, Кошанского(?), Остолопова, Могилевского, Балига, Плаксина(?)». Всем сестрам по серьгам! В самом деле, из всех наших схоластов, учивших в школе писать так, как никто не пишет в свете, самые замечательные, бесспорно, суть гг. Тредьяковский, Рижский, Толмачов, Кошанский, Плаксин и — Глаголев... На стр. 53, г. Глаголев говорит, что: «Шишков украсил периодами лучшие из своих сочинений в высшем дипломатическом роде». Вообще, г. Глаголев большой поборник мерной и плавной периодической речи на манер древних, столь несвойственной духу новейших языков, и большой враг так называемой «отрывистой», или лучше сказать, естественной речи, столь свойственной духу новейших языков: все схоласты крепко держатся этого

мнения, и искусственный, надутый слог похвальных речей Ломоносова считают за образцовый...

Но забудем слог и вкус схоластического «словесника» и заметим только, что его книга является теперь в том самом виде, в каком вышла в начале 30-гг., когда забытые теперь Повести Белкина (Пушкина) были свежей новостью, когда Гоголь издал только еще свои Вечера на Хуторе близ Диканьки, а повести Марлинского считались гениальными произведениями. Неужели же с тех пор ничего не изменилось в литературных понятиях и взглядах? И что такое история какой бы то ни было литературы, прерывающаяся слишком за десять лет до минуты, в которую она выходит из типографии? Не следовало ли бы г. Глаголеву поправить и пополнить свою книгу, выдавая ее в свет в другой раз, через десять слишком лет после ее первого издания? Хотя для схоластов нет прогресса, и время ничто не изменяет в их фразах, которые они, зазубрив раз в школе, твердят всю жизнь свою, однако же тут есть и другая причина: вторым изданием чуть ли не напечатан только заглавный листок залежавшейся в подвалах книги г. Глаголева, самая же книга вовсе не перепечатывалась вторым изданием...



НАЧЕРТАНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ УЧИЛИЩ

Сочинение профессора Погодина. Москва. 1835⁵³

Наша литература особенно бедна учебными книгами: истина не новая, даже очень старая; но мы все-таки повторяем ее, хотя некоторые и почитают это излишним и несправедливым в настоящее время, когда, по их мнению, множество вновь появившихся книг, в этом роде, доказывают противное. Не хотим спорить об этом: у всякого свой взгляд на вещи, а на наши глаза множество ничего не доказывает. Итак наша литература очень бедна учебными книгами, и преимущественно, по части истории. Причина этого заключается сколько в трудности составления хорошей учебной книги, столько и в ложном понятии, какое вообще имеют у нас касательно этого предмета. О, сердце обливается кровью при мысли о бестолковом учебнике и варваре-педагоге, общими силами убивающих юные таланты и из детей с человеческим организмом делающих идиотов... Да и чего хорошего можно ожидать от наших учебных книг, когда истинные ученые презирают заниматься их составлением и когда их делают шарлатаны и невежды?.. Много ли у нас учебных книг, скрепленных именем профессора или известного ученого? А за эти книги не должны браться даже ученые по ремеслу: самый разительный пример этого есть «Учебная Книга Русской Словесности», г. Греча — этот сборник устарелых правил и дурных примеров, скорее способных убить чувство вкуса и склонность к изящному, чем развить их. Таких примеров много...

Г. Погодин⁵⁴ предпринял вознаградить недостаток учебных книг по части отечественной истории. Нельзя выразить того восхищения, с каким мы узнали об этом намерении, того нетерпения, с каким мы ожидали появления этой книги, за прекрасное исполнение которой ручалось имя г. Погодина. Но при всем нашем уважении к г. Погодину, как к человеку и писателю, мы поставляем себе непрременным долгом сказать во всеуслышание, что никогда не испытывали мы такого жестокого разочарования, никогда не

обманивались так ужасно в своих надеждах и ожиданиях... Мы едва верили глазам своим. Эта книга решительно недостойна имени своего автора, от которого публики всегда была вправе ожидать чего-нибудь дельного и даже прекрасного. Одно ее разделение на периоды, неосновательность которого уже доказана г. Скроненком,⁵⁵ ясно показывает, что она составлена слишком на скорую руку. Представьте себе: события до Петра Великого занимают 249 страниц — сколько же, вы думаете, занимают события от вступления Петра Великого до смерти Александра Благословенного? — Страниц, по крайней мере, пять сот, если не ты ся ч у? — Нет — всего навсего 64 страницы!! Мы слишком далеки от того, чтоб думать, что г. Погодин не был в состоянии написать не только порядочной, но и хорошей учебной книги; мы скорее готовы подумать, что он не хотел этого сделать, и что причина совершенной неудовлетворительности его сочинения заключается в крайней невнимательности и поспешности, с какою оно составлялось. Это доказывает все: и отсутствие хронологии, без которой учебная книжка есть фантом или образ без лица, и параграфы в несколько страниц без перерыву, и самый язык, неправильный и необработанный, общие места и неопределенность в выражениях, это доказывает, например, и следующее место: «Датский принц Иоанн, брат Христиана, был вызван в Россию в женихи Ксении, после раздора с Густавом, воевать с Турками и изгнать их из Европы, не оставляя Бориса».

Много, очень много можно было сказать о недостатках истории г. Погодина; но для этого слишком тесны пределы простой библиографической статейки. Нам обещана целая критика, которая и будет помещена в одном из номеров Телескопа. Мы вполне уверены, что г. Погодин увидит в этом подробном отчете об его книге, равно как и в нашем отзыве, то же беспристрастие, ту же благонамеченность, ту же любовь к истине и желание общего добра, которые руководили им в его отзывах, например, об исторических трудах г. Полевого и прочих...



РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Сочинения Николая Полевого. Часть I, Москва. 1835 ⁵⁹.

Это половина нового труда благонамеренного и неутомимого деятеля на поприще русского просвещения, Н. А. Полевого. ⁵⁷ Этим сочинением совершенно пополняется важный недостаток в нашей литературе: теперь юным поколениям беспредельной России есть средство, играючи, изучать отечественную историю и, следовательно, с пользою и удовольствием занимать свои детские досуги. Книга г. Полевого, как этого и должно было ожидать, написана просто, умно, без излишних подробностей и без сухой сжатости, хорошим языком; события расположены ясно, расставлены в перспективе, облегчающей память, переданы с живостью и увлекательностью. Прибавим еще, что это сочинение годится не для одних малолетних детей: оно будет полезно и для взрослых и даже старых детей, которых у нас еще так много. Его прочтет с пользою и купец и барин; в него заглянет и студент, готовящийся к репетиции. Необычайно дешевая цена делает ее доступною для всех и каждого: четыре тома, состоящие почти из ста печатных листов, стоят двенадцать рублей.

Конечно, история г. Полевого, при многих достоинствах, имеет и недостатки, особенно первая часть; вторая, можно сказать, превосходна; думаем, что интерес и увлекательность в последних двух превзойдут всякое ожидание. Так как это есть труд важный по своей цели и своему назначению, примечательный по своему исполнению, труд честный и добросовестный, а не дюжинная плотническая работа, наскоро произведенная топором и скобелюю, с целью зашибить деньги; то мы вменяем себе в обязанность, поговорить об нем подробнее, в одном из ближайших номеров Телескопа. Теперь же ограничиваемся простым библиографическим известием, что две вышедшие части состоят из десяти рассказов, заключающих в себе события от первоначальных времен нашей истории до принятия Иоанном Грозным Царского титула, и составляют тридцать шесть печатных листов. Третья часть уже поступила в печать, четвертая будет печататься тотчас вслед за третьей.

УЧЕБНАЯ КНИГА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

(Для юношества). Сочинение профессора И. Кайданова. Древняя история. От сотворения мира и происхождения первых государств до переселения народов и падения Западной Римской империи. СПб. 1834⁵⁸

В предисловии к этой книге г. Сочинитель говорит: «Просвещенные читатели сей книги заметят, что, составляя Древнюю историю, я рассматривал многие (почему же не все?) предметы, входящие в состав ее, совсем с другой точки зрения, нежели с каковой я смотрел на них лет за пятнадцать перед сим, и вообще изложил Древнюю историю в другом, против прежнего, виде». То же самое объявила и «Северная Пчела» при известии о выходе этой книги, уведомляя своих читателей, что г. Кайданов⁵⁹ представляет в своем новом труде результаты успехов, сделанных наукою в продолжение последних пятнадцати лет. Признаюсь, как выписанные мною строки из предисловия почтенного автора, так и объявления «Северной Пчелы» поразили умы многих читателей глубоким удивлением. Что за чудо такое совершилось в наше время, думали мы. Мы имели полное право не доверять «Пчеле», в глазах которой все предметы книжного петербургского мира представляются в увеличительном виде; но удостоверение самого автора, которого скромность всем известна, сделало нас поневоле суеверными. Но прочтя определение истории, как науки, и первую страницу введения, мы тотчас увидели, что это чудо очень естественно и обыкновенно. Правда, в этой книге много перемен и улучшений, словом, много нового; но это новое ново только для одного автора и не носит на себе никаких признаков успехов науки. Из этого читатели не должны однако заключать, что г. Кайданов хотел умышленно придать своей книге больше цены для лучшего ее сбыта, как то делают многие, которых мы не называем. Нет: он также скромнен и добросовестен, как был всегда: он, может быть, многих читателей ввел в заблуждение, но это потому, что сам находится в заблуждении. Разбирать его книгу настоящим образом

невозможно, ибо подробный разбор вышел бы больше самой книги. Итак, ограничусь легкими заметками.

«История есть описание великой, долговременной жизни рода человеческого. По сему предметом ее суть деяния и судьбы людей». — Так определяет в 1835 г. историю г. Кайданов, определявши ее в 1817, 24 и 32 годах «повествованием о достопамятных явлениях в мире». Повидимому, это есть значительный шаг вперед для автора, но в самом деле это не иное что, как круговое движение мельничного колеса, которое беспрестанно вертится, а вперед ни на шаг. Что такое «описание великой, долговременной жизни рода человеческого?» Набор слов — с грамматическим смыслом. «Предмет истории суть деяния и судьбы людей». Это есть предмет Биографии; предмет истории не люди, а человечество. Пора бы удостовериться г. Кайданову, что история есть картина успехов человечества на поприще самосовершенствования, или, другими словами: «наука, показывающая, каким образом и вследствие каких причин жизнь человечества, развивавшаяся под формою политических обществ, явилась в том виде, в каком теперь находится». Это определение не ново, да благо уж готово. В наше время можно иметь на историю взгляд еще высший; но иметь на нее взгляд низший, значит совершенно не понимать ее...

Итак, в чем же состоит усовершенствование истории г. Кайданова? О! во многом, если хотите! Он уже начинает не с Ассирии, а с Индии и Китая, говорит о кастах, и объясняет учение браминов, хотя и не правильно, ибо в индийском пантеизме видит одну веру в переселение душ — не больше; причисляет Семирамиду к мифам! Вообще справедливость требует заметить, что теперь у него меньше лишних и пустых подробностей о сомнительных или неважных событиях, и больше дела. Доказательством этого может служить одно уже то, что ассирияне, вавилоняне и египтяне занимают у него теперь несравненно меньшее число страниц, чем в прежних изданиях. Потом, он изменил совершенно план своей истории, ибо вместо прежнего Гееренова⁶⁰ этнографического изложения принял изложение синхронистическое. По моему мнению последнее лучше, ибо в древней истории есть свои точки отдохновения, или, лучше сказать, точки соединения, в которых древние народы сливались, хотя и насильственно, в одно общее целое. Таковые точки суть Кир, Александр и Пунические войны.

Этот способ изложения очень удобен для преподавания, хотя, может быть, изолированная жизнь древних народов и противоречит ему. Синхронистическая картина жизни народов в каждом принятом периоде скорее всего может впечатлеться в памяти ученика. Г. Кайданов разделил древнюю историю на 4 периода; первый, как само собою разумеется, от сотворения мира до Кира; второй — от Кира до Александра; третий — от Александра до превращения Римской республики в Империю; четвертый — от Августа до падения Рима. Мне кажется, что эпохою четвертого периода надо полагать Пунические войны, а не Империю, ибо в древней истории было три, так сказать мгновения, в которых человечество соединялось воедино посредством меча. Оно явилось огромною монархией при Кире, потом при Александре; Пунические войны положили основание третьей монархии, ибо римляне со второй Пунической войны оставили свою оборонительную систему войны и начали быстро обращать мир в Рим, и с тех пор все народы начали, как реки в море, исчезать в римском народе, и с тех пор история Рима есть история мира.

Я уже показал, что взгляд г. Кайданова на дела и события несколько не переменялся. Приведу еще несколько доказательств. Хотя он уже и не осуждает Сарданапала за самоубийство — этот ужасный проступок, воспрещаемый всеми божескими и человеческими законами, но все еще начинает историю не с появления на свете первых политических обществ, все еще упускает из виду, что человек вне общественной жизни отнюдь не составляет предмета истории и что не для чего вводить в историю вещей, не принадлежащих истории. Он говорит, что народы, первоначально поселившиеся в Греции, были до того дики и невежественны, что «и тот имеет право на благодарность их, кто научил их строить хижины, питаться жолудями (а прежде они, бедняжки, совсем не умели есть? если же умели, то разве жолуди слишком лакомое блюдо, что за них г. Кайданов обязывает греков благодарностью первому гастроному, научившему их питаться ими?), одеваться в звериные кожи и употреблять в свою пользу огонь». Но вслед за этим говорит, что «в гражданском отношении Греция разделялась на множество мелких частей, из коих каждая состояла под властью особенного начальника». — Как? Общество волков разделялось на области и имело начальников? Впрочем, почему же и не так: ведь пчелы имеют же начальника в своей матке? Но и то сказать пчелы все цивилизованнее волков.

«Сии начальники греков часто (однако ж не всегда) были предводителями бродяг и разбойников и сами подавали пример грабежей». — Разбойником можно назвать того, кто разбойничает, зная, что это ремесло предосудительное; волков мужики убивают за разбой в стадах овечьих, но не представляют их в земский суд для допроса и суда. — «Объявление и опийство считали (начальники греков) геройством и величием». — Да чем же они, однако, объедались? Неужели жолудями? А опийство? Так стало быть они и вино попивали? — «Жены и дочери их умели только пасти стада, мыть белье и готовить грубую пищу». — Как? Так они щеголяли не в одних звериных кожах? Они носили белье? Воля ваша, г. автор, а вы противоречите самому себе. «И готовить грубую пищу». — Из чего же? неужели все из жолудей? Как бы то ни было, а поваренное искусство всегда признак цивилизации! — «Кекропс... из Аттических дикарей сделал граждан». — Творец небесный! Да возможное ли это дело! Кекропс — один одинехонек — сумел из нескольких десятков, а может быть и сотен тысяч диких зверей сделать граждан!.. Экие молодцы были в древности, не то, что нынче! Исполать их досужеству! Таким же чудесным образом Нума-Помпилий у г. Кайданова из римлян, бывших настоящими mauvais sujet сделал людей comme il faut. «Тщеславие, свойственное языческим народам, — вести свое происхождение от богов и пр.» — А я все думал, что причина этой охоты скрывается не в тщеславии, а в склонности к мифам, свойственной не языческим, а всем младенствующим народам... Но довольно, я никогда не кончил бы, если бы вздумал продолжать... На каждую страницу г. Кайданова можно написать другую. Закрываю однако: как ни плоха новая книга г. Кайданова, но если кому уже суждено учиться истории по книгам г. Кайданова, то я советую ему учиться по этой, изданной в 1834 г...

Замечу еще о слоге. Он дурен до крайности, и дурен не от неумения писать, а от какого-то странного понятия о слоге. Г. Кайданов любит мешать с русскими словами славяно-церковные, любит: сей, оный, поелику, которых по справедливости не любит почтенный Барон Брамбеус. Я, конечно, не так ожесточен против этих слов, как вышпереченный муж, и даже почитаю необходимым их употребление в иных случаях, для большей ясности в слоге, особенно, когда дело идет о предметах догматиче-

ских, ученых; но я против их употребления без всякой нужды. Конечно, в наше время никто не скажет подобно знаменитому Жоффруа: «Мессияда, поема г. Клопштока!» *Pi donc* г. Клопшток! какое варварское имя! может ли иметь хоть каплю ума господин, который называется Клопштоком?» Но многие могут сказать: «Может ли написать хорошую книгу человек, который пишет сие мое сочинение...», «сей книги... совсем с другой точки зрения: нежели с каковой... источником таких жалоб есть незнание истории... посему предметом ее суть деяния и судьбы людей?»...

Книга г. Кайданова особенно изобилует полонизмами, образцы которых читатели могут видеть в последних двух фразах.



РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Сочинения Николая Полевого, часть I. Москва. 1835 ⁶¹

Третья часть «Русской истории» г. Полевого превзошла все наши ожидания. Это уже не просто учение для детей, это уже книга для всех. Автор оставил, или, лучше сказать, сбился с тона детского рассказчика на тон повествователя, историка. Но оставивши тон детского рассказчика, который, правду сказать, и в первых двух томах состоял только в одних обращениях к «любезным читателям», он продолжает свое прекрасное сочинение в каком-то общедоступном и всех удовлетворяющем тоне. Его рассказ отличается изящностью и стройностью, представляет собою правильную, симметрически расположенную галерею мастерских картин, проникнут одушевлением, полон мысли и, вместе с этим, отличается такою простотою изложения, что, удовлетворяя самого взыскательного ученого, доступен и для детей и для простолюдинов. Тесные пределы, назначенные себе автором, не только не повредили достоинству его сочинения, но еще были одною из главных причин, способствовавших возвышению этого достоинства. Мы имеем на счет этого свои понятия: мы убеждены, что один из главнейших недостатков «Истории Российского Государства» Карамзина заключается в том, что она, объемля собою события, не простиравшиеся даже до избрания Михаила, состоит из двенадцати, а не из трех, или много-много четырех томов. В самом деле, к чему служит слишком подробное изложение событий, эта свалка, этот своз и важных, и пустых фактов? Не вредит ли это и общности событий, которые должны врезываться в памяти мастерским изложением и уловляться одним взглядом? Не вредит ли это и смыслу событий, который у историка выражается в идеях? Покажите нам характер исторического лица так, чтобы оно рисовалось в нашем воображении, проходило перед нашими глазами со всеми оттенками своей индивидуальности; уловите идею события и выразите ее не рассуждениями и разглагольствованиями, а изложением события так, чтобы идея сама невольно бросалась, так сказать, в глаза читателя; представьте нам все фазы жизни народа, все ее переходы и из-

менения, оттените и очертите их: вот долг историка. Для всего этого не нужно многотомных изложений фактов: все это виднее и яснее в сжатом, сосредоточенном рассказе. Разбираемое нами сочинение служит самым лучшим подтверждением справедливости нашего мнения. Оно полно и обширно во всем смысле этого слова; его первая часть могла бы быть гораздо короче, не к ущербу, а к усугублению своего достоинства. Оно совершенно удовлетворяет те требования, которые мы полагаем в основу достоинства исторического сочинения. Характеры действующих в ней изображены удивительно. По недостатку положительных и фактических сведений, мы не можем ни верить их сказаниям летописей, ни ручаться за их историческую верность; но можем смело уверить наших читателей, что эти характеры не образы без лиц, не мертвые тени, а живые создания, которые вы видите перед собою, которые имеют для вас не только смысл и душу, но и тело, но и образ определенный и типический... Из исторических характеров с особенным искусством изображены: Василий Шуйский, Скопин-Шуйский, Ляпунов, Минин, Авраамий Палицин, потом слабый Михаил, искусный Филарет, Алексей и, наконец, патриарх Никон — это доселе совершенно новое лицо нашей истории, в том смысле, что мы еще не видели его ни в какой прагматической истории. Все эпохи и почти все важные события показаны более или менее, а иные и совершенно в новом свете; так, например, в особенности царствование Алексея Михайловича.

Нам кажется, что г. Полевой ошибся в объеме своего сочинения: первая часть его слишком велика, слишком несоответственна с стройностью целого; вторая и третья — отличаются совершенною соответственностью друг другу и удивительною перспективностью событий; но какова же должна быть, в этом отношении, последняя, т. е. четвертая часть, которая должна вместить в себе события от царствования Федора Алексеевича до наших дней?.. Если она числом листов будет равна третьей*, то будет казаться, в сравнении с предыдущими, как-то перечнем событий, приложенным в виде дополнения. Мы уверены, что почтенный автор сам сознает свою ошибку и при втором издании, которое, без сомнения, скоро будет потребовано публикою, исправит его и вместо четырех томов подарит нас, по крайней мере, шестью. Тогда мы будем иметь историю, настоящую и удовлетворительную...

* Которая состоит из двадцати одного листа. В. Б.

КРАТКОЕ НАЧЕРТАНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ,

сочиненное заслуженным профессором Иваном Кайдановым.

Девятое (!) значительно исправленное издание. СПб. 1839⁶²

Ба! старые знакомые! Добро пожаловать!.. Как давно уже мы не видались! Право, чуть ли не с того незабвенного времени, когда наизусть учили к сроку красноречивые страницы г. Кайданова... Настоящая встреча тем приятнее, что ничего не изменилось с тех пор, несмотря на девятое издание и «значительные исправления»!.. А между тем прекрасная книга: прочтите каких-нибудь 127 страниц крупной печати, в 8-ю д. л., включая сюда и алфавитный список собственных имен, встречаемых в книге, и оглавление, и узнаете, как свои пять пальцев, всю историю человечества от сотворения мира до 3 ноября 1818 года. Дальше этого года г. Кайданову почему-то не заблагорассуждается вести своих «маленьких» читателей и почитателей; но и то не шутка, что находится в книге. Например, вы можете с достоверностью узнать, что такое «история»? Слушайте, мы откроем вам это: «История есть описание происшествий, случившихся в свете и касающихся до людей, или вообще до рода человеческого». В свете случилось следующее происшествие: Г-н N получил чин титулярного советника и вступил в законное супружество с девицею такою-то, дочерью бедных, но благородных родителей. Вот вам исторический факт... Не знаем, найдете ли вы его в какой-нибудь «Всеобщей истории», но уверяем вас, что он «случился в свете и касается до людей». Человеческий род — неопределенное выражение; мы думаем, что под ним должно разуметь большую и значительнейшую по образованию часть человеческого рода. В парижском свете вышел новый номер „journal des Debats“ и вышел новый водевиль Скриба. Первый прочелся всею Европою, всею Америкою (в Северо-Американских Штатах и других юных государствах, основанных европейцами), частью Азии (в индийско-британских владениях), всею Африкою (Мегметом-Али и в алжир-

ско-французских владениях), и частью Океании (в английских владениях, городе Сиднее и др.); второй, т. е. водевиль Скриба, прочтен и разыгран на всех театрах Европы, в Алжире, в Калькутте, в Америке, а может быть, и в Австралии. Это опять исторический факт. Не знаем, найдете ли вы его в какой-нибудь «Всеобщей истории», но уверяем вас, что он «случился в свете и касается вообще до рода человеческого». Кроме этого, из книги г. Кайданова вы, в две минуты, можете узнать, например, историю России в царствование Петра Великого, кратко, но удовлетворительно и резко очерченную. Прочтите это место.

С нетерпением ожидаем выхода десятого издания сей полезной книжки г. Кайданова.



РУКОВОДСТВО К ПОЗНАНИЮ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ДЛЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

сочиненное С. Смарагдовым, учителем истории и географии при
Сиротском институте Императорского Гатчинского воспитательного
дома. СПБ. 1840⁶³

Вот книга, заслуживающая полного внимания публики, утомленной эфемерными явлениями нашей литературы. Это почти первый учебник истории, составленный добросовестно, отчетливо, умно, с знанием дела. При составлении его г. Смарагдов руководствовался совершенно справедливою мыслью, что в середине между школьным изучением голых фактов, простых цифр и имен и высшим исследованием путей человечества при свете религии и философии должно быть посредствующее изучение, которое должно рассматривать факты «уже не элементарным способом, т. е. не в несвязных рассказах и биографиях, а в последовательной связи, прагматически; ознакомиться более или менее с самими источниками истории, дабы в университетах не останавливаться при затверживании фактов и дабы быть в состоянии понимать ученые выводы и высшие взгляды на судьбу народов».

Автор очень счастливо осуществил руководившую его мысль и составил очень дельный учебник для средних классов. Смело можем сказать, что труд г. Смарагдова превосходит все, с такою же целью составленные у нас учебники истории. Повествование полно, но не теряется в подробностях, и стройно; во всем видно зрелое соображение, отсутствие всяких рассуждений и сентенций, восклицаний и ораторских выходов, — всего этого хлама, который так часто влачит за собою наша доморощенная Клио; везде дело говорит само за себя положительно и твердо, как и должно в учебнике; изложение, при необходимой краткости и сосредоточенности, очень ясно и неумолимо; факты состоят не в одних изысканиях и числах, не в одной номенклатуре событий, а в характеристике более или менее отчетливой быта и внутреннего устройства народов и естественных условий; в достаточных, основательных сведениях из древней географии. Сверх того, что также очень важно в учебнике и что так мало исполняется в наших, — везде, где нужно, указаны

источники и лучшие европейские сочинения, из которых можно почерпнуть основательнейшие сведения о повествуемом народе или событии. При изложении истории народов классических автор не только цитует, но и приводит из них целые выражения, для того, — говорит он сам, — чтобы приохотить молодых людей к чтению классиков и ознакомить их с образом мыслей древних. Хронология очень отчетлива и согласна с новейшими историческими исследованиями; к книге приложена подробная хронологическая таблица.

Автор руководствовался хорошими немецкими учебниками, хотя мы могли бы ему указать на лучшие из лучших, которыми он не пользовался: это — сочинения Лео (кроме, впрочем, учебника его новой истории) и Рема. Тогда бы история его получила, может быть, главное, чего недостает ей: единство созерцания. Хотя связь между событиями и соблюдена, по крайней мере, в истории Греции и Рима, но в ней не видно значения: она ничего не открывает. Вследствие этого не видно, как движется вперед человечество, в чем заключается его развитие; а предчувствие того великого содержания, которое заключается в всемирно-историческом прогрессе, должно бы необходимо быть результатом такого изучения. Цепь фактов, конечно, нигде не должна прерываться общими рассуждениями и взглядами, которые совершенно неуместны в учебнике: мы с этим первые согласны; но мы также требуем, чтобы незримая сущность всех фактов — их понятие было сознано более или менее определенно учителем и лежало бы в основании учебника; мы требуем, чтобы факты, следуя друг за другом, представляли органическое, полное значения целое. Требования эти нелегки, и очень немногие даже и из немецких учебников выполняют их; но тем не менее их выполнение необходимо для истинного и вместе дельного изучения истории.⁶⁴

Народы Востока толпятся у автора в странном беспорядке. Он начинает с египтян, основываясь на той мысли, что история должна начинаться «с такого народа и государства, устроение которого более других зависело от особенностей земли, т. е. которое является нам не произведением человеческого произвола, но необходимостью природы», и что будто «образование египтян было решительно следствием особенных качеств их земли». Какое тесное соображение! Во-первых, нет ни одного народа и государства, в которые не входили бы, как элемент, естественные условия; во-вторых, почему же Египет, более нежели другое государство, основывается на них? Главное то, что в этом отношении можно указать еще на Нил, которого разлитие оплодотворяло почву; но возможно ли вывести из этого обстоятельства

египетскую историю, дух Египта, его религию, это таинственное стремление к полному очеловечению в образе сфинкса, эту загадочность символов? Земля та же, и Нил так же протекает; но где древний, сумрачный Египет, с тайною думою на челе?.. Его нет, потому что ответ на вопрос, выразившийся в его существовании, был дан прекрасною Грециею, и загадка сфинкса была решена...

Но еще страннее покажется тем, которые могут быть *judees competans* в этом деле, что автор вовсе обошел и Китай и Индию, между тем как именно от них-то и должна начаться история. Китай есть колыбель — не говорим человеческого рода, что совсем другое, но — колыбель исторического духа. Имея своим назначением осуществить это начало, он и остался при нем без движения, в мертвой неподвижности. Это — государство в своем первоначальном, чисто естественном виде, в форме семейства. Здесь еще вовсе нет духовного самосознания, нет религии в истинном значении этого слова, и сознающая деятельность есть не более, как механическое составление и расставление внешних предметов. За ним должна следовать Индия, так же неподвижная, как и он, но уже высшая по своему началу. Это страна тревожного искания духа, беспокойного стремления выбиться из очарованного круга вещества, — страна чудовищной фантазии. Здесь еще нет никакого различия между теоретическим и практическим духом: все представляет чудный хаос, и история Индии не есть то, чем должна быть история, — свободным движением во времени. Только в народах передней Азии, которые по общему началу своему могут быть названы народами *зендскими*, а по преобладающему народу, который поглотил их и явился выразителем и представителем их сущности, *персидскими*, — только здесь возникает собственно-прогрессивное движение во времени, саморазличение духа (*Ормузд, Ариман*) и практическая, из воли вытекающая деятельность. Что, кроме собственно-зендского народа, — *ассирияне, вавилоняне, мидяне, персы*. Автор разбросал их так, что они проходят какими-то случайными явлениями в его «истории». После египтян рассматривает он *вавилонян, ассириян, евреев, финикиян, карфагенян*, потом *бактриан, мидян и персов*, а за сим уже Грецию.

История Греции и Рима, занимающая, как и должно быть, большую часть учебника, составлена очень хорошо и без всякого сравнения, как уже и было сказано, со всеми существующими у нас руководствами к преподаванию истории.



ИСТОРИЯ РОССИИ В РАССКАЗАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сочинение Александры Ишимовой. СПб. 1841⁶⁵

Едва успела выйти в свет последняя (шестая) часть «Истории России» г-жи Ишимовой⁶⁶, — как уже является второе издание всего сочинения. Причина такого успеха двоякая: у нас мало даже каких-нибудь, не только удовлетворительных историй России, доведенных до конца, а «История» г-жи Ишимовой доведена до смерти Александра Благословенного; потом рассказ г-жи Ишимовой до того картинен, жив, увлекателен, язык так прекрасен, что чтение ее истории есть истинное наслаждение — не для детей, которым чтение истории, какой бы то ни было, совершенно бесполезно, потому что для них в ней нет ничего интересного и доступного, — а для молодых, взрослых и даже старых людей. Говоря о «Русской истории для первоначального чтения» г. Полевого, мы уже замечали, что обращения автора к «милым маленьким читателям» только портят сочинение, которое хорошо само по себе. История не существует для «детей»: она возможна только для возникающего сознания, которому становится возможным отвлеченное представление о народе, государстве и человечестве, как идеальных личностях. Тем менее может быть интересна и понятна для детей частная история, чуждая общих элементов, с странными именами и действительностью, несколько не похожую на современную. И не у дитяти закружится голова от непроходимой чащи Ростиславов и Мстиславов, от междоусобных браней, чуждых общего значения...

Что касается до недостатков в «Истории» г-жи Ишимовой, их не может не быть довольно уже потому, что русская история совершенно не обработана фактически и не озарена светом истинного уразумения в своем значении и характере. Доселе у нас меряют ее не русским аршином, а европейским футом: оттого она остается для нас более загадкою, чем для иностранцев. Так, например, наши историки и знать не хотят об исторической перспективе, о которой первый заговорил на Руси г. Каченовский.

Для них первый период русской истории, от предполагаемого Рюрика до Ярослава, так же ясен, как период от Екатерины Великой до наших дней, — и они излагают его с такою же подробностью, как будто бы дело шло, например, о царствовании Александра Благословенного, как будто бы они сами жили во времена Рюриков, Олегов, Игорей и Святославов, и все бывшее в ту эпоху видели собственными глазами. От того у них эти полумифические тени, эти полуисторические призраки говорят, чувствуют и действуют то как Карл Великий, то как наши современники, а общественные отношения (в то время, когда едва был зародыш общества и совсем не было общества) представляются им столько же определенными и ясными, как последние известия в „*Journal des Debats*“. Удельную систему наши историки смешивают с феодальной, тогда как между первою и последнею гораздо меньше сходства, чем между готическою и китайскою архитектурою.

Вследствие всего этого у наших историков нет гармонии и соответственности между частями повествования. История России до Петра Великого у них всегда обширнее последующей истории до наших дней, тогда как история до Петра Великого должна относиться к истории этого величайшего монарха, как предисловие или введение в сочинение относится к самому сочинению. Первый период, до Ярослава, должен состоять в отрывочных, бессвязных известиях византийских историков и вообще в указаниях из чуждых источников; из туземных же свидетельств должны упоминаться только те, которые не противоречат иностранным и подтверждаются ими. Идея удельного периода русской истории должна быть не чем иным, как идеею расширения России во вне, — и только те факты должны быть изложены (да и то как можно короче), которые могут служить к уяснению этой идеи. Идея татарского периода России есть идея начала централизации России около Москвы, возникновения Московского государства, сплочения России через чувство общего бедствия, изменения народного характера в пользу азиатского элемента жизни. Четвертый период выражает собою усилие русского племени стать государством, укрепиться в определенных гражданских формах, мимо всякого движения идеи и органического развития. Царствование Петра есть начало русской истории, как государства, начало зиждательное, органическое, из которого должны произойти события веков, а, может быть, и тысячелетий...

Теперь мы должны сделать замечание о недостатке собственном «Истории» г-жи Ишимовой: это отсутствие коло-

рита, которым бы отличалось одно царствование от другого. По «Истории» г-жи Ишимовой царствование Анны Иоанновны ничем не ниже царствования Петра Великого, и характеры этих венценосцев равно велики; а царствование Елизаветы Петровны ничем не ниже царствования Екатерины Великой. Правда, г-жа Ишимова не только не говорит этого, но, напротив, осыпает особенными похвалами Петра и Екатерину; но непосредственное впечатление ее рассказа не дает чувствовать никакой разницы между упомянутыми монархами и монархинями.

Впрочем, несмотря на это, «История» г-жи Ишимовой — важное приобретение для русской литературы: так богато сочинение ее другими достоинствами, между которыми первое место занимает превосходный рассказ и прекрасный язык, обличающие руку твердую, опытность литературную, основательное изучение предмета, неутомимое трудолюбие. Рассказ есть одно из главнейших достоинств историка: мало того, чтоб верно излагать факты и события, надо, чтоб эти факты и события непосредственно запечатлевались в уме и воображении читателя, а глаза его видели не одни буквы, но и картины. В этом отношении г-жа Ишимова обладает необыкновенным талантом.

Второе издание книги г-жи Ишимовой вместо прежних шести частей вышло в трех, четко, опрятно и красиво отпечатанных, компактно (сжато): это большая выгода и для покупателей.



РУКОВОДСТВО К ПОЗНАНИЮ СРЕДНЕЙ ИСТОРИИ

для средних учебных заведений, сочиненное С. Смарагдовым,
учителем истории и географии при Сиротском институте Императорского
Гатчинского воспитательного дома. СПб. 1841 ⁶⁷

В 1840 г. вышло учебное руководство к древней истории для средних училищ, сочинение г-на Смарагова. Мы приняли за эту книгу с явным предубеждением не в ее пользу; но с первых же страниц были изумлены строгою отчетливостью в системе, наукообразным изложением, богатством истинно-исторического содержания и наконец духом новой жизни, веющим в этом учебном очерке истории древнего мира. Теперь вышла «Средняя история» г-на Смарагова, — мы приняли за нее уже с ожиданием чего-то хорошего, но нашли в ней еще больше, нежели сколько надеялись. Надо заметить, что для древней и новой истории наша учебная литература имела по крайней мере переделку, хотя и довольно жалкую, Геереновой истории г-м Кайдановым; для средней же истории на русском языке почти ничего не было. И потому заслуга г-на Смарагова была бы велика даже и тогда, если бы его «Средняя история» была относительно хороша; но это такое учебное руководство, каких немного и на немецком языке и каких едва ли можно найти на французском. Ясность, простота изложения, запечатлевающаяся в памяти искусная группировка и расположение событий, умение всему дать свое место, указать на существенное, остановиться на важнейшем и вскользь заметить о менее важном, современный взгляд на историю, дух жизни, которым оживляется сжатый рассказ, — вот достоинства истории г-на Смарагова. Нельзя удовлетворительнее и яснее расчистить дикую чащу средней истории, загроможденную таким множеством беспрестанно являющихся и исчезающих народов, таким множеством имен и лиц. Из истории г-на Смарагова ученик не только легко запомнит факты и события в частностях и подробностях, но и будет владеть стройною картиною полного и целого здания истории средних веков, будет знать причины, источник и последствия всех важнейших явлений — происхождение

ние римской иерархии, Западной (Римско-немецкой) империи, рыцарства, крестовых походов, тайных судилищ, аристократии, среднего сословия или городов, всего величественного здания феодальных монархий...

Учебная книга имеет свои особенности, отличающие ее от ученой книги: первая есть как бы конспект в отношении к последней. И потому без основательного изучения во время первой бесполезно чтение ученых сочинений исторических, равно как и художественных историй, частных или всеобщих. Можно знать много фактов и не знать, к чему их отнести, и в какой связи они с прочими, а это почти то же, что ничего не знать. И потому одно из главнейших достоинств учебника — краткость при полноте. Вот почему г. Смарагдов многие факты совсем пропускает, только упоминая о них, как уже об известных. Так, например, у него часто встречаются отрывистые фразы, вроде следующих: «Гроб Аттилы», «Рассказ о железной короне лонгобардских королей», «Рассказ об убиении Гуссейна, второго сына Алиева», «Его (Гаруна-аль-Рашида) сношения с Карлом Великим», «Ученый Scotous Erigena, друг Альфреда», «Истребление волков в Англии в царствование Альфреда» и т. п.

Касательно недостатков мы укажем только на неполноту очерка характера германцев. А здесь автору мог бы дать богатые материалы Тацит. Характеристика галлов, сделанная Юлием-Цезарем и приведенная автором кстати, могла бы служить превосходным объяснением тайны духа нынешнего французского народа. Мы здесь требуем от автора не лишнего, не того, что он сам превосходно сделал в отношении к норманнам. Вот его краткий, но схватывающий сущность дела очерк характера норманнов:

«Как в пустыне Аравии, так в глубоком скандинавском севере образ жизни и мыслей народов совершенно зависит от природы. Борьба с холодной природою, скудные дары которой приобретаются только с величайшим трудом, дает в Скандинавии человеку характер настойчивый и своенравный: суровый, как ледяные горы и дремучие леса, мрачный, как темные пропасти, его окружающие, неукротимый, как бушующее море, дробящееся о берега его родины, он не знает препон, которые бы могли остановить волю его, презирает опасностями и гордится именем берсеркера, т. е. одержимого бешенством храбрости. Вот сын скандинавский с одной стороны! С другой стороны, принужденный в зиму и непогоду проводить жизнь в бездействии среди семейства, скандинав сокращал длинные досуги любовью и рассказом: посему любовь и поэзия, конечно, дикая и иступленная, суть также неотъемлемые стихии его характера».

После такого очерка характера норманнов ученику памятна будет роль, которую играло это племя в европейской истории средних веков и потом в позднейшее время, явившись в Германии с своим рыцарственным королем, благо-

родным Густавом-Адольфом, защитой и оплотом протестантизма против иезуитского католицизма...

Еще одно замечание: в предисловии к своей средней истории г. Смарагдов, между прочим, говорит: «В одном журнале* меня упрекали за то, что я совершенно выпустил из виду историю Китая и Индии. Признаю справедливость этого упрека: действительно, можно б было наговорить много как о Китае, так и об Индии. Но спрашивается: какое влияние история Китая обнаружила на историческое человечество: решено ли то, что китайцы древнейший народ в мире, что государство их представляет собою первообраз гражданского общества? — Отвечается: Решено, что китайцы осуществили не первообраз государства, а момент государственной жизни прежде других народов. Какой народ древнейший в мире — это вопрос пустой и неразрешимый; но что китайцы первое (по времени) государство в мире, — это ясно из их государственного устройства, возникшего и оцепеневшего в состоянии оцепенелости. В сравнении с государственным и общественным устройством китайцев, все другие азиатские народы — дикие и нестройные орды, разумеется, исключая Японию, которая не без основания почитается выродившеюся китайскою колониею. Китайская государственность, если можно так выразиться, явно есть первый момент государства, а в этом отношении самый церемониал и церемонность тамошняя имеет глубокое значение. Азия есть страна начинания, так же как Европа — страна развития и повершения. На азиатской почве возникли все начатки всемирной истории, но с тем, чтобы и остаться начатками, оцепенеть. О китайской истории многого сказать нельзя; но дело совсем не в истории, а в гражданском и общественном устройстве этой дивной страны. Китай требует себе места в истории не по войнам и династиям, а по своей идее первого государства в мире. Касательно этого г. Смарагдову ничего не нужно было бы наговаривать, а стоило бы только заглянуть в «Философию истории» Гегеля: тогда бы он знал, что сказать о Китае и об Индии, да и обо многом другом, о чем он не сказал в своей «Древней истории».

Радуюсь за русские средние учебные заведения: у них теперь есть руководство к истории, лучше какого пока и требовать нельзя. Желательно, чтобы г. Смарагдов скорее издал новую историю и тем навсегда освободил наше несчастное юношество от безобразных и бессмысленных компиляций, представив им руководство, отличающееся европейскими достоинствами.

* Т. е. в „Отечественных записках“ 1840 года. В. Б.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА И СОДЕРЖАНИЯ НОВОЙ ИСТОРИИ

Книга первая (История средних веков), Ивана Шульгина.

Издание третье, исправленное и умноженное. СПб. 1845

ИЗОБРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА И СОДЕРЖАНИЯ НОВОЙ ИСТОРИИ

Книга вторая (История трех последних веков), Ивана Шульгина.

Издание четвертое, исправленное и умноженное. СПб. 1845⁶⁸

Это сочинение вышло первым изданием в 1837 г., — и вот еще не прошло десяти лет, как первая часть его выходит уже третьим, а вторая — четвертым изданием. Это не просто успех, но — что гораздо лучше и выше — совершенно заслуженный успех. Сочинение г. Шульгина⁶⁹ — единственное в своем роде. Отличие его от обыкновенных исторических учебников состоит в том, что оно не столько излагает, сколько обозревает факты истории, освещая их светом философских воззрений. Другими словами: в его изложении не столько важны факты, сколько их значение. И эта задача выполнена автором больше, чем удовлетворительно, по крайней мере, в первой части. Возникновение элементов средневековой жизни — ленного владения, феодализма, рыцарства, крестовых походов, городских общин, их развитие, необходимость и польза, их борьба между собою, — все это представляет у г. Шульгина картину живую, яркую, верную, легко впечатлевающуюся в уме, а следовательно, и в памяти. И все это развито у него систематически, со строгой последовательностью, для чего он и начал свою книгу изложением духа и характера умиравшего древнего общества в Европе, и потом духа и характера тевтонских племен, вступивших в борьбу с древним миром, — в борьбу, из элементов которой сложилось существование нового европейского мира. Что касается до второй части, — о ней можно было бы сказать многое, но как нам не позволяет сделать этого время и место, — то скажем о ней только, что если после нее не явится третьей части, то изображение характера и содержания новой истории останется без конца.

В одном можем упрекнуть мы автора истории средних веков — в небрежности языка и слога и в ненужном употреблении разных обветшалых слов.

РУКОВОДСТВО К ПОЗНАНИЮ НОВОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

сочиненное С. Смарагдовым, адъюнкт-профессором императорского
Александровского лицея. СПб. 1844⁷⁰

Хотя один ученый и справедливо упрекнул среднюю историю г. Смарагова в значительных недостатках и даже промахах, тем не менее в нашей литературе она имеет полное право на снисходительное внимание, особенно, если сообразить, что средняя история и в самой Европе менее разработана и приведена в стройный вид, чем древняя и новая. По всему этому мы с особенным нетерпением ожидали выхода «Новой истории»...

В жизни каждого человека бывает эпоха непосредственной восприимчивости идей, и бывает эпоха, когда принятие новых идей или дальнейшее развитие старых возможно только на основании трудов первой эпохи. Слишком немногие способны, достигши возмужалости, понять истины самые простые и доступные в лета детства и юности, посвященные учению. Это оттого, что детство принимает на веру непосредственно те идеи, которые сначала кажутся отвлеченными, а потом, в более зрелом возрасте, получают характер осязаемой действительности, поверяются и развиваются сознанием. Кто учился истории в эпоху первой молодости, тот сперва непосредственно принимает в себя созерцание народа или человечества, как идеальной личности. Для человека же, который начинает мыслить и учиться в эпоху возмужалости, подобные идеи иногда даются с большим напряжением ума, и часто совсем не даются: ибо ум, не развитый учением и не сделавшийся от того гибким в лета детства и юношества, делается грубым и неспособным для принятия отвлеченных понятий; ему бывает доступно только материальным образом ясное и определенное. Но эта-то самая гибкость и нежная впечатлительность юных умов, которая так способствует быстрой и легкой восприимчивости идей и на которой основывается возможность усвоения содержания науки — истины, она же бывает и причиною

огрубления способностей и бессилия постигать истину. Это зависит от того, какие истины впервые коснутся юного мозга и каким образом будут они ему переданы. Отсюда выходит великая важность всякого учебника, а следовательно, и исторического.

Исторический учебник, вопреки общепринятому ложному мнению, отнюдь не должен быть чужд всяких рассуждений, предложенных от лица автора. Дело в том, чтоб эти рассуждения были уместны и заключали в себе столько же мыслей, сколько и слов. Они должны быть выразительны без многословия, сжаты без темноты, красноречивы без изысканности, сильны без напыщенности. Их цель должна быть — приучение молодого ума рассуждать без резонерства, мыслить без сухости и вникать не только в смысл, но и в поэзию великих мировых событий. Но еще большее умение автора исторического учебника должно состоять в том живом и вместе простом изложении событий, которое говорит прямо уму и фантазии и потому без труда удерживается памятью. Этого нельзя достигнуть иначе, как проводя живую мысль через всю нить событий, в отношении к целому построению учебника, и оживив мыслью каждое особое событие. Лица, играющие роль в событиях, не должны быть только историческими именами, но и историческими идеями; каждое из них должно быть показано и со стороны его собственной мысли, во имя которой оно действовало, и в отношении к общей идее народа, среди которого оно являлось, так, чтоб ученик понимал, что такое лицо, как, например, Аلكивиад, возможно было только в Афинах, и такое, как, например, Марий, — только в Риме, хотя оба эти лица были столько же друзьями, сколько и врагами своего отечества. Хороший исторический учебник не одними толкованиями (хотя и они необходимы в нем), но и самым тоном своего изложения должен прежде всего и больше всего научить ученика — в каждом народе, отдельно взятом, и в целом человечестве видеть не статистические числа, не искусственные машины, не отвлеченные идеи, но живые организмы, идеальные личности, живущие вечным, непрерывным стремлением к сознанию самих себя. Без этого созерцания народа и человечества, как идеальных личностей, не возможна история, как наука, ибо тогда она была бы наукою без содержания, повествованием без героя, сбором событий без связи и смысла. Понятие о прогрессе, как источнике и цели исторического движения, производящего и рождающего события, должно быть прямым и непосредственным выводом из воззрения на народ и человечество, как на идеальные личности. Но это движение и результат его — прогресс —

должны быть определены и охарактеризованы как можно глубже и многостороннее. Есть люди, которые под прогрессом понимают только сознательное движение, производимое благородными деятелями, и, как скоро на сцене истории не видят таких деятелей, сейчас приходят в отчаяние, и их живая вера в провидение уступает место признанию враждебного рока, слепой случайности, дикого произвола. Такие люди во всяком материальном движении видят упадок и гниение общества, унижение человеческого достоинства, преклонившего колена перед тельцом златым и жертвенником Ваала. Есть другие люди, которые, напротив, думают, что общий прогресс может быть результатом только частных выгод, корыстного расчета и эгоистической деятельности нескольких сословий на счет массы общества и вследствие этого хлопочут из всех сил о фабриках, мануфактурах, торговле, железных дорогах, машинах, об основании обществ на акциях и тому подобных на сущных и полезных предметах. Такие люди всякую высокую мысль, всякое великодушное чувство, всякое благородное деяние считают дон-кихотством, мечтательностью, бесполезным брожением ума, потому что все это не дает процентов. Очевидно, это две крайности, которых больше всего должен опасаться составитель курса истории для преподавания юношеству. Первая крайность производит пустых идеалистов, высокопарных мечтателей, которые умны только в бесплодных теориях и чужды всякого практического такта. Вторая крайность производит сциентифических спекулянтов и торговцев, ограниченных и пошлых утилитаристов. Для избежания этих крайностей исторический учебник должен показать общество, как предмет многосторонний, организм многосложный, который состоит из души и тела и в котором, следовательно, нравственная сторона должна быть тесно слита с практической, и интересы духовные — с выгодами материальными. Общество тогда опирается на прочном основании, когда оно живет высокими верованиями — источником великих движений и великих деяний; в верованиях скрываются идеи; через распространение и обобщение идей общества двигаются вперед. Но идеи не летают по воздуху; они расходятся по мере успехов коммуникации между обществами, а коммуникации требуют путей материальных. Отсюда великое нравственное значение, например, железных дорог, кроме их великого материального значения, как средства к усилению материального благосостояния обществ. Историк должен показать, что исходный пункт нравственного совершенства есть прежде всего материальная потребность, и что материальная нужда есть великий рычаг нрав-

ственной деятельности. Если б человек не нуждался в пище, в одежде, в жилище, в удобствах жизни, — он навсегда остался бы в животном состоянии. Этой истины может пугаться только детское чувство или пошлый идеализм. Но эта истина не поведет ума дельного к разочарованию; дельный ум увидит в ней только доказательство того, что дух не гнушается никакими путями и побеждает матерню ее же собственным содействием, ее же собственными средствами. И потому в истории являются необходимыми не одни герои добра и сердечного убеждения, но и честолюбивые эгоисты и даже самые злодеи; не одни Солоны, Аристиды и Тимолеоны, но и Пизистраты, Алкивиады, Филиппы и Александры Македонские; не одни Альфреды и Карлы Великие, но и Людовики XI и Фердинанды-Католики; не одни Генрихи IV и Петры Великие, но и Наполеоны. И все они равно работали одному и тому же духу человеческому, только одни сознательно, действуя для него и во имя его, а другие бессознательно, действуя для себя самих, во имя своего я. И нигде, ни в чем не видно так ясно присутствия миродержавных судеб божьих, как в этом равномерном служении духу и добрых, и эгоистов, и злых, в котором скептики видят неопровержимое доказательство, что человечеством правит слепой случай: ибо где же было бы обеспечение прогресса, порука за высокую цель, к которой стремится человечество, если бы судьба народа или человечества зависела только от явления честолюбивых личностей, подверженных и смерти и всем случайностям? Напротив, так как источник прогресса есть сам же дух человеческий, который непрерывно живет, т. е. беспрерывно движется, то прогресс не прерывается даже в эпохи гниения и смерти обществ, ибо это гниение необходимо, как приготовление почвы для цвета новой жизни, и самая смерть в истории, как и в природе, есть только возродительница новой жизни. Развращение нравов в Западной Римской империи, достигшее до крайних пределов, возвестило конец древнего мира и приуготовило торжество новой веры, под сень которой склонилось все, жаждавшее обновления и возрождения, — и Рим, столица языческого мира, сделался столицей христианского мира. Великие исторические личности суть только орудия в руках духа: их воля при них, но она, без ведома их, ограничена духом времени, страны и потребностями настоящей минуты и не выходит из этого магического круга. Когда же она прорывается через этот круг и расходится с высшею волею, тогда перед глазами изумленного человечества повторяется священное сказание о древнем Израиле, который охромел в борьбе с неведомым борцом... Самовольно отторгшаяся воля чело-

века от воли Духа сокрушается, как лист, падающий с дерева, действует ли она во благо или во зло. Еще и теперь живы поколения, свидетели падения сына судьбы, который, совершив свою миссию, не внял призыванию духа — и пал от бури, им самим воздвигнутой, пал не в слабости, не в истощении, не в утомлении, но в полноте сил своих, в зените своего могущества, — и его падением мир столько же был изумлен, сколько и он сам: так ясно видна была недоступная для телесных очей, но понятная разуму невидимая рука, поразившая его... Бывают в истории эпохи, когда, кажется, готова погаснуть в обществах последняя искра живительной идеи, когда над миром царят ничтожество и эгоизм, когда, кажется, уже нет более спасения, — но тут-то и близко оно, — и готовая потухнуть слабая искра жизни вдруг вспыхивает морем пламени, — и осиянный ею мир дивится, откуда явилось его спасение...

Все эти идеи тем легче развить в историческом учебнике, что он весь состоит из фактов, которые не иное что, как проявление этих же самых идей. Следовательно, стоит только изложить их с настоящей точки зрения, чтоб идея говорила сама за себя. Мы должны сказать с сожалением, что новая история г. Смарагова далеко не удовлетворяет требованиям хорошего учебника по нашему воззрению.

Прежде всего скажем, что самый объем ее не обнаруживает в авторе современного взгляда на новую историю. Как все наши авторы исторических учебников, не исключая и г. Кайданова, г. Смарагов разделяет новую историю на три периода — религиозный, меркантильный и революционный. Это разделение он имеет полное право считать основательным, с своей точки зрения; но мы удивляемся, как не заметил он, что в этом разделении новая история, если ее изложить сообразно с важностью и многосложностью фактов, является человечком с маленькими ножками и огромнейшею головою, или, если последний период изложить кратко, кое-как, то уродцем с хвостиком вместо головы. Дело в том, что последний период совсем не принадлежит к новой истории, которая должна обнимать собою только время от конца XV в., или от открытия Америки, до конца XVIII в., или до французской революции, которая начинает собою новейшую историю, так же тесно относящуюся к новой, как новая — к средней. Ибо деление истории на периоды должно основываться не на произволе автора, не на привычке, а на духе событий. Справедливость нашего мнения доказывается тем, что если б г. Смарагов события от французской революции продолжал излагать в тех же размерах, т. е. с тою же подробностью,

как и предшествовавшие события, то его книга вместо 611 страниц непременно должна была бы выйти разве в 1200 страниц. Но он события от революции изложил кое-как, сделал из них какой-то сухой перечень, в котором для незнающего истории из лучших источников, нежели история г. Смараглова, все темно, непонятно, сбивчиво, беспорядочно; оттого вся новая история и уместилась у него в одной книге: чтоб вписать ее в эту книгу, он срезал с нее голову, присадив на ее место набалдашник.

История человечества составляется из многих сторон, это есть вместе история и войн, и договоров, и финансов, и администрации, и права, и торговли, и изображений, и наук, и искусств, и литературы, и нравов, но как политическое значение составляет главную форму жизни гражданских обществ, и как борьба всех идей, составляющих основание духовной жизни общества, доселе обнаружилась в войнах, то история человечества по преимуществу должна быть политической. Однако ж история войн, договоров и правительств должна быть, в этом случае, только рамою для исторического повествования, — рамою, обнимающей все стороны жизни народов и все идеи, развившиеся в их жизни. Но г. Смарагдов пошел в этом отношении по избитой колее, и только слегка обозначая причины войн, все свое внимание обращает на самые войны, т. е. на мало интересные перечни сражений. Так, например, он довольно подробно рассказывает все войны, порожденные мечтою о политическом равновесии Европы, и весьма неудовлетворительно излагает картину реформации. На мечту о политическом равновесии Европы он смотрит, как на что-то важное по своему принципу и своим результатам; а между тем, это было не более, как мечта, державшая государства Европы в беспрерывном напряжении их сил. Лучшее доказательство в том, что результатом целого ряда кровопролитных войн за равновесие вышло совершенное неравновесие, и что первостепенные державы, каковы, например, Испания и Швеция, низошли на разряд второстепенных, а второстепенные, как Англия и Пруссия, возвысились на степень первостепенных. Нарушение равновесия видели не в успехах промышленности, торговли, просвещения, а в расширении владений, тогда как оно-то самое и было причиною расслабления внешним образом усиливавшегося государства: ибо соединение под одну власть разнородных и часто враждебных друг другу земель только умножало издержки на содержание войск в приобретенной стране и не давало вознаграждение никаких существенных выгод, не говоря уже о том, что вовлекало в кровопролитные войны с зави-

стливыми чуждыми государствами. Франция сделалась при Людовике XIV первенствующим государством Европы не через завоевания, а через торжество монархизма над феодализмом, торжество, приготовленное кардиналом Ришелье, — и все войны, возженные честолюбием Людовика XIV и стоившие Франции ужаснейшего истощения, не могли низвести это государство в разряд второстепенных держав, ибо оно уже успело укрепиться изнутри, и не было слабее других государств ни в позорные времена регентства, ни в жалкое правление Людовика XV, а при Наполеоне снова явилось сильнейшею державою в Европе; да и теперь, лишившись всех приобретений, сделанных Наполеоном, Франция едва ли слабее любого из европейских государств. Англия возвысилась тоже не завоеванием, а развитием внутренних своих сил, упрочением политического своего устройства и эгоистическою политикою, выходившею прямо из ее национального характера. Величие Пруссии основалось на принципе протестантизма, принятого ею за принцип ее политической жизни, тогда как католическое начало сгубило Испанию своим угнетающим преобладанием над всеми другими элементами государственной жизни. Швеция своим мгновенным величием при Густаве Адольфе, Карле X и Карле XII обязана была не внутренним своим силам, а личному характеру этих трех государей. Только одна Австрия сложилась силою внешних тяготений и утвердилась на искусственных основаниях, благодаря, во-первых, раздроблению Германии, во-вторых, своему значению, как тени империи Карла Великого, и, наконец, миссии — быть оплотом против вторжения турков. Во всяком случае, из странной игры в войны за политическое равновесие только Австрия извлекла для себя выгоды. Вообще же эти войны выходили, во-первых, из детских понятий о политике, во-вторых, из честолюбия тогдашних властителей Европы. Это сначала было какою-то борьбою еще не совсем умершего рыцарства с неустановившеюся новою политикою (войны Карла VIII, Людовика XII и Франциска I с Испаниею и Австриею за Милан и Неаполь), а потом усилием выработать систему здоровой политики. Народам Европы нужно было перегореть в горниле кровавых столкновений друг с другом, и в этом случае всякая причина была хороша; но для равновесия не вышло из этих войн никаких результатов, потому что гегемония со стороны какого бы то ни было государства была решительно не возможна. Г-н Смарагдов в войнах Франциска I с Карлом V видит характер величественный и благодарный, видит борьбу за независимость Европы против габсбургского дома, а не продолжение итальянских войн (стр. 36); но уже одного

личного характера Франциска I достаточно для решительного опровержения этого мнения. Франциск I был рыцарь, а не политик; если он и достиг каких-нибудь хороших результатов для общей пользы Европы, то совершенно бесосновательно и стремясь совсем к другим целям. Вообще, до Генриха IV в Европе не являлось ни одного истинно-государственного ума, ни одного политика в настоящем значении этого слова. Но политика Генриха IV, благотворная для Франции, не могла быть благотворною для Европы, потому что для своего времени она была слишком высока, благородна и человечна. По обширным планам, исполненным гениального соображения и верного такта возможности и действительности, первым истинно-великим политиком Европы был кардинал Ришелье. Работая для своего времени, он работал для веков; он нанес ужасный и последний удар феодализму и заставил его вырождаться в бессильную аристократию, трепетавшую потом одного взора Людовика XIV. Войны за равновесие были не больше, как историческою комедиею, особенно до реформации, которая придала им другой, более важный характер. Но реформация явилась не в один же день с Лютером; она приготовлялась столетиями, и начало ее скрывается в средних веках. За столет до появления Лютера был сожжен Иоанн Гусс и его сподвижник Иероним Прагский. Но и не тут еще начало ересей: в XII в., за двести с лишком лет до Иоанна Гусса, с тою же целью основал свое учение Петр Вальдо, — учение, произведшее альбигойские войны. Реформа Лютера была не чем иным, как удавшаяся, наконец (потому что пришло уже время), попытка дела, которое не удалось ни Вальдо, ни Гуссу. Но время итальянских войн, от 1494 до 1517 г. было же занято не одними походами французов в Италию, интригами пап и противодействием Испании: под этими внешними событиями, которые вообще мало интересны, и которых влияние на последующие события несколько не заметно, скрывалась другая работа духа, менее заметная внешним образом, потому что была менее блестящею, но зато более существенною и великою по ее значению и следствиям. Изобретение книгопечатания, приготовившее успех реформации, быстро распространялось и дало возможность избранным умам действовать на массы. Явление Лютера, протестовавшего 95-ю тезисами против продажи индульгенций, 1517 г., октября 31, предшествовалось глухою, но тем не менее сильною и драматическою борьбою, которой реформация была только развязкою. Притом это событие совершенно было Лютером не без помощи других замечательных людей. Начало реформации современно великому нравственному собы-

тию в жизни Европы — возрождению наук. По взятии турками Константинополя (1453), множество византийцев оставили свое отечество и нашли убежище в Италии; они принесли с собою сокровища древних литератур в эту страну, издавна уже знакомую с латинскою литературою. Это обстоятельство дало сильный толчок просвещению Европы: классическая ученость вступила в бой с схоластиком средних веков. Германия, главное гнездо этого схоластицизма, в лице своих университетов, фанатически ополчилась на дух нового движения. Профессоры греческого языка и латинского языка были преследуемы, как еретики и безбожники. Они бегали из города в город, гибли от меча и яда. Несмотря на это, дух совершал свое дело, — и дикое невежество уступало ему шаг за шагом. Энтузиазм новой науки до того овладел новым поколением, что молодые люди — одни, не будучи в состоянии платить профессорам, поступали к ним в слуги, другие, презирая надзор полиции, не боясь холода, собирались по ночам в каком-нибудь отдаленном поле или лесу, чтоб объяснять Цицерона, переводить Гомера. Университеты ожесточаются; у папы выманивается булла, запрещающая учиться еврейскому языку и читать еврейские книги; знаменитый и благородный ученый того времени, Рейхлин, едва не попадает на костер за свое знание древних и еврейского языков. Тогда является остроумный памфлет фон-Гуттена „*Litterae Obscurorum Virorum*“*, в котором дикое невежество и фанатизм с ядовитым искусством поражаются собственным их оружием. Это упрочило торжество просвещения в Европе. Гердер сказал, что ни Гудибрас в Англии, ни Гаргантюа во Франции, ни дон-Кихот в Испании не имели столь сильного влияния на совершенствование человечества, как письма Гуттена, сокрушившие последнюю ограду варварства, — схоластиком коллегий. Мы думаем, что подвиги и заслуги даже таких людей, каковы: Конрад Цельт, Герман Буший, Иоган Регий, Эстикампиан, Гегий — учитель Эразма Роттердамского, Дринагенберг, образователь Меланхтона, Агрикола и другие, стоили бы почетного упоминования в историческом учебнике, хотя они и не полководцы. И еще более такие люди, как Рейхлин, Эразм Роттердамский, Гуттен: их значение, их борьба на жизнь и на смерть с варварством и их победы над ним стоили бы в историческом учебнике изложения более обширного, нежели какое сделали мы в этих строках; ибо во всем этом тысячу раз более интереса и важности, чем в пустых подробностях пустых итальянских войн. Но

* Письма темных людей.

обо всем этом у г. Смарагдова ни слова: он описывает только то, что было уже описано г. Кайдановым. Мы не говорим, чтоб итальянские войны должно было пройти молчанием: нет, рама политических событий пусть остается рамою и сжато излагается в параграфах крупной печати, но события, ознаменованные внутренним смыслом, события, без которых не понятно движение человечества, пусть излагаются подробнее в параграфах мелкой печати. Г-н Смарагдов не почел за нужное даже прибегнуть к этому необходимому в учебной книге разнообразию шрифтов.

Вообще, в новой истории г. Смарагдова мы находим, например, историю тридцатилетней войны, вестфальского мира и так далее — все то же и все так же, как и у г. Кайданова: ни больше, ни меньше, ни лучше, ни хуже; но не находим развития человечества, причины прогресса и даже самого прогресса. Герои истории, как, например, Валленштейн, Густав-Адольф, Ришелье и пр., очерчены слабо и бесцветно. Нам скажут: учебник не то, что пространная история; в нем главное — сущность и дело, а не поэзия. Старые песни, которые убедительны только для лениости, невежества и бесталанности!..

Обыкновенно говорят, что конец венчает дело, а конец-то никуда и не годится у г. Смарагдова.

История Наполеона у него — решительный памфлет. Можно подумать, что г. Смарагдов рассказывает современные события, для которых невозможно спокойное беспристрастие. Поступки Наполеона он называет то дерзкими, то наглыми, то отвратительными — словом, решительно ругается... В египетской экспедиции он приписывает Наполеону бесчеловечные поступки; короче, по его мнению, такого ужасного человека, как Наполеон, и свет не производил... „Sie transit gloria mundi“*. А говоря о смерти герцога Брауншвейгского, он заставляет его оканчивать долговременное поприще славы, вероятно, приобретенной в знаменитом походе против Франции, в 1792 г... „Et voila comme on écrit l'histoire“**.

Новая история г. Смарагдова полнее всех бывших до нее историй; она доведена до 1839 г. Это было бы большою с ее стороны заслугою, если бы чем ближе к концу, тем больше не становилась она сухим перечнем, из которого ничего нельзя узнать. Надеемся, что при втором издании своей «Новой истории» г. Смарагдов значительно ее исправит. Мы думаем, что он еще бы лучше сделал, если б эту уничтожил совсем и написал совершенно новую...

* Так проходит земная слава.

** Вот как пишется история.

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Изданная по руководству г-на статского советника и кавалера
И. А. Гейма, 9-е издание. Москва. 1835 ⁷¹

Эта крохотная книжечка принадлежит к числу тех жалких спекуляций и неудачных компиляций, о которых не следовало бы и упоминать, если бы они не были в высочайшей степени вредны. Мы не будем подкреплять своего мнения неуместными доказательствами, мы не будем осыпать наших читателей собственными именами и утомлять сухую ученостью; так как дело очень ясно и коротко, но мы опираемся на их здравый смысл и спрашиваем их: можно ли в книжонке, состоящей из шести печатных листов, поместить описание целого земного шара, рассматриваемого в трех обширных значениях? География есть по преимуществу наука обширная; краткость ее изложения всего скорее делает ее недоступною для изучения, сообщая ей характер сухости, темноты и сбивчивости. Напротив, чем в обширнейшем объеме излагается она, тем делается занимательнее, живее, интереснее, понятнее и, следовательно, доступнее для изучения. Господин компилятор начинает, как водится, дурным определением географии, из которого не выводится разделения науки на три части; на пяти листиках излагает математическую, физическую географию и, сверх того, введение в политическую; говорит, что «круглота земли доказывается неодинаковым временем восхождения и захождения солнца, лунными затмениями, морскими путешествиями и возвышением и понижением полярной звезды», не объясняя ни одним словом этих доказательств и забывая еще об одном, т. е. различности звезд, видимых жителями северного полушария и их антиподами; потом вычисляет земные круги, тоже ни одним словом не объясняя их значения. В политическом описании России подробно распространяется о системе водных сообщений, что может иметь место только в обширной географии, состоящей, по крайней мере, из ста листов, и по необходимости опускает важные предметы. Ну, господа защитники всего, что делается в нашей литературе,

как прикажете журналисту поступать с такими явлениями книжного мира? Молчать о них? Но это было бы подло, потому что учебная книга не роман, и если дурно составлена, то делает вреда не меньше чумы или холеры. Говорить о ней правду, но коротко и вежливо, — невозможно, потому что кровь невольно кипит, а вежливый тон не будет понятен ни для компиляторов, ни для покупателей. Браниться? Но это унизительно для рецензента и противно приличию. Что ж остается делать? Решите сами, а я, между тем, замечу вам еще об одном обстоятельстве, так общем и обыкновенном в нашей современной литературе. Благодаря просвещенным усилиям правительства и духу времени, у нас проходит уже наглое невежество, гордящееся своим безобразием; жажда к просвещению заметна во всех классах, и поэтому учебные книги сделались самым выгодным товаром для книжных производителей. Как же пользуются эти производители этим направлением общества? Какие употребляют они средства удовлетворить его настоящей потребности? Они сокращают и искажают учебные сочинения старинных авторов: оно и лучше, ведь умерший автор не будет требовать удовлетворения из гроба за нанесенное ему оскорбление! Обыкновенно они выбирают такое сочинение, которое было когда-то в славе, и уродуют его. В то время, когда иностранные журналы беспрестанно представляют результаты новейших путешествий, когда многие находят не вполне удовлетворительными и не слишком обширными творения Бальби и Мальте-Брёпа, наши компиляторы довольствуются господином статским советником и кавалером И. А. Геймом⁷²...



ГЕОГРАФИЯ

Составленная Александром Чертковым. СПб. 1845⁷³

Превеселая география! Чтоб ученикам не скучно было учиться по ней, она то пренаивно любезничает с ними, то пренаивно смешит их. Потеха начинается с предисловия, а предисловие начинается так:

«Сочинитель издаваемой географии первым долгом считает объявить в своем предисловии (,) как о необходимости издания географии, так и о плане самого сочинения.

Издание географии возможно: ибо всякий, желающий издать в свет географию, имеет собственный взгляд, свое уменье расположить предметы науки, большие или меньшие силы (,) чтобы воспользоваться материалами, наконец (,) имеет свою цель (,) т. е. приношение (чего?) к известному возрасту учащихся и к самому месту воспитания.

Издание географии, в которой выполнены все эти условия, необходимо: потому что учащийся, пользуясь такою книгою, может иметь полное понятие о предмете сей науки».

Справедливо, все справедливо, хотя и безграмотно! Так справедливо и так всем известно, что сочинителю не из чего было хлопотать о доказательствах, что зимою холодно, а летом тепло.

«Изложив, как сумел, возможность и необходимость издания географии, сочинитель вместе с тем полагает необходимым ответить на те вопросы, кои предложит ему критика, лишь только в свет появится его сочинение, вопросы для него казавшиеся важными, как бы по понятию его те вопросительные пункты, от коих никогда не может отказаться ответчик-подсудимый.

Вопросы эти следующие:

Зачем кто-то, вовсе неизвестный, осмелился печатать географию?

Разве нет у нас географии?

Что нового в состоянии он сказать?

Не есть ли сочинение его повторенная выписка из книг, прежде изданных?

Не для спекуляции ли мнимо-ученый, подобрав в свои руки несколько географических сочинений, вписал в одну книгу понескольку строк и страниц, то из одного, то из другого?».

По мнению г. Черткова⁷⁴ некоторые из этих вопросов — не лишние, и он не обиделся бы, если бы их ему предло-

жили. Верим ему на слово; но не верим, чтобы где-нибудь могла существовать нелепая критика, способная предлагать сочинителям такие нелепые вопросы. Почему кто-то, во все неизвестный, не имеет права издать своего сочинения? Да и какой автор, самый знаменитый и славный, не был кем-то во все неизвестным до издания в свет своего первого сочинения? Если бы писать имели право только известные авторы, то скоро перевелись бы все известные и даже неизвестные сочинители. Но г. Чертков всего этого вовсе не знает, и потому вновь предлагает глубокомысленный вопрос: «Справедливо ли некоторые говорят, будто неизвестные люди не должны писать?» — и не менее глубокомысленно, красноречивым слогом, решает этот вопрос в пользу неизвестных людей. Советуем всем, кому попадет в руки «География» г. Черткова, прочесть вполне предисловие к ней, если они любят наивно-забавное.

«География» г. Черткова написана по самому нелепому плану. Так, например: география математическая у него следует за политической географией Европы для того, чтоб дети, проходя последнюю, успели в то же время выучиться геометрии, без которой, действительно, невозможно основательное знание математической географии. Но для этого, не лучше ли начинать вообще преподавание географии не прежде, как учащиеся на столько узнают геометрию, сколько нужно это для изучения математической географии? Политическая география Европы изложена у г. Черткова не по государствам, а бог знает как. Сперва он излагает границы государств, потом говорит о религии, правительстве, постановлениях, потом о городах и т. д. Только географию России излагает он отдельно. Одним словом, новых затей много, а толку ни на волос! А сколько ненужных и совершенно лишних разглагольствий! так, например во введении, сочинитель рассуждает о пользе от наук вообще, а потом о пользе от географии. Между прочим, очень хорошо доказывает он, что география наука; «мы из нее (я) научаемся многому, чего прежде не знали». Из этого следует, что книжка Правила игры в преферанс есть тоже наука, потому что мы из нее научаемся многому, чего прежде не знали?..

География г. Черткова написана слогом неясным, неточным, неправильным, а красноречивым. Не красноречиво ли, например, это:

«Напиши учебную книгу, отличную во всем (,) и притом так, чтоб она не отстала от века, в котором ты живешь, чтоб предметы науки были расположены с выгодой для памяти учащихся и их ума; — и поверь мне, что сочинение твое смело может

из-под пера явиться в Т (т) ипографию: оно не будет краснеть за себя, не побоятся критиков — и сии последние, в какой мере не были строги, признают достоинство рассмотренной ими книги.

Хорошо, сладко пишет г. Чертков! Жаль только, что это красноречие, столь пленительное в романах гг. Бранта и Кузмичева, не совсем прилично для географии...

«Век Елизаветы и Екатерины произвел двух мужей — гениев: один обессмертил имя свое во всех родах поэзии и прозы, другой остался известен, как великий поэт» (стр. 167).

Какая великолепная фигура удержания, или умолчания! Увлечшись красноречием, г. Чертков не почел за нужное назвать по имени двух мужей — гениев, думая, что ученики его хорошо знают их и без его географии. Впрочем, можно догадываться, что он говорит о Ломоносове и Державине, не зная того, что первый теперь знаменит как реформатор языка и литературы и ученый, а совсем не как поэт.

«Вскоре явились Дмитриевы, Крыловы, Жуковские, Пушкины и другие: самые даже художники совершенно преобразовались — явился Брюлов, а с ним новая слава для искусств» (стр. 168). Удивительно!

Описывая Москву, г. Чертков наговорил, впрочем, от полноты души, вот какие фразы:

«Путешественник (,) при въезде в Москву через Тверскую заставу, встречает картину природы (?) и искусства: перед ним верхи домов; куполы церквей и шпицы седых башен, кои там чернеют, тут белют и горят огнем. С Поклонной горы прекрасно видна сия панорама; здесь (на Поклонной горе) много серебра и всяких редкостей, — живописные дачи купаются в зелени садов, облегающих Москву, как рамой, — строения слились (с чем?) узорными крышами; колосс древний и обелиск — великий Иван (обелиск?) с золотую головою довершает картину» (стр. 182, 183).

Хороша вот и эта фраза, только уже не по красноречивости своей, а по грамотности: «Со времен Иоанна Грозного(,) Архангельск ведет торговлю с Англией, когда бурей прибит был А(а)нглин(и й)ский корабль(,) под начальством К(к)апитана Ченслера» (стр. 174). Г. Чертков, вероятно, хотел выразиться так: «Со времен Иоанна Грозного, когда к устью Двины бурей прибит был английский корабль, под начальством Ченслера, — Архангельск ведет торговлю с Англиею».



КАРТИНА ЗЕМЛИ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ,

составленная А. Ф. Постельсом, с литографированным большим
рисунком. СПб. 1846 ⁷⁵

Наглядность признана теперь всеми единодушно самым необходимым и могущественным помощником при учении. Она состоит в том, чтобы помогать памяти и уму ребенка представлением вида и образа предметов, которые он изучает. Это материальное и чувственное вспомогательное средство для спасения бедных детей от убийственного подавляющего способности, сухого и мертвого отвлечения, столь любимого идеалистами. Вся сущность прекрасной методики г. Язвинского состоит в клеточках, которые сами по себе не много значат, но помогают памяти и уму как чувственные значки, остающиеся как бы перед глазами учащегося даже и тогда, как он уже их не видит. Эта великая важность наглядности основана на самой природе человека, у которого самые отвлеченные умственные представления все-таки суть не иное что, как результат деятельности мозговых органов, которым присущи известные способности и качества. Давно уже сами философы согласились, что «ничего не может быть в уме, что прежде не было в чувствах»! Гегель, признавая справедливость этого положения, прибавил: «кроме самого ума». Но эта прибавка едва ли не подозрительна как порождение трансцендентального идеализма. Человек не прямо же, не чистым мышлением дошел до сознания, что у него есть ум, а заметил это прежде всего из собственных действий, в которых отразился его ум, но которые он опять-таки только через чувства сознал своим умом. Всякий, даже простой человек знает, что у него ум в голове, — знает это по причине, может быть, более простой и естественной, нежели как обыкновенно думают. Человек в порыве горячих, страстных чувств невольно прижимает руку к груди и сердцу, куда сильнее приливает кровь при движениях чувств. Когда же чело-

век о чем-нибудь размышляет, сильно занят каким-нибудь соображением, особенно расчислением, — палец его как будто невольно то и дело прилагается ко лбу, а рука невольно от времени до времени потирает лоб. Явление простое, но многознаменательное! Во время процесса мысли человек как будто чувствует, что тут гнездо его мыслительной деятельности, что там тоже происходит какое-то беспокойство, которое обнаруживается и в его озабоченных движениях, что там как будто что-то шевелится...

Посмотрите, как жадны дети к картинкам! Они готовы прочесть самый сухой и скучный текст, лишь бы только он объяснил им содержание картинки. И потому картинки все более и более делаются пособием при воспитании и учении. Г. Постельс справедливо замечает, что дети, не выезжавшие из такого места, где нет гор или моря, с большим трудом заучивают эти предметы в географии против детей, видевших эти предметы в натуре. Для этого он и издал свою *Картину Земли*, на которой изображены моря, заливы, проливы, озера, реки, острова, гавани, бухты, горы, леса, города, крепости, корабли и т. д. Труд его прекрасный и полезный, но не полный. Для полноты карта должна быть непременно иллюминирована, чтобы можно было показать разные геологические различия: горные кряжи, слои, породы, пласты, мрамор, металлы и тому подобные предметы, где цвет иногда важнее формы. Но при всем том труд Г. Постельса все-таки полезен, и мы должны быть благодарны ему за доброе начало доброго дела, которое, вероятно, найдет продолжателей.



**О ДЕТСКОМ
И ЮНОШЕСКОМ
ЧТЕНИИ**



МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

Сочинение Ксенофонта Полевого. 1836⁷⁶

... Между Ломоносовым и Петром большое сходство: тот и другой положил начало великому делу, которое потом пошло другим путем, другим образом, но которое не пошло бы без них. Дать ход идее, пробудить жизнь в автомате — великое дело, на которое мало здравого смысла, мало ума, мало таланта, на которое нужен гений, а гений есть олицетворение, проявление идеи целого человечества, целого народа в лице одного человека. Гений не есть, как сказал Бюффон, терпение в высочайшей степени, потому что терпение есть добродетель посредственности, бездарности; но он есть сильная воля, которая все побеждает, все преодолевает, которая не может погнуться, не может отступить, хоть и может переломиться, пасть, но в таком случае она уже не переживает себя. Да — сила воли есть один из главных признаков гения, есть его мерка.

И как изумительно, как чудесно проявилась эта дивная сила в Ломоносове!..

И Ломоносов не изменил своему назначению: вся жизнь его была прекрасным подвигом, непрерывною борьбою, непрерывною победою. Голова ходит кругом от мысли, что было сделано в России до Ломоносова и что он должен был сделать и что сделал...

До него существовала только русская азбука, но не было русского языка, и только после него стал возможен в России раздел ученых литературных трудов. И вот он пишет грамматику, которая уже не годится для нашего времени, но лучше которой еще не являлась у нас, дает законы языку и утверждает их образцами. Какой же можно требовать художественности от его стихотворений и его похвальных слов, когда они писаны были не столько по призыву вдохновения, не столько из бессознательной потребности творить, сколько по призыву нужды, сколько по сознательному желанию дать образцы литературы и проверить на

практике теорию языка и стихосложения. И как он успел в последнем! Введенное им стихосложение осталось навсегда в русском стихотворстве, и стихи его, по гармонии, гладкости, правильности языка, гораздо выше его прозы, в которой он старался подделаться под склад и конструкторскую латинской прозы...

Риторика Ломоносова тоже была великою заслугою для своего времени; если она теперь забыта, то не потому, чтобы мы имели риторики выше ее по достоинству, а потому, что теперь риторика, в том значении, какое дают ей, как науке, научающей красно писать, сделалась исключительным достоянием педантов, глупцов, и считается за такую же науку, как алхимия и астрология. Ломоносов был не только поэтом, оратором и литератором, но и великим ученым. Обширная область естествознания сильно манила его пылливый ум, и не вотще, по прекрасному выражению г. Полевого, «в виде Ломоносова, Россия стучалась в двери Вольфа, с жаждою науки и знания»... Он всем занимался с жаром, любовью и успехом. И сколько трудов должен был во всем преодолеть!...

Ученый, поэт и литератор, не по случаю, а по призванию, он преодолел тысячи препятствий, и во всю жизнь остался человеком ученым тружеником, а не сделался, когда улыбнулось ему мирское счастье, вельможей, знатным баринком...

Доселе у нас не было биографии Ломоносова, все известия о его жизни являлись в разбросанных отрывках, там и сям. К. А. Полевой⁷⁷ решился пополнить этот важный недостаток в нашей литературе и выполнил свое намерение с блестящим успехом. Его книга не роман и не биография в точном смысле этого слова. Настоящей биографии Ломоносова не может и быть, потому что этот необыкновенный человек не оставил по себе никаких записок, современники его тоже не позаботились об этом. Да и как требовать от них этого: они смотрели на Ломоносова не как на гениального человека, а как на беспокойную и опасную для общественного благосостояния голову: посредственность ничем так жестоко не оскорбляется, как истинным превосходством, и во всякого рода превосходстве видит буйство и зажигательство... Итак, может быть только хронологический перечень сочинений Ломоносова, с обозначением главных событий его жизни, но полная картина жизни гениального человека исчезла навсегда. Чтобы представить ее, нужно дополнить, расцветить воображением известные факты, оттушевать фантазией сухой очерк. Так и сделал г. Полевой...

Мы уже сказали, что это не роман и не биография, в точном смысле этих слов; но это дело и ума и фантазии, это поэтическая биография, принадлежащая и к науке и к искусству, — род совершенно новый, оригинальный.

Да, мы чистосердечно и добросовестно можем сказать, что книга г. Ксенофонта Полевого есть приятное явление в нашей литературе, прекрасный подарок публике. Мы особенно рекомендуем ее молодому поколению, из среды которого готовятся будущие деятели на ниве человеческой мысли: оно найдет для себя высокие уроки в этой книге, оно увидит в жизни Ломоносова свой долг и свое назначение, оно узнает из нее, что только в честной и бескорыстной деятельности заключается условие человеческого достоинства, что только в силе воли заключается условие наших успехов на избранном поприще. Не всякому природа дает гений, не всякому назначено быть Ломоносовым, но и без гения у человека может быть стремление к благу и добрая, если не сильная, воля, а с стремлением к благу и доброю волею всякий может выполнить свое назначение на поприще деятельности, отмежеванном природою и указанном сознанием свой способности! Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу, мирит с жизнью, возбуждает деятельность!..



БАСНИ ИВАНА КРЫЛОВА

СПБ. 1840 ⁷⁸

Басне особенно посчастливилось на святой Руси. Отец русской литературы, сам Ломоносов, низошел с своего лирико-эпико-драматического котурна (прозаически называемого теперь ходулями), чтобы написать басенку — «Волк в пастушьей одежде». Плодовитая и досужая бездарность Сумарокова наводнила современную ему литературу уродливыми «притчами». Наконец, явился талантливый Хемницер и написал своего превосходного «Метафизика», который и доныне и всегда будет превосходить, как ловко написанная эпиграмма, но мы не знаем, можно ли одною эпиграммою, хотя бы и отличною, составить себе бессмертие... Но как бы то ни было, а Хемницер все-таки удержится в истории нашей литературы, и дети никогда не перестанут смеяться от его «Метафизика». Уж за одно то большая ему честь, что с него началась русская басня. Басни Дмитриева — искусственные цветы в нашей литературе. Эти растения явно пересажены с родной почвы на чужую и взрощены в теплице. В них блистает салонный ум XVIII в.; в них язык наш сделал значительный шаг вперед. Потом писали басни В. Л. Пушкин, В. Измайлов и некоторые из их басен не уступают в достоинстве басням Дмитриева...

Но истинным своим торжеством на святой Руси басня обязана Крылову. Он один у нас истинный и великий баснописец: все другие, даже самые талантливые, относятся к нему, как беллетристы к художнику.

Басня есть поэзия рассудка. Она не требует глубокого вдохновения, которое производится внезапным проникновением в таинство абсолютной мысли; она требует того одушевления, которое так свойственно людям с тихой и спокойной натурой, с беспечным и в то же время наблюдательным характером, и которое бывает плодом природной веселости духа. Содержание басни составляет житейская, обиходная

мудрость, уроки повседневной опытности в сфере семейного и общественного быта. Иногда басня прямо высказывает свою цель, но не холодным резонерством, не бездушными моральными сентенциями, а игривым оборотом, который обращается в поговорку, поговорку. Басня не есть аллегория и не должна быть ею, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькою повестью, драмою, с лицами и характерами, поэтически очеркнутыми. Самые олицетворения в басне должны быть живыми, поэтическими образами. Так, у Крылова всякое животное имеет свой индивидуальный характер, — и проказница мартышка, участвует ли она в квартете, ворочает ли из трудолюбия чурбан, или примеривает очки, чтобы уметь читать книги; и лисица у него везде хитрая, уклончивая, бессовестная и больше похожая на человека, чем на лисицу, с пушком на рыльце; и косолапый мишка везде — добродушно-честный, неповоротливо-сильный, лев — грозно-могучий, величественно-страшный. Столкновение этих существ у Крылова всегда образует маленькую драму, где каждое лицо существует само по себе, и само для себя, а все вместе образуют собою одно общее и целое. Это еще с большею характерностью, более типически и художественно совершается в тех баснях, где героями — толстый откупщик, который не знает, куда ему деваться от скуки с своими деньгами, и бедный, но довольный своей участью сапожник; повар-резонер; недоученый философ, оставшийся без огурцов от излишней учености; мужики-политики и пр. Тут уже настоящая комедия! А между тем, во всем явное преобладание рассудка и практического ума, которого поэзия в том и состоит, чтобы рассыпаться лучами остроумия, сверкать фейерверчным огнем шутки и насмешки. И, разумеется, во всем этом есть своя поэзия, как и во всяком непосредственном, образном передавании какой бы то ни было истины, хотя бы и практической. Самые поговорки и пословицы народные, в этом смысле, суть поэзия, или, лучше сказать, — начало, первый исходный пункт поэзии; а басня, в отношении к поговоркам и пословицам, есть высший род, высшая поэзия или поэзия народных поговорок и пословиц, дошедшая до крайнего своего развития, дальше которого она идти не может...

Но басни Крылова, кроме поэзии, имеют еще другое достоинство, которое, вместе с первым, заставляет забыть, что они — басни, и делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен. Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа: в его баснях, как в чистом, полированном

зеркале, отражается русский практический ум, с его кажущейся неповоротливостью, но и с острыми зубами, которые больно кусаются; с его сметливостью, остротой и добродушно-саркастической насмешливостью; с его природной верно-стью взгляда на предметы и способностью коротко, ясно и вместе кудряво выражаться. В них вся житейская мудрость, плод практической опытности, и своей собственной, и завещанной отцами из рода в род. И все это выражено в таких оригинально-русских непередаваемых ни на какой язык в мире образах и оборотах; все это представляет собой такое неисчерпаемое богатство идиомов, руссизмов, составляющих народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство, что сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении. О естественности, простоте и разговорной легкости его языка нечего и говорить. Язык басен Крылова есть прототип языка «Горя от ума» Грибоедова, — и можно думать, что если бы Крылов явился в наше время, он был бы творцом русской комедии и, по количеству, не меньше, а по качеству больше Скриба, обогатил бы литературу, превосходными произведениями вроде легкой комедии. Хотя он и брал содержание некоторых своих басен из Лафонтена, но переводчиком его назвать нельзя: его исключительно русская натура все перерабатывала в русские формы и все проводила через русский дух. Честь, слава и гордость нашей литературы, он имеет право сказать: «Я знаю Русь и Русь меня знает», хотя никогда не говорил и не говорит этого. В его духе выразилась сторона духа целого народа; в его жизни выразилась сторона жизни миллионов. И вот почему еще при жизни его выходит *сороковая тысяча* экземпляров его басен, и вот за что, со временем, каждое из многочисленных изданий его басен будет состоять из десятков тысяч экземпляров. Вот и причина, почему все другие баснописцы, в начале пользовавшиеся не меньшею известностью, теперь забыты, а некоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будет расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и могучего народа русского. Нет нужды говорить о великой важности басен Крылова для воспитания детей: дети бессознательно и непосредственно напиваются из них русским духом, овладевают русским языком и обогащаются прекрасными впечатлениями почти единственно-доступной для них поэзии. Но Крылов поэт не для одних детей; с книгой его басен невольно забудется и взрослый и снова перечтет уж читанное им тысячу раз...



РОБИНЗОН КРУЗЕ

Роман для детей. Сочинение Кампе. Перевод с немецкого.

Часть I. СПб. 1842⁷⁹

В предисловии, говоря об известности, которую так заслуженно пользуется детская книга «Робинзон Крузе», переводчик приводит мнение Руссо из книги его „*Emile ou de Education*“:

«Нет ли какой-нибудь возможности сблизить столько уроков, рассеянных в таком множестве книг, соединить их под один общий предмет, который был бы доступен с первого взгляда, был бы увлекателен, заманчив, даже в этом (детском) возрасте? Если можно придумать положение, в котором все естественные нужды человека представлялись бы ощутительным образом уму ребенка, и в котором способы удовлетворить этим нуждам постепенно развились бы с такою же легкостью, то именно над этим простым и живым изображением такого положения надобно прежде всего заставить работать воображение ребенка.

«Я уже вижу, как разгорается твое собственное воображение, пламенный философ. Но не хлопочи по-пустому; это положение найдено, — оно описано, и, не в обиду тебе, гораздо лучше, нежели можешь ты описать, по крайней мере, гораздо проще и ближе к истине. Если нам непременно нужны книги, то, по моему мнению, есть такая книга, в которой находится самый превосходный трактат о воспитании. Эта книга будет первая, которую прочтет мой Эмиль; долгое время в ней будет заключаться вся его библиотека, и навсегда в его библиотеке она займет важное место. Эта книга будет текст, которому все наши беседы о естественной истории станут служить комментариями. Она будет служить критерием успехов в развитии нашей судительной силы, и до тех пор, пока не испортится вкус наш, чтение ее всегда будет доставлять нам удовольствие. Что же это за книга — эта удивительная книга? Что это? Аристотель? Плиний? Бюффон? — Нет, это — Робинзон Крузе.

«Робинзон Крузе на своем острове, один-одинехонек, лишенный я сообщества себе подобных и инструментов всякого рода, а между тем, снабжающий себя всем необходимым для своего положения, для своего сохранения, и мало того, достигающий даже до некоторого благосостояния, вот предмет, который можно тысячами способов сделать интересным. Вот каким образом осуществим мы пустынный остров, который сначала служил для меня только уподоблением. Это положение, конечно, не есть положение человека общественного; натурально, что оно не должно быть и положением Эмиля: но по этому именно положению, он должен ценить все другие. Самое верное средство — возвыситься над предубеждениями и утвердить понятия свои на истинных

отношениях вещей состоит в том, чтоб поставить себя на место человека, отъединенного от общества, и судить обо всем так, как должен судить сам он, в отношении к своей собственной пользе.

«Роман этот, очищенный от всего лишнего, начинающийся кораблекрушением Робинзона близ его острова и оканчивающийся прибытием корабля, который избавляет его, в одно и то же время будет и забавою и учебником Эмиля. Я хочу, чтоб этот роман вскружил ему голову, чтоб мой Эмиль беспрестанно думал о робинзоновом жилище, об его ламах, о его плантациях; чтоб он узнал в подробности не из книг, но на самом деле все, что надобно знать в подобных обстоятельствах; пусть он самого себя воображает Робинзоном, пусть кажется ему, что он одет в кожи, что на голове у него большая шапка, в руке копье, что у него весь странный костюм и все необыкновенные принадлежности Робинзона, даже до зонтика, хоть в нем не будет он иметь никакой нужды. Я хочу, чтоб он тревожился о том, какие взять меры, если у него случится недостаток в том или другом: пусть он внимательно разбирает поступки своего героя, пусть ищет он, не выпустил ли тот чего из виду, нельзя ли было сделать что-нибудь лучше; пусть он со всевозможным вниманием замечает его ошибки и пользуется ими, чтоб самому при случае не впасть в такую же ошибку; не думайте, чтоб у него не родилось желания поробинзонить: в этом именно будет заключаться настоящий воздушный заем сего счастливого возраста...

«И эта мечтательность детства — каким благим средством будет служить она для человека искусного, который умел возбудить ее в ребенке для того, чтоб обратить в пользу. Ребенок от нетерпения — устроить себе магазин на своем острове, будет с большим жаром учиться, нежели наставник его учит. Он будет стараться узнать все, что полезно, и лишь только то, что полезно: вам уже не нужно будет вести его, нет — а разве удерживать».

Затем переводчик, объясняя, что Руссо говорит не о «Робинзоне» немца Кампе, а о «Робинзоне» англичанина Даниэля Фоз, прибавляет:

«Но добрый Жан-Жак, говоря о том Робинзоне, которого он имел в виду, не совсем верно выражается, что будто бы Робинзон на своем острове, „*depourvu des instrumens de tous le sarts*“, нет, Робинзон Даниэля Фоз попадает на остров не совсем с голыми руками: у него есть карманный ножик, есть камень, трут, а в скором времени с разбитого корабля он добывает себе многие инструменты: топор, пилу, наконец, ружья, порох и пр. От этого «Робинзон» теряет много занимательности для юных читателей, потому что хотя он и уединен на острове, удален от общественной жизни, но не лишен многих орудий, которые доставила ему именно жизнь общественная».

Здесь г. переводчик гораздо больше «не совсем верно выражается», чем добрый Жан-Жак, и ровно дважды грешит против истины. Во-первых, эпитет доброго (граничащий своим значением с эпитетом «простодушного») несколько нейдет к Руссо, к имени которого гораздо больше шел бы эпитет гениального и титул великого писателя. Руссо не был философом в новейшем смысле этого слова, в смысле

ученого, который занимается философией, как наукою, и для которого философия имеет чисто ученый, кабинетный интерес, вне жизни; но Руссо был мудрец, в смысле древних, т. е. человек, которого вся жизнь была мышлением, которого мышление было любовью, а любовь мышлением... Руссо не создал никакой философской системы, но обогатил идеями новейшую философию, так что сам Гегель ссылается на него, как на величайший авторитет.

И Руссо был прав, видя столь важную для воспитания книгу в «Робинзоне» Даниэля Фоз; а переводчик Кампе совсем неправ, отдавая преимущество переведенной им книге перед «Робинзоном» английским. Правда, английский Робинзон очутился на острове с ножом, трубкою и малым количеством табаку в кармане, и вскоре перевез с корабля все ему нужное; но это обстоятельство несколько не ослабило основной мысли романа, — мысли человека, поставленного в необходимость, для поддержки его существования, бороться со всевозможными препятствиями и побеждать их, развивая в себе спавшую дотоле способность изобретательности, и одним собою представляя целое общество; ибо всевозможные орудия работы были бы Робинзону, ничему не учившемуся с малолетства, совершенно бесполезны, если бы необходимость и чувство самосохранения, вместо того, чтоб убить его энергию, напротив, не укрепили ее и не вызвали на борьбу всех сил духа его, самому ему дотоле неизвестных. Сверх того, Робинзон Фоз запасся ружьями, порохом, компасами, математическими инструментами, зрительными трубками и книгами; но не имеет кирки, лопаток, заступов, игол, ниток, полотна и многого другого...

Вообще, «Робинзон» Фоз несравненно лучше «Робинзона» Кампе: последний состоит, большею частью, из пизитических и резонерских разговоров отца, рассказывающего детям историю Робинзона. Эти разговоры для детей более способны произвести в детях скуку и отвращение к морали, чем быть для них наставительными: «Робинзон» Фоз большею частью наполнен рассказом, которого интереса и занимательности для детей ни с чем нельзя сравнить; рассуждениями он наскучает довольно редко. Этот первоначальный и истинный «Робинзон» был переведен и по-русски (с французского перевода) в 1814 г. под заглавием: «Жизнь иключения Робинзона Круза, природного англичанина. Переведена с французского Яковом Трусовым».

Во всяком случае, и новый перевод книги Кампе не лишний в нашей литературе, так бедной сколько-нибудь сносными сочинениями для детей; тем более не лишний, что он сделан порядочно, со смыслом, и издан опрятно...

ИНСТИНКТ ЖИВОТНЫХ,

или письма двух подруг о натуральной истории и некоторых феноменах природы

Сочинение Надежды Мердер. Четыре части. СПб. 1844⁸⁰

У нас почти совсем нет книг для детского чтения. Ничего не может быть затруднительнее, как положение литератора, у которого какой-нибудь отец или мать спрашивают, каких бы книг купить им для детей. Что отвечать на подобный вопрос? Сказать: не покупайте никаких, потому что все они никуда не годятся, — пожалуй, сочтут еще за одну из тех журнальных выхонок, к которым все боятся иметь доверие; посоветовать купить ту или другую книжку, — значит подвергнуться после упреку за плохой совет, за дурной выбор. В самом деле, на что прикажете указать? Одна детская книга никуда не годится ни по содержанию, ни по изложению; другая — написана порядочно, по крайней мере грамотно, но наполнена вздором; третья — содержит в себе дело, но писана варварским языком: стало быть, ни одной из них нельзя дать в руки детям. Так, например, книга «Инстинкт животных, или письма двух подруг о натуральной истории» могла бы представить детям чтение приятное и даже дельное; но если они будут читать ее, то или мало поймут, или выучатся объясняться таким русским языком, каким говорит только главное лицо в водевиле г. П. Каратыгина «Булочная». Всмотритесь в самое заглавие: «Инстинкт животных или переписка двух подруг»... Какой повод для острот и насмешек! Но мы не хотим ни шутить, ни смеяться. Очевидно, составительница этой книги недавно в России и еще не успела выучиться русскому языку, столь трудному для иностранцев. Судите сами, какой это русский язык. «Поговорим лучше о завтра, ты будешь довольна мною» (стр. 6 первой части); «я с ужасом помышляю удалиться в Крым» (стр. 17); «Роково 1-е сентября наступило, все уже готово было к моему отъезду, за несколько дней генерал Левитов познакомил меня с моею спутницею, доброю и почтенною женщиною, но пожилую уже и доволь-

но болезненную, она едет в Одессу к сыну на житие, а так как она весьма не богата, то я изъявила желание, чтобы все путевые издержки были на мой счет; но чтобы она распоряжалась ими, потому что я, отправляясь в первый раз в такой дальний путь, и понятия ни о чем не имею. Генерал согласился на сие» (стр. 22). «Ямщик тронул лошадей» (стр. 24). «Петух, султан нашего птичьего двора» (это пишет шестнадцатилетняя девушка!) «Однако же, не воображай себе, чтобы занятия мои, или препровождение времени не имели разнообразностей» (стр. 36); «Здесь сад представляет воображению моему висящие сады вавилонские, ибо подобно им, он кажется висящим над стенами дома, и аллеи его, извиваясь по ним, составляют ряд террас, кои постепенно возвышаются одна над другой, до последней; и все сие не искусственно, осененное множеством густых и высоких деревьев» (стр. 40); «Итак, на-днях получила я такое письмо. Прочитав его, демон-соблазнитель овладел мною» (демон-соблазнитель прочитал письмо и овладел Лидиею Глинскою!..); «Но я так еще чужда, не сведуща всех наук» (особенно русской грамматики!); «Жаворонок основывает скромное убежище свое на земле и между двух борозд» (борозд?); «Сии муравьи обитают страны тропические» (стр. 69); «Большая часть сих крылатых граждан покидают родимые свои конусы, переселяются в отдаленные края, погибают в несколько часов и соделываются добычею бесчисленного множества птиц, змей, насекомых и даже самого человека, ибо утверждают, что, поджарив их легонько на горячих углях, они составляют самое деликатное и сытное яство» (стр. 84).

Не довольно ли? Чтоб выписать из этой книги все примеры самого безбожного искажения русского языка, надобно было бы списать от первой строки до последней, все четыре части «Инстинкта животных». И вот как пишутся у нас книги для детей. Читайте, милые дети!..



ЛЕДИ АННА (.) ИЛИ СИРОТА.

Детская повесть. С английского. С картинками рисован. Р. Жуковским. СПб. 1845.

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ВОЗРАСТА.

Сочинение Александры Ишимовой, СПб. 1845.

ДЕТСКИЕ КОМЕДИИ, ПОВЕСТИ И БЫЛИ.

Собранные П. Ф. СПб. 1844.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР. Две комедии. 1) Волшебница. 2) Ни(е) гритянка.

Соч. Елиз... Клев... СПб. 1845.

ПОВЕСТИ И СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Подарок к празднику. С 12 картинками, 1845.

ДЕТСКОЕ ЗЕРКАЛО.

Нравоучительная книжка для детей первого возраста (с 18 картинками). Издание второе. СПб. 1845⁶¹.

«О дети! дети! Как опасны ваши лета!» Вы так слабы физически, так слабы нравственно. Сколько у вас врагов и явных и тайных! Вам угрожают прорезывающиеся у вас зубы, оспа, корь, скарлатина, круп: это ваши враги явные. А сколько у вас таких врагов, которые от искреннего сердца считают себя вашими друзьями: дражайшие родители, милые тетеньки, нежные бабушки, кормилицы, нянюшки, учителя, учебные книги и, наконец, эти маленькие книжки с картинками, которые издаются для вас под общим названием «детских» книг. Ох, эти мне детские книги! Если у меня будут дети и я сделаюсь «дражайшим родителем», не буду совсем учить моих детей грамоте для того, чтобы избавить их от грамматики и риторики г. Греча, от риторики г. Кошанского, логики г. Рождественского, курса русской словесности г. Плаксына и потом разных «детских» книг с картинками и без оных. Пуще всего сохрани бог моих детей от детских романов вроде Семейства Фредерики Бремер и детских повестей, драм и былей вроде тех, которые у нас беспрестанно издаются. Чему научат все эти книжки моих детей? Любить добродетель? Сохрани боже! С этой любовью мои дети непременно будут нищими... Любить правду? Еще хуже! Нет, благосклонный читатель! Вы

можете воспитывать своих детей как вам угодно, учить их каким угодно наукам, добродетелям и правдам; а я — я буду учить их прежде всего заслуживать себе хорошую репутацию и уметь быть со всеми в ладу; чуть они из колыбели, я уже буду их посылать к родственникам (которые побогаче и с весом) с поздравлением в Новый Год, во все праздники, в именины, в день рождения и т. д. Хоть у меня еще и нет детей, но я человек предусмотрительный: я уже купил книжку г. Бурнашева: «Новые детские поздравления, в стихах с праздниками. Подарок детям к наступающему новому, 1839 году на дни рождения, именин, Рождества Христова, новый год и светлое воскресение». Превосходная книжка! Драгоценная книжка! Хоть мои дети и не будут ее читать (так как я решил не учить их грамоте), но я сам выучу ее наизусть, а они выучат ее наизусть с моих слов. Равным образом, я купил новое издание «Учебной книги русской словесности» г-на Греча и выписал из нее глубокомысленные, практическою мудростью запечатленные правила, как должно писать письма к высшим себя, равным и низшим, и как должно под ними подписываться. Больше никаких книг не узнают мои дети! Книги, особенно детские, уверили бы их, что добродетель — главное дело в жизни, что больше всего надо любить правду, что добродетель всегда награждается, а порок всегда наказывается: и каково было бы моим детям, когда бы они, вышед из моего дома на дорогу жизни, вдруг увидели бы, что в свете все делается решительно наоборот тому, как рассказывают детские книжки!.. Нет! что их обманывать заранее? Зачем учить тому, чему им после надо будет разучиваться? Я буду учить их, но не наукам, не правилам нравственности: человек добросовестный, не лицемер, не лжец, я буду учить их играть в преферанс и не менее важному искусству — нравиться людям. Я заранее убью в них всякую самобытность; добродетелью их с ранних лет будут: скромность, аккуратность, бережливость, учтивость, ласковость, веселый вид, даже когда их будут и унижают... Да, не узнают они никогда, что такое «детские книги», никогда не прочтут они Леди Анны... Бедная леди Анна! Сколько она вытерпела: ее ругали, били, морили голодом, холодом, за то, что она была кротка, послушна, терпелива, прилежна, за то, что она не хотела обворовывать своих благодетелей: все толь в толь, как это бывает в жизни! Но она осталась тверда в добродетели, но она нашла своего отца, сделалась богата, знатна, счастлива: толь в толь как бывает это... в детских книгах!.. А что за прелесть — Чтение для детей первого возраста г-жи Ишимовой! Какие правила, какая чистейшая нравствен-

ность, сколько наставлений, и какими разительными примерами, взятыми из мира... детских книг, подкреплено всё это!.. *Леди Анна* — роман, не лишенный занимательности, без сентенций; книжка г-жи Ишимовой, напротив, вся наполнена сентенциями, и дети могут легко набраться из нее мудрости на всю свою жизнь, хотя бы им суждены были мафусаиловы лета. *Леди Анна* переведена порядочно, издана недурно; книжка г-жи Ишимовой написана хорошим русским языком и издана даже очень хорошо. О прочих книжках, поименованных в начале нашей статьи, мы скажем только, что о них нечего сказать, кроме последней — *Детского Зеркала*: это кривое и облупленное зеркало — перепечатка старой, престарой и предрянной книжонки; издатель ее, г. Занкин, украсил ее картинками, весьма неизящными.



СТО НОВЫХ ДЕТСКИХ ПОВЕСТЕЙ С ПРАВОУЧЕНИЯМИ В СТИХАХ

Книжка для подарка детям. Перевел из сочинений Шмита Б. Федоров. Часть первая. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб. 1845 ⁸²

На своем веку я уже не однажды имел случаи писать о сочинениях г. Б. Федорова ⁸³ (или Феодорова, как напечатано на обертке этих повестей), а следовательно, и брать их в руки; но смею уверить читателей — я никогда в таких случаях не испытывал неприятного ощущения, в котором, быть может, им угодно подозревать меня. Напротив! Я даже очень люблю сочинения г. Б. Федорова, и если кто-нибудь сказал вам противное, то в опровержение столь огорчительной для меня клеветы, считаю долгом объявить следующее:

1) Я не надеваю перчаток, принимаясь за сочинения г. Б. Федорова и вообще не принимаю в таких случаях предосторожностей, устремляемых, когда хотят взять в руки что-либо неприятное и неопрятное.

2) Я не засыпаю за сочинениями г. Б. Федорова и не вижу во сне, навеванном ими, самолюбивой и жалкой бесталанности, которая ведет подробнейший журнал всего, что кажется ей преступлениями в ее противниках, и готова прислужиться им всякому.

3) Я не впадаю, по поводу сочинения г. Б. Федорова, в тяжелые размышления о участи ослепленной бездарности, попавшей, как говорится, не в свои сани и упорно остающейся в них, несмотря на то, что грязные брызги летят на нее со всех сторон.

Оговорившись таким образом, смело уже беру в руки «Сто Новых Детских Повестей» г. Б. Федорова, не надеясь нисколько удивить тем читателей, — беру и читаю:

Молодая яблоня

Егорушка и Лизанька всегда старались доставлять родителям своим нечаянное удовольствие. Однажды, когда они помогали им работать в саду (здесь немножко трудно догадаться, кто кому помогал работать в саду, но в этом и нет большой надобности), отец сказал: «в этом уголке хорошо бы посадить еще одно деревцо».

Приближался день рождения отца; добрые дети тайно купили прекрасную яблоньку с корнем и накануне желанного дня пробрались потихоньку позади грядок посадить ее. «Как папинька обрадуется! — говорили дети между собою, — когда он, войдя поутру в сад, увидит эту прекрасную яблонь!»

Лизанька держала деревцо, между тем Егорушка рыл землю лопатою; вдруг они услышали, что в земле что-то треснуло: потом заблестело и как будто посыпались искры. Егорушка разбил своей лопатой глиняный горшок, в котором спрятано было несколько золотых монет и множество серебряных, блескующих при свете луны.

«Клад! Клад!» — ескаричали дети в восторге и побежали уведомить родителей о счастливой находке.

Любезные дети! — сказал отец, — бог милостиво смотрел на привязанность вашу к нам. Он награждает детскую любовь. Продолжайте быть добрыми детьми, — и бог даст вам сокровища лучшие, чем золото и серебро.

Вы думаете — конец? Нет! Если вы так думаете, то вы не знаете г. Б. Федорова! Здесь следует именно то, что должно следовать, — то, что в заглавии названо **нравовос-
учениями в стихах**:

Когда родителей ты любишь с юных лет
Бог счастья тебе пошлет.

Мне нравятся повести г. Б. Федорова, но мне особенно нравятся нравовосучения в стихах, в которых, так сказать, вся сущность повестей, и которая, без всякого сомнения, есть изобретение русского сочинителя. Потому я исключительно и займусь нравовосучениями в стихах. К счастью, они и не длинны: в заключение к каждой повести не более двух стихов, но зато какие стихи!

Благотворительность, святое состраданье
И в небесах, и здесь получают воздаянье!
Благотвореньями осыпал нас творец:
Мы посвятим ему признательность сердец.
За похитителем бежит
И наказание и стыд.

Есть бог, каратель зла; правдивых он хранит;
Порок от стрел его нигде не убежит.
Поддай несчастному и помочь и привет,
Быть может, что тебя он от беды спасет.
Приманчивым чертам надменной красоты
Предпочитайте вид смиренной доброты.
В желаньях сходен будь с лилии чистотой,
И будешь ты цвести как роза красотой.
Ложь в страхе быть всегда должна
И рано ль, поздно ли — откроется она.
Приятно все, что сладко и прекрасно,
Но с безрассудством все опасно.

Кто похищает или лжет,
Тот наказанью подпадет.
Кто сострадателем, тому и жить отрадней,
Светлее день и ночь приятней,
Лучше чем поздно ложиться
С ранней зарей пробудиться.

Какие глубокомысленные двустушия! Много их еще в «Новых Детских Повестях», но я не выписываю всех, потому что — поверят ли читатели столь дерзостному покушению? — я намерен сочинить здесь несколько своих нравочений... Начинаю:

Неосторожно бойтесь ходить,
Чтоб ног не изломать и носу не разбить.
Кому дала природа медный лоб,
Тот с медным лбом останется по гроб.
Ты к лету не бросай с презрением галош:
Здоровье ими ты под осень сбережешь.
О взрослых ли писать берешься, для малюток —
Хоть крошечный иметь советую рассудок.
Кто нрав крутой имеет и свирепый,
Тому покажется и сахар хуже репы...

Довольно! На первый раз очень довольно! Теперь мне остается только присочинить к этим нравочениям в стихах небольшие рассказы в прозе, и я могу сделаться просветителем и наставителем юношества в моем отечестве. А все благодаря книге г. Б. Федорова, который, кроме многих других достоинств, отличается еще силой вдохновительной. Я ею очень доволен.

Что касается до читателей, то они и без меня очень хорошо знают, что думать о новом или вновь изданном сочинении г. Б. Федорова. На обертке читаем слова: издание второе, исправленное и дополненное. Они совершенно справедливы, потому что издание действительно исправлено и дополнено. Исправление относится к тому, что фамилия сочинителя, писавшаяся в продолжение многих лет безграмотно (что неоднократно было замечаяемо журналами), чрез букву Ф вместо Θ, — здесь наконец явилось с Θ-ою, а дополнение состоит в том, что к той же фамилии сочинителя прибавлена одна буква, именно: в заглавии выставлено не Федоров, как встарину выставлялась, а ФеОдоров... Подите, спорьте после этого с сочинителем, что новое издание его повестей не исправлено и не дополнено!



ЕЛКА. Подарок на Рождество. Азбука с примерами постепенного чтения. СПб. 1845.

ПРЕДАНИЕ О ГРАФИНЕ БЕРТЕ (,) или Замок Витсгау.
Сочинение Александра Дюма. Перевод с французского. СПб. 1845.

ДОН-КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ.
Рассказ для детей. СПб. 1846.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА.
Издана Ф. Студитским. Южная Европа, СПб. 1846.

МЕРИ И ФЛОРА.
Повесть для детей. Перевод с английского Александры Ишимовой. СПб. 1846.

КАНИКУЛЫ В 1844 году, или поездка в Москву.
Сочинение Александры Ишимовой. СПб. 1846.

КАРТИНЫ ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСТВА ЗНАМЕНИТЫХ ЖИВОПИСЦЕВ. Перевод с французского. Под редакцией М. Чистякова. СПб. 1846.

МАТЬ НАСТАВНИЦА, или разговоры о многообразных предметах, образующих ум и сердце полезнейшими познаниями, представленное (??!!) в разговорах матери с своими детьми. Для обучающихся французскому языку. СПб. 1845.

АЛЬМАНАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ. СПб. 1845.

РОБИНЗОН. Рассказ для детей. СПб. 1845.

ПАНТЕОН РУССКИХ БАСНОПИСЦЕВ. СПб. 1845.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ. Повести Бланшара, для детей первого возраста. СПб. 1845.

ИСТОРИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Для детей. СПб. 1845⁸⁴

Наконец, литература наша начинает обращать внимание на детей и заботиться о доставлении им читательской пищи, способной развивать их ум и сердце. Странно, что она хлопочет о детях один только раз в году — от праздника Рождества до праздника Пасхи, как будто в убеждении, что ум и сердце детей способны к развитию именно только в это время. Иной скептик, пожалуй, увидит тут чистую спекуляцию со стороны русской литературы или, лучше сказать, со стороны составителей, переводчиков и издателей детских книг, — увидит их нежную заботливость больше о своем собственном кармане, нежели о головах и сердцах детей. Он скажет, пожалуй, что эти книги издаются перед праздниками, как игрушки, которые покупаются «дражайшими» ро-

дителями для подарков детям... Но скептики такой народ, который не верит ничему высокому и прекрасному, никакому бескорыстью, особенно, если это бескорыстье выгодно для кармана бескорыстных людей. И потому, не будем слушать злых наветов и внушений и воздадим должную дань хвалы бескорыстным авторам, переводчикам и издателям тринадцати книжек, заглавия которых выставлены в начале нашей статьи.

Мнения о полезности и необходимости детских книг теперь разделились на две противоположные стороны. Одна утверждает, что без этих книжек детям несть спасения; другая говорит, что они не только бесполезны, но и положительно вредны; и что если детям должно читать что-нибудь кроме учебников, так это книги, которые читаются и взрослыми, разумеется, при условии строгого выбора. Мы сами много думали об этом вопросе, и теперь решительно объявляем себя на стороне второго мнения. До семи, или около семи лет, воспитание дитяти должно быть преимущественно физическое, но не в духе почтенной старины, которая буквально держалась значения слова «воспитывать» и закармливала детей чуть не на смерть, так что материя подавляла в них дух, и они смотрели не детьми, а хорошо откормленными телятами, барашками или поросятами. Хорошо воспитанный ребенок не должен быть ни животным, ни человеком, а ребенком: лицо его должно носить на себе отпечаток здоровья, веселости, живости, ясности, и на нем должно отражаться не столько присутствие ума, сколько отсутствие тупости и глупости. Излишне сильное и преждевременное нравственное развитие в детях также вредно, как и развитие тела в ущерб интеллектуальности: оно вредит правильному физическому развитию и, следовательно, вредит здоровью — первейшему и драгоценнейшему из всех благ и даров жизни. Говорят, что сильно, не по летам развитые дети бывают подвержены мозговым воспалениям, именно по причине этой развитости. Развивать детей должна наука, ее постепенное, медленное, но тем более верное изучение, а не книжки, писанные для забавы и приучающие детей к поверхностности, легкомыслию и мечтательности. И так, до семи лет пусть дитя ест, пьет, спит, играет и говорит, а с семи пусть оно, сверх всего этого, еще и учится. Чем же наполнить время, остающееся ему от учения? — Игрою, резвостью, беганьем, гимнастическими забавами. Когда дитя подвинется к своему двенадцатилетнему возрасту и игры не будут уже вполне удовлетворять его, когда пробудится в нем потребность удовлетворять чем-нибудь и фантазию и ум, — тогда давайте ему романы Вальтера Скотта и Купера; но только и тут не да-

вайте ему зачитываться. Почему бы, например, не дать ему в руки *Дон-Кихота*, не искаженного, не переделанного? Для детей должны существовать не детские книги, но особенные издания книг, писанных для взрослых, — издания, в которых должно быть исключено все такое, о чем им рано знать, все, что может дать их фантазии вредное для здоровья и нравственности направление. Таким образом, должно изменить ночную сцену в *Дон-Кихоте*, где драка рыцаря — печального образа и его оруженосца с погонщиком мулов происходит от трактирной служанки, условившейся прийти к погонщику на постель. Но опошлять для детей великие произведения, приравнивая их к детскому возрасту, — ни на что не похоже: великие произведения делаются вздорными сказками и детям от них нет никакой пользы. Сказочки и повести, которыми напиваются малолетних детей нарочно для них составляемые книжки, сильно возбуждают в них самую опасную из душевных способностей — фантазию, и делают из детей мечтателей, книжников, резонеров, записных чitalьщиков. Воля ваша, а гораздо приятнее видеть ребенка весело, шумливо, но прилично резвящимся, нежели сидящим не за учебной книгой. Можно давать детям и книги для забавы, но преимущественно с картинками, с объяснительным текстом, лишенным особенной занимательности. В таком случае картинки непременно должны быть хороши, а текст писан правильным, хорошим языком... Вообще, это предмет обширный, о котором многое можно сказать, чего теперь не позволяет нам ни место, ни время. И потому обратимся к книжкам, заглавия которых выставлены выше.

Русская азбука, названная *Елкою*, есть решительно первая хорошая книга в этом роде, какую мы встретили в продолжение всего времени, как занимаемся *ex officio* разбором книг. В ней есть метод, которого достоинства нельзя не признать с первого взгляда. Издана она изящно: бумага, печать, исправность корректуры, наконец, вкус в типографическом отношении, — все это заслуживает полной похвалы. Сверх того, *Елка* изукрашена множеством прекрасных политипажей. Автор этой азбуки — женщина, г-жа Анна Дораган. Это имя с сих пор делается почетным именем между всеми писателями для детей.

Предание о графине Берте — волшебная сказка для детей г. Александра Дюма. По содержанию и изложению (о языке скажем ниже) она может считаться одной из лучших сказок этого рода. Издана она со всевозможной типографическою роскошью — бумага и печать могли бы напомнить собою парижские издания, если б множество без

нужды и без смысла натяканных заглавных букв не пестрили страниц крайне безвкусно; картинки — прелесть. Но уж видно судьбе угодно, чтоб русская книга почти всегда на чем-нибудь да споткнулась: русское издание Предания о графине Берте споткнулось на грамотности, да еще как! — Судите сами: на первой же странице напечатана фраза: «Кто такое была графиня Берта»!.. Мы подумали было сперва, что это опечатка, но как-то, заглянув в оглавление, и там увидели эту же злополучную фразу: «Кто такое была графиня Берта». Читаем далее — и не верим глазам своим:

«Любезный граф, замок наш стареет и угрожает развалиной; мы не можем более остаться безопасным в этом дряхлом жилище, я думаю, если вы согласны, что пора нам выстроить новое» (стр. 6).

По-каковски это?.. Но далее:

«Доминик горько улыбнулся при этом двойном намеке на низкое свое происхождение, и не хотел сидеть подле черного хлеба, означил своему адъютанту поменять с ним места» (стр. 38). — Но сердце графа не было привыкши к чувствам нежности, и если он когда-либо был проникнут (чем-же?), то это было не надолго» (стр. 46). — «Но едва злая кормилица успела заглянуть в комнату, как вдруг побледнела и затрепетала по всему телу» (стр. 49). — «Барон Вильдбольд пришел обитать замок» (стр. 54). — «Благородная его походка и непринужденность в движениях доказывали, что он привыкши был получать гостеприимство от величайших вельмож» (стр. 81). — «Главная дверь будучи запертою, он думал» и пр. (стр. 94).

Но довольно! Судя по этим образчикам языка и слога, можно подумать, что эта книжка переведена какою-нибудь чухонкой. Хороши также стишки в этой книге:

Замки, затворы суть для нас
Немощные, напрасные преграды,
Невинного дитяти жалкий глас, (запятая!)
Проник ко мне, лишил меня отрады,
В могиле тихой, вековой,
И прах внезапно тленный мой
Ожил вновь юною душой...

и так далее. Бедные дети! Какое красивое чудовище безграмотности приготовлено на вашу погибель!..

Дон Кихот Ламанчский — довольно пошлая сказка, сделанная из превосходнейшего романа. Даже эпизод о Дульцинее Тобозской и самое имя ее исключены из этой книжонки. По крайней мере она грамотно написана, красиво издана, и к ней приложено шесть или семь картинок довольно недурных.

Путешествие Вокруг Света — хорошо написанная и очень полезная для детей книжка, если только полезно учить детей, забавляя и приучая таким образом их к поверхностному знанию всего понемножку.

Мери и Флора — насквозь проникнутая чистейшею нравственностью в английском духе и приятным слогом переведенная повесть. — Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву — книжка, написанная тоже весьма приятным слогом.

В Картинах из истории детства знаменитых живописцев дети не поймут самого главного: что такое живопись и живописец; все же остальное будет им понятно в этой книжке, в которой картины порядочны, но картинки могли бы быть лучше.

Безграмотное заглавие Матери-Наставницы, в котором есть разговоры, представленное в разговорах, достаточно показывает, какого рода эта книжонка.

Альманах для детей — старый наш знакомец, в котором прежние черные политипажи (взятые некстати из книжки г. Кирилова: Типы Современных Нравов) превратились теперь в раскрашенные картинки. Все остальное так же плохо, как и было.

Робинзон — издание книгопродавца Василия Полякова: этим все сказано!

В Пантеоне Русских Баснописцев помещены басни: Крылова, Дмитриева, Измайлова, Хемницера, Хераскова, Ломоносова, Сумарокова, Манцева, Хвостова, Агафи, Лобысевича, Алипанова, Ладжинского, Майкова, Неведомского, Ржевского, Соболева... Вот уж подлинно всякого жита по лопате! И все это уместилось на 124 страничках в 16 долю листа! Как полезно будет детям читать такие вирши, как эти:

Баснь учит быть судьбе послушным нам всегда,
И тако мы свой век пребудем без вреда!

Маленькие Дети — преглупенькие сказочки с дрянными картинками.

Краткую Историю Петра Великого для детей, за неимением лучшей, можно дать детям в руки, но не иначе, как вырвав из нее ее уродливые картинки.



НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ,

издаваемая Петром Редкиным. Москва. 1847.
Две книжки.

СЫН РЫБАКА, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ.

Повесть для детей. Сочинение П. Фурмана. Издание второе. СПб. 1847.

АЛЬМАНАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ,

составленный П. Фурманом. СПб. 1847⁸⁵

Что читать детям? Нашим детям вовсе нечего читать! Вот вопросы и восклицания, которые беспрестанно раздаются со всех сторон. А между тем сколько ежегодно издается у нас книг и книжек для детей, издавались и даже теперь издается детский журнал. Конечно, наши детские книги большею частью очень плохи и принадлежат совсем не к литературе, а к промышленности, составляют часть товара, который должен наполнять лавки с детскими игрушками; но все же между нашими книгами и изданиями для детей есть и порядочные; по крайней мере такие, которые только со стороны языка и слога уступают французским сочинениям этого рода, а по содержанию и направлению столько подходят на них, сколько следует переводам и переделкам походить на свои оригиналы... Но загляните в эти лучшие книги, — и вы невольно скажете: «Бедные дети, вам действительно нечего читать! И уж лучше вам вовсе ничего не читать, нежели читать эти вздоры и пошлости!..»

Скажем яснее нашу мысль: за исключениями, слишком не многими и редкими, мы считаем вздорными и вредными не только наши русские книги для детей, но и их иностранные образцы, разгуливающие по всему свету под эгидою громких имен их знаменитых авторов...

Если бы это было не так, то откуда же возник бы вопрос: нужны ли, полезны ли детские книги вообще? А этот вопрос со дня на день повторяется чаще и решается различно. Одни утверждают, что для чтения детям необходимы книги, приноравливаемые к их понятию; другие доказывают, что дети должны читать те же самые книги, какие читают и взрослые, только с более строгим выбором.

Не беремся решить этот вопрос; но попытаемся изложить наше о нем мнение.

Решение подобных вопросов и легко и трудно. Все дети имеют общие родовые их возрасту свойства и качества, и потому ничего нет легче, как, составивши себе отвлеченное понятие о детях, решить все касающиеся до них вопросы. Но вот в чем трудность: у каждого ребенка своя натура, свои интеллектуальные средства, нравственные наклонности, характер; дети бывают различных возрастов, потребности семилетнего дитяти уже не те, что у ребенка трех лет, а потребности двенадцатилетнего дитяти далеко не те, какие у семилетнего, и т. д. Притом, где границы детского возраста? Неужели человек в 14 лет — уже юноша? И время от 14 до 16 лет не составляет ли перехода от детства к юношеству? Кроме того, не случается ли, что один и в 18 лет смотрит ребенком, а другой в 14 обнаруживает интеллектуальную зрелость юноши? При этом какую важную роль играет различие полов! Что идет мальчикам, то не годится для девочек, и наоборот.

С каких лет должно начинать учить ребенка чтению и письму? — Опять вопрос относительный, которого нельзя решить для всех детей, но который должен решаться особо для каждого ребенка. Обыкновенно общим средним термином для начала учения полагают семилетний возраст. Мы думаем, что и при самых острых и резко выражающихся способностях ребенка нет никакой нужды торопиться начинать учение раньше семи лет. До этого же возраста должно обращать все внимание преимущественно на физическое и нравственное воспитание. Первое должно быть положительным и состоять в развитии здоровья, телесной крепости, гибкости и ловкости. Это — дело гимнастики и правильного образа жизни. Пусть дети играют, шумят, резвятся, лишь бы во всем этом не было ничего грубого, пошлого, неприличного, и лишь бы они во-время и в меру ели, во-время ложились спать и в меру спали. Нравственное воспитание детей даже и дальше семилетнего возраста должно быть отрицательное, т. е. состоять в удалении от них всяких дурных примеров и в развитии в них чувств любви, справедливости и человечности не правилами морали, а, так сказать, влиянием привычки, так чтобы они не знали, какие это чувства и как они в них развиваются. Все это зависит от людей, которыми окружены бывают дети ежедневно. Но моральные правила, сентенции, поучения способны только наводить на детей скуку и возбуждать в них отвращение, или образовывать из них педантов, резонеров, лицемеров. Чем моложе ребенок, тем непосредственнее должно быть его нравственное воспитание, т. е. тем более должно его не учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонностям

и манерам, основывая все преимущественно на привычке, а не на преждевременном и, следовательно, неестественном развитии понятий. Приобретенное дитятей таким непосредственным образом, так сказать, привычкой, послужит самым прочным основанием для сознательного развития всех человеческих чувств, когда настанет время деятельности его ума и рассудка. Что касается до учения, то дитя учится и до азбуки: дети любопытны и обо всем спрашивают старших: что это и что то. Должно отвечать им кротко, терпеливо, серьезно, не шутя и не обманывая их, объяснять им сообразно с степенью понимания, и искусно уклоняться от их вопросов, когда они касаются таких предметов, о которых им знать не следует, или таких, которые выше их понятия. Кроме того, в этот возраст можно и должно тем, у кого есть средства, учить детей живым иностранным языкам, но только говорить, и собственно не учить, а приучать, опять основываясь только на силе привычки.

Но вот ребенку семь лет, вот он уже довольно бегло читает. Что же читать ему? И заботливые родители ищут по книжным лавкам приличной пищи для читательного голода их детей. Да помилуйте, мало ли у них чтений и без этих книг? Ведь азбука — не конец, а только начало ученья. Дитя, которое до семи лет успело выучиться лепетать на двух или трех иностранных языках, кроме русской азбуки, должно заняться еще тремя азбуками. Кроме того, за азбукой следует грамматика, арифметика, география и т. д. Все это возьмет много времени у ребенка и охладит его излишнее порывание к книгам, потому что охота попрыгать, пошуметь, побегать, поиграть и даже пошалить у иного не проходит даже и в 15 лет. Но, скажут нам, и за уроками, и за играми все-таки остается праздное время, особенно зимой, которого нечем наполнить. Это может быть. Но какие же давать тут детям книги? Главный недостаток этих книг тот, что они или выше, или ниже понятий детей. В первом случае они делают из детей скороспелых умников, педантов, резонеров; во втором — делают их слабоумными, приучая к неестественной их возрасту наивности. Большая часть детских книг вмещают в себе вдруг оба эти недостатка. Вот почему они даже не бесполезны только, а положительно вредны. В этих рассказах для детей все — ложь, фраза, риторика; жизнь отражается в них как предметы в кривом, да еще запачканном спереди и потертом сзади зеркале. И потому лучшими книгами для чтения детей первого возраста могли бы быть такие книги, которые бы весело знакомили их с землей, с природой и отчасти с историей. Книги эти непременно должны быть с картинками, ибо «нагляд-

ность» должна быть основанием детского развития. Если бы нашлась книжка с картинками, изображающими горы, моря, острова, полуострова, минералы, разные чудеса физической природы, потом явления растительного, и, наконец, животного царства, и при этих картинках был бы объяснительный текст, простой, толковый, без фраз и восклицаний о том, как прекрасна природа и т. п.; если бы все эти предметы были изложены не только в порядке, но и в ученой системе, а в тексте ни слова не упоминалось ни о каких системах: такую книжку всякий отец должен бы поспешить купить для своих детей, в полной уверенности, что это бесценный, по своей полезности, гостинец для них. Где кончается царство животных, там начинается царство человека. Для легкого и приятного знакомства детей с этим царством очень полезны путешествия или просто описания земель и народов всего земного шара. Картинки тут опять должны играть главную роль. Текст должен быть такой, как будто он писан для взрослых людей, только из него должно быть исключено все, что выше понятия детей, что не может быть им интересно, чего не следует им знать. Что касается до истории, она должна состоять из биографий исторических лиц, анекдотов из их жизни, отдельных исторических событий, имеющих нравственное значение. Нравственность тут должна быть главным предметом, но о ней отнюдь не должно упоминать, отнюдь никаких наставлений и поучений: она должна быть не в словах, а в деле, и переходить в детей не как понятие, а как чувство. Разумеется, такого рода книги должны быть приурочены к детскому возрасту. Дети очень любят биографии полководцев, но для них нет никакого интереса в биографиях ученых, художников, философов, администраторов и т. п. Впрочем, все зависит от намерения, цели и умения автора книги. Биография Платона во всяком случае бесполезна и скучна для детей, потому что от превысшенных идей этого, конечно, гениального мыслителя, но вместе с тем и мечтателя и фантаста, и у взрослых людей иногда ум за разум заходит. Но биография Сократа — другое дело. Это был не столько философ, сколько мудрец; учение его было живое, практическое, удобоприложимое к жизни; самая манера его спорить и доказывать может быть и полезна и интересна для детей, если изложить ее ясно и искусно: в ней так много драматического элемента. Но что за польза детям знать биографию Гомера прежде, нежели прочтут они Илиаду и Одиссею, и им что-нибудь понравится в этих поэмах. После — другое дело.

Дети ужасно впечатлительны, так что от этой способно-

сти зависит и их спасение и их гибель. Человек всю жизнь помнит всякий вздор, который читал он в детстве и который тогда особенно ему нравился. Из этого видно, какое великое счастье для детей, когда их мягкий и впечатлительный, как воск, свежий, не засоренный пустяками и вздорами, не усталый, не истомленный мозг обогатится только полезными и дельными впечатлениями! Это должно быть одной из главных забот воспитания, чтобы и приятное было полезно. Но несчастны те дети, которых юный мозг засорится сперва чтением детских книг и потом водевилями, вздорными романами и всякой подобной дрянью! Лучше бы им вовсе ничего не читать!

Из всего можно сделать злоупотребление. Охота к чтению — хорошая склонность в детях, но и она может сделаться вредной, приучив их к мечтательности и похищая время у их учения. Пусть на чтение будет у них свое время, и пусть чтение не отнимает времени не только у учения, но даже у игр и резвости. Всему должно быть свое время, и строгий порядок должен быть душой всего. Когда видишь умного и страстного к чтению ребенка или юношу, который лишен всех средств к учению и образованию, предоставлен природе и самому себе, с жадностью читает без разбора все, что ни попадется ему под руку, и хорошее и дурное: и жалеешь о нем, и радуешься за него. Все лучше и полезнее ему так читать, нежели пристраститься, от лености и от нечего делать, к картам, к биллиарду, к вину и другим не изящным «художествам». Но грустно видеть ребенка или молодого человека, который, имея все средства к учению, тратит большую часть своего времени на чтение литературных произведений, предается мечтательности и гонится за энциклопедическим всезнанием, которое иногда хуже положительного невежества!

От 7 до 14 лет много воды утекает, и ребенок становится уже не ребенком. Ученье идет своим порядком, и, кроме пользы, в свою очередь, может доставить ему и удовольствия чтения. Это в особенности переводы с иностранных языков. Корнелий Непот, Саллюстий, Плутарх: разве содержание их сочинений не так же интересно, как и содержание романа? По крайней мере, надо стараться, чтобы это было так. Всего лучше, если молодой человек прочтет на доступных ему иностранных языках все, признанное классическим, дельным, и пристрастится к этому роду чтения прежде, нежели познакомится с романами и вообще с легкой литературой.

Время для чтения романов молодым людям есть время их перехода от детства к юношеству, когда уже им можно

читать многое, но еще не иначе, как с выбора и разрешения старших. Первый роман, который можно дать молодому человеку лет двенадцати — Юрий Милославский г. Загоскина. Затем понемногу можно давать романы Вальтера Скотта и Купера. Тут все дело в том, чтоб не дать в руки молодого человека такой книги, которая может прежде времени познакомить его с такими чувствами, страстями и понятиями, которые несвойственны его возрасту. Это истинная гибель и для здоровья и для нравственности. Вот почему мы прямо и без оговорок указали на Вальтера Скотта и Купера: в их романах изображена жизнь действительная, а не воображаемая, они изящны, художественны, а между тем, в них нет ничего опасного даже для детей. Мы очень уважаем Гофмана⁸⁶, и если видим в нем чудака и безумца, то все же гениального, и, однако ж, считаем его для детей столько же или еще и более вредным, нежели Поль-де-Кока⁸⁷, хотя и вовсе другим образом. Для детей страшно вредно все, что развивает и возбуждает фантазию насчет других интеллектуальных способностей; фантазия у детей и без того самая деятельная способность, и потому ее следует скорее сдерживать, нежели возбуждать, или, что всего губительнее, давать ей уродливое направление ко вреду деятельности ума и, в особенности, рассудка и здравого смысла.

Новая Библиотека для Воспитания, издаваемая г. Редкиным⁸⁸, есть единственная книга, которую можно рекомендовать отцам семейств, из всех книг этого рода, появившихся в последнее время. Не все статьи, составляющие ее содержание, одинакового достоинства; но между ними нет решительно дурных, и есть очень хорошие. Пересмотрим их по порядку. О л у н е, статья г. А. Драшусова, очень дельна по содержанию. Иначе и быть не может: нельзя сказать о луне что-нибудь другое, кроме того, что можно сказать о ней, если говорить примется человек, коротко знакомый с астрономией. Стало быть, все достоинство такой статьи должно состоять в оживленном и увлекательном изложении. К сожалению, статья г. Драшусова суха, черства и скучна, а сверх того написана языком и слогом, нельзя сказать, чтобы изящными. «Мы покажем впоследствии, как просто и легко разрешается вопрос, с первого взгляда весьма трудный, на который, как кажется многим, отвечать совершенно невозможно, — об определении расстояния небесных тел; называем близким расстояние луны от земли, между тем, как из достоверных измерений известно, что оно составляет около 360 000 верст, — удаление (разве отдаление, или всего лучше расстояние), которое каждому пока-

жется огромным» (стр. 3). Период, нельзя сказать, чтобы короткий и складный! Но вот еще лучше. «Кроме суточного движения, — общего солнцу и звездам, по причине которого светила, в продолжение суток, восходят и садятся (заходят?) или же описывают на небе полные, правильные круги, как будто бы небесный свод, со всеми рассеянными по нем звездами, обращался около неподвижной оси, — луна имеет еще особенное собственное движение, в силу которого ее расстояние от звезд беспрестанно переменяется: она постоянно удаляется от светил, лежащих на западе, в той стороне, где заходит солнце, и приближается к светилам, расположенным на востоке, близ места солнечного восхода, и движется, таким образом, с правой стороны в левую» (стр. 5—6). Этот семимильный период словно переведен с немецкого, ясность его — тоже немецкая. «Описанные явления суть, очевидно, затмения звезд луной, которая, будучи тело (м) непрозрачное (ым), скрывает их от нашего зрения, пока движется между ними и нашими глазами» (стр. 12). «Заключение, в строгости справедливое» (стр. 62). Автор хотел сказать: «строго справедливое», а у него вышло как-то справедливое в строгости, т. е. строгое, но справедливое. В начале своей статьи г. Драшусов говорит, что «внимательное чтение особенно при помощи наставника» его статьи познакомит с луной. Но если нужен наставник, то статья вовсе не нужна. В свое время молодой человек, на университетских лекциях, узнает все, что относится до луны, а до тех пор ему лучше учиться у своего наставника чистой математике, без которой невозможно знание астрономии. Зачем же ему терять время над статьей не литературно и не изящно написанной?.. Прогулка по Гарцу, статья г. В. Лапшина, не лишена интереса и написана хорошо. Но мы решительно не понимаем, зачем помещена в Библиотеке для воспитания сказка: Золотой Жук? А что ручается, что это не сказка, а анекдот, а если и анекдот — что в нем хорошего для детей? Разве то, что он разовьет в них манию к отысканию кладов?.. Вторая книжка Библиотеки начинается Русской Летописью для первоначального чтения; это пересказ, если можно так выразиться, несторовой хроники, его же складом, да только нашим языком. Вот это статья! Она равно интересна и полезна и для детей, и для тех взрослых, которые и не прочь бы от знания отечественной истории, но несколько не расположены изучать ее ученым образом, по источникам, которых чтение так трудно. А здесь можно получить понятие и об источниках, не трудясь, а только наслаждаясь. Статья принадлежит

г. Соловьеву, который обещает для Библиотеки целый ряд таких статей. Мысль счастливая, особенно, когда исполняется ученым, который может отвечать за каждое выражение, за каждое слово в своей статье, — что всего важнее в статьях такого рода. Следующая статья — Пирр есть именно одна из тех статей, которые желательно как можно чаще встречать в этом издании. Она извлечена из *Roth's Lesebuch zur Einleitung in die Geschichte*. «Мне хотелось быть лекарем» — повестца для детей, не лишенная интереса; в ней говорится о нравах и обычаях персиян нашего времени. Странствования Одиссея, по нашему мнению, должны бы быть изложены иначе — просто в прозаическом переводе, пожалуй, с выпусками, сокращениями и изменениями, но в переводе; в пересказе же эта поэма лишилась всей своей поэтической прелести и стала похожа на нелепую сказку.

Мы не скажем, чтобы Новая Библиотека для Воспитания, издаваемая г. Редкиным, вполне удовлетворяла всем требованиям и не могла бы быть лучше, даже гораздо лучше; но мы по совести можем сказать, что и сама по себе, — это дельная и полезная для детей книга, которую смело можно рекомендовать отцам семейств, и что она не идет ни в какое сравнение с книгами этого рода, беспрестанно издающимися у нас...

Сына Рыбака мы выставили в начале нашей статьи не потому, что это лучшая из детских книг, изданных в последнее время в Петербурге, и не потому, что она достигла второго издания, а потому, что она представляет собой богатый образец совершенной бесполезности большей части детских книг. Какой может быть интерес для детей в биографии поэта и ученого, когда еще они не имеют ни малейшего понятия ни о поэзии, ни о науке? Издавать для малолетних детей подобную книгу — не то ли это самое, что издавать для крестьян биографию Гегеля? Вот другое дело издать для детей биографию Петра Великого, Суворова, Кутузова: это им доступнее: они любят рассказы о сражениях, да и личность Петра Великого, как государя и как человека, искусно очерченная, не могла бы их не заинтересовать. Но что им в Ломоносове? А когда они подрастут, то пусть прочтут роман-биографию Ломоносова, прекрасно составленный г. К. Полевым, да вместе с тем примутся читать и самого Ломоносова. И как бедно и жалко составлена книжка г. Фурмана! Первая половина ее — компиляция из прекрасной книги г. К. Полевого; а вторая — вялый и мертвый набор слов. И все это украшено восемью безобразнейшими лито-

графиями. И такие книги появляются вторым изданием! Бедные дети, лучше бы вам вовсе не знать грамоте!

Детский Альманах для Детей, изданный г. Фурманом, избрали мы для рецензии, как общий тип почти всех детских книг! Этот альманах состоит из четырех драматических пьес в прозе. Несмотря на русские (весьма неудачно придуманные) имена и фамилии, явно, что все эти пьесы переведены с французского: в них вовсе не наши нравы, и от этого нелепость их делается еще вопиющее. В них добродетельные говорят словно по книге, порочные к концу пьесы непременно раскаиваются и делаются добродетельными. Нигде не заметно причин ни порока, ни раскаяния. Стало быть, все вздор и ложь. Но для многих людей развивать в детях нравственные чувства можно только обманывая их: достойная проклятия мысль! Сатана — отец гнусной лжи — породил ее, а лживые или ограниченные люди уверовали в нее и чают от нее спасения детей своих! Все в этих пьесах неестественно, сентиментально, пошло, надуту — и чувства и выражение! А язык — это верх неестественности: ни одной простой фразы, все по-книжному. Вот несколько примеров: «не угодно ли вам прогуляться со мною по саду в ожидании возвращения наших детей». Помилуйте! кто же так говорит? всякий скажет: пока воротятся наши дети. Простой, невоспитанный мальчик, поднятый рыбаком с улицы, на которой он лежал замертво от стужи, говорит о своем отце, утонувшем в море: «Волна, которая его потопила, поглотила также и все средства к моему дальнейшему существованию». Благовоспитанные девицы, в разговоре, беспрестанно употребляют слова: и бо, кои и оны е!!..

Мнение, что дети должны читать только то, что читают и взрослые, не лишено основания и справедливости; но требует больших исключений и ограничений. Но нам кажется, что можно дать на этот предмет правило, не допускающее почти никаких исключений и ограничений: книги для детей можно и должно писать, но хорошо и полезно только то сочинение для детей, которое может занимать взрослых людей и нравиться им не как детское сочинение, а как литературное произведение, писанное для всех. И к повестям, рассказам и драматическим пьесам это относится едва ли еще не более, чем к статьям другого рода.

Да где же взять таких книг? — Это уж не наше дело. Мы сочтем себя очень счастливыми, если изложением нашего мнения об этом предмете наведем иного талантливого человека на настоящий путь в отношении к сочинению книг для детей.



НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ,

издаваемая Петром Редкиным. Книжка III.
Москва. 1847.

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ.

Детская сказка дедушки Ириней, изданная князем
Одоевским. СПб. 1847.

МОРОЗ ИВАНОВИЧ.

Детская сказка дедушки Ириней, изданная князем
Одоевским. СПб. 1847.

СБОРНИК ДЕТСКИХ ПЕСЕН ДЕДУШКИ ИРИНЕЯ, изданный
князем Одоевским. Тетрадь I. СПб. 1847.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ,

изданный В. Петровым и М. М. СПб. 1847.

ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

С шестью картинками. СПб. 1847⁸⁹

Третья книжка Новой Библиотеки для воспитания г. Редкина состоит из трех статей. Из них особенно интересна первая. Она называется Атлантический Океан, но собственно есть ни что иное, как рассказ об открытии Америки, следовательно, биография Колумба. После этого нечего говорить об интересности содержания статьи; остается заметить только, что и ее изложение прекрасно, и что в начале статьи находятся любопытные известия о всех попытках, в древнем и новом мире, обойти морем Африку и о нечаянных и бесплодных открытиях Америки, сделанных финикийцами и норманнами — первыми в древности, а вторыми еще в IX столетии по Р. Х. — Продолжение Странствований Одессея, составляющее вторую статью Б. для В., еще более убедило нас в бесплодности подобных переделок великих творений древности, — о чем мы уже говорили в прошлой книжке Современника. Просто нет возможности читать: глупая сказка, да и только! А переведите Одиссею хотя и прозой, с сокращениями и выпусками (но уж, разумеется, без вставок собственного издателя), но с сохранением (сколько это возможно при таких условиях) тона и колорита рассказа подлинника, — вышла бы чудная поэтическая поэма! — Третья статья — Первый герцог цирингенский уже самым началом своим

привела нас в ужас: это, во-первых, немецкая, да еще народная, сказка, а во-вторых, «баснословный рассказ седой старины», говоря собственной вычурной и истасканной фразой автора. Седую старину тут представляет старый угольщик, которому внимает наш юный век в лице, вероятно, очень молодого литератора, богатого охотой писать, но бедного на вымыслы. Таким людям угольщики и старые бабы — истинный клад, неисощимый источник поэтического вдохновения и литературных бредней! И уж подлинно сказку рассказал старый угольщик «долин своего, богатого угольями, Шварцвальда»! Был — видите ли — угольщик, который каждый раз, как сожжет дрова, находил в угольной яме, вместе с углями, большой кусок чистого серебра. На это сокровище он помогает какому-то королю, потерявшему свое королевство, снова завоевать его, — за что тот делает его герцогом и отдает за него одну из дочерей своих. Еще в ожидании успехов оружия короля наш угольщик выстроил себе огромный и крепкий замок. Сделавшись герцогом, он стал горд, груб и прожорлив. Раз вздумалось ему приказывать своим поварам — изжарить ему ребенка, — что и было сделано. Хоть он его и не съел, но, напротив, впал в отчаянное раскаяние, — тем не менее, подобная черта, особенно в книжке для чтения детей, возмутительна и отвратительна! Для чего детям знать о таких мерзостях? Чтобы предохранить их от охоты есть жареных детей? Но для этого слишком достаточно нравов нашего времени, а если бы для какого-нибудь изверга этого было недостаточно, так у правителей есть средства к предупреждению подобных исключительных событий гораздо подействительнее вздорных немецких народных сказок. Надо сказать правду, трудно было бы обнаружить больше неловкости, нежели сколько обнаружено ее выбором этой дрянной статьи! Средневековые нелепости и дикости давно уже надоели нам в балладах, да каких еще — художественно-прекрасных! — а тут нашим детям суют ту же дичь, да еще в убогой прозе! Умоляем издателя Библиотеки для Воспитания не пятнать более своего прекрасного издания помещением в него каких бы то ни было сказок, а особенно немецких, да еще народных, а пуще всего «баснословных рассказов седой старины из уст седого угольщика». История лучше сказок даже для детей. И в средних веках можно найти для них много интересного и поучительного: вместе с чертами страшного варварства, свойственного временам глубокого и всеобщего невежества, черты великих характеров, великих дел, стремления к свету знания с опасностью погибнуть на костре за колдовство и ересь. А сказки пусть слушают от старых нянек

те бедные дети, которых воспитание невниманием или невежеством родителей поручается сообществу холопов: от них то ли еще услышат они, эти несчастные дети! Видя в Библиотеке для Воспитания полезное и дельное издание, мы решились постоянно обращать на нее все наше внимание, — и чем лучше будет казаться нам она, тем строже и резче будут наши приговоры.

Мы очень рады встрече с дедушкою Иринеем после такой долгой с ним разлуки. Надо сказать правду, этот добрый старичок такой мастер говорить с детьми, каких не много и не у нас одних. Скажем кстати, что по некоторым признакам можно подозревать, что этот дедушка Ириней что-то в роде Протея, что у него много имен, что он и стар и молод, и один работает и делает по крайней мере за десятерых... Вообще есть поводы думать, что эта многообъемлющая тревожная деятельность, мешая ему сосредоточить все силы свои на одном главном предмете и ограничиться слишком немногими второстепенными, лишает его возможности высказать себя всего в чем-нибудь одном или немногом, но заставляет только вполнину обнаруживать свои богатые средства во всем или во многом... Может быть, поэтому-то он так мало и пишет для детей, тогда как посвяти он свою деятельность одному этому занятию, наши дети имели бы в нем своего Вальтера Скотта с придачей еще нескольких писателей. Но все это только предположения, может быть, и не совсем справедливые, а потому и оставим их в стороне, утверждая за достоверное только удивительную способность дедушки Иринеев писать для детей. Две сказки его, одна старая, другая новая, милы до чрезвычайности, хотя и написаны для маленьких, очень маленьких детей. Мы уверены, что они будут в восторге от этих сказочек, которых сюжеты так ловко приноровлены к детской фантазии, рассказ так увлекателен, а язык так правилен и так похож на тот, которым говорят грамотные люди. Дети не выйдут из городка в табакерке с его фантастическими и в то же время очень простыми и естественными чудесами. Рукодельница и Ленивица с Морозом Ивановичем тоже очень займут их, — и если им в последней сказочке что-нибудь придет не по душе, так это разве ее послесловие, где дедушка Ириней советует им «думать да гадать: что здесь правда, что неправда, — что сказано впрямь, что стороной, — что шутки ради, что в наставление, а что наемком». Эх, подумаешь, старость-то: никак не удержится от моральных сентенций! Да помилуйте: сказать детям, что прочитанное ими не было, а шутки, наставления и намеки, значит — разочаровать их. Для них сказка — то же, что для

взрослых роман, а потерпят ли последние, чтобы автор в конце своего романа сказал им, что все это — выдумка его воображения и что в самом деле ничего этого не было, хотя они и сами очень хорошо знают, что все это — выдумка, сочинение, а не было?.. — Далее дедушка Ириней вразумляет своих маленьких, очень маленьких читателей, что «не за всякий труд и добро награда бывает; а бывает награда ненароком, потому что труд и добро сами по себе хороши и ко всякому делу пригодны». Вот уж подлинно — спустя лето, в лес по малину! Да вы лучше бы развили в самой сказке эту истину, а доказавши сказкой совершенно противное, нечего уже поправлять сшибку рассуждениями, которых дети не читают и не любят...

Мы сказали, что язык сказочек дедушки Иринея чистый, правильный и прекрасный; тем более нам жаль, что в каждой из них, бог знает ради чего, употреблено по разу слово: с и и. Дети не поймут его, как будто бы оно было санскритское или эфиопское слово, и будут спрашивать старших, что де оно значит. И не мудрено: теперь, когда уже подъячие перевелись, а вместо их явились благовоспитанные чиновники, теперь только через знакомство с семинаристами да с русской литературой можно детям познакомиться с неприличными словами в роде с их, оных, ко их, каковых, таковых, соделывать, поелику, днесь, се и т. п.

Несмотря на то, сказочки дедушки Иринея хороши, столько хороши, сколько могут быть хороши сказочки для маленьких, очень маленьких детей, — и мы тем более жалеем, что не можем того же сказать о его стихах для детей, стихах, которые... но судите сами: вот «Песня для входа в класс»:

Трах, тарарах, тан-тан-тан,
Трах, тарарах, тан-тан-тан (дважды)
Время, время в класс собираться!
Не шуметь и не толкаться,
Не зевать по сторонам,
А садиться по скамьям.
Трах, тарарах, тан-тан-тан,
Трах, тарарах-тан-тан-тан!

Вот и вся песня! Нам кажется, что не писавши стихов смолоду, лучше уж и не братья с них под старость; а написавши музыку, попросить кого-нибудь из записных стиходеев приделать к ней стишки на известную тему. Но это бы еще куда ни шло, а нас пуще всего (даже пуще стихов) испугал гибельный совет, который дедушка Ириней дает детям насчет чистки зубов:

Зубы, десны крепче три
И снаружи и снутри.

Помилуйте, как это можно! Один из наших знакомых рассказал нам про себя, именно по поводу этих стихов, очень поучительную быль. Владея необыкновенно крепкими, здоровыми и чистыми зубами, он недавно стал чувствовать в них сильный лом, когда возьмет в рот холодной воды. Дантист, которого он спрашивал о причине этого явления, осмотрев его зубы, сказал ему: верно вы крепко трете зубы щеткой с зубным порошком? — Очень крепко. — Так оставьте на неделю вовсе тереть, а после трите как можно тише и легче, а то у вас и так остался уж слишком тонкий слой глазури: если протрете ее, все ваши зубы вдруг начнут гнить и крошиться.

Советуем дедушке Иринею, при втором издании трех его песен, слово крепче заменить легче, — что тем удобнее сделать, что через это и размер стихов ничего не терпит; а в ожидании этого скажем несколько назидательных слов о чрезмерно дорогой цене его крохотных сказочек. Эти микроскопические книжечки стоят каждая по 50 копеек серебром, а тетрадка, заключающая в себе стихотворения, 1 рубль серебром, стало быть, все три — два рубля серебром: цена баснословно чудовищная! Может быть, тетрадка со стихами и нотами и стоит того, потому что печатание нот везде обходится дороже печатания книг; но две сказочки в 32 или 64-ю долю листа, одна в 56, другая в 58 страниц крупной и нельзя сказать, чтобы красивой печати, на бумаге весьма среднего достоинства, с плохими политапажами, которых очень немного и из которых помещенные во второй книжке деланы не к ней (потому что мужички на них немецкие, а не русские): во сколько могли они обойтись издателю? Если их печатано 1 200 экземпляров, то с издержками на печать, бумагу и переплет, каждый экземпляр едва ли обошелся в две копейки серебром... Стало быть, за вычетом 20 процентов за комиссию продажи, чистого барыша с каждой книги 38 копеек серебром... Помилуйте, да ведь это значит — потративши на издание 1 200 экземпляров 84 рубля ассигнациями да уступивши в пользу книжных лавок, за комиссию, 420 рублей ассигнациями, итого — 504 рубля, приобрести 1596 рублей ассигнациями! Да это выгоднее всякой деревни и всякого дома в столице! Каждая из этих книжечек едва ли бы заняла два листка (т. е. четыре страницы) нашего журнала: разотчем же, по чем бы должен был продаваться наш журнал, по цене сказочек дедушки Иринея. Каждая книжка нашего журнала состоит более, нежели из 25 печатных листов. Возьмем круглое число 25 листов. Если четыре страницы должны стоить 50 коп. серебром, то лист (16 страниц) должен стоить 2 рубля серебром, книжка —

50 рублей серебром, а годовое издание журнала (12 книжек) — 600 рублей серебром вместо 15: выгодно было бы издавать журнал, несмотря на чудовищную разницу в издержках на издание!.. Настоящая цена каждой из двух книжечек дедушки Ириней должна бы быть — десять копеек серебром: за вычетом двух копеек на издание да двух же копеек за комиссию, издатель получал бы шесть копеек барыша на четыре копейки, т. е. 60 процентов на рубль: и то лучше всякой деревни и всякого дома на Невском проспекте! Но теперь едва ли он что-нибудь получит, потому что книжки его, по цене, доступны только детям таких отцов, которые —

Не то на серебре — на золоте едят.
Сто человек к услугам...

Да и те едва ли будут много покупать. По крайней мере, что касается до меня, будь я миллионер, — я скорее выкинул бы 2 рубля серебром за окно, нежели бы заплатил их за эти три книжки, потому что есть что-то оскорбительное и обидное в необходимости платить за вещь вдесятеро больше того, что она стоит. Дедушка Ириней назначил эту гиперболическую цену за свои маленькие книжки совсем не по тем причинам и побуждениям, по которым это делается книгопродавцами (нам больше, нежели кому-нибудь известно это, потому что мы немного знаем дедушку Ириней), а по какой-то странной и опрометчивой необдуманности, и еще более по свойственной почти каждому русскому человеку, и богатому и бедному, замашке — считать целковые и полтинники за пятаки и гроши, а пятаки и гроши ни за что не считать... Разумеется, кто хочет строить себе дом, для того и тысяча полтинников — ничтожная сумма; но кому нужно купить калач, булку, хлеб или фунт соли, для того полтинник — деньги и деньги, и всякий миллионер имеет право выйти из себя от негодования, если с него запросят полтинник за калач, булку или фунт соли. Конечно, книги не принадлежат к предметам потребления первой необходимости, и всякий волен назначать своей книге какую ему угодно цену; да мы никогда и не вмешивались в такого рода расчеты. Но на этот раз дело вышло как-то особенно поразительно, и мы не могли не увидеть в нем вреда и без того не пользующейся особенным кредитом литературе нашей. Все твердят об общей пользе, о распространении просвещения и образования, а делают совсем не то, и тем это прискорбнее, если делают так без достаточного основания, даже не по корыстному расчету, а Бог ведает почему. А публика ропщет, бранит литераторов и литературу — и поделом. Вот

почему, если бы кому-нибудь, слова наши показались не совсем приятными — просим не взыскать: мы говорим правду и дело, а до лиц или литературных партий, другими словами — до наших и ваших, нам нет дела...

Петербургский Сборник для Детей, изданный г. В. Петровым и таинственными буквами М. М., был бы довольно порядочной детской книгой, если бы авторы помещенных в нем статей умели получше писать, а переводные статьи были бы не переведены, а переделаны для русских детей. Заглянем в этот Сборник. Он начинается драматической пьесой в стихах г. А. Григорьева: Олег Вещий, сказание русского летописца. Тут разговаривают огнищане, витязи, норманские и славянские, поют скальды, Олег едет с войском по сухому пути, на ладьях, поставленных на колеса, к Цареграду и прибывает свой щит к его воротам, говоря прозаически, или к его вратам, говоря поэтически, потом умирает от ужаления змеи, выползшей из костей любимого коня его. Не понимаем, что за фантазия — драматизировать жизнь, о которой дошли до нас самые скудные известия, да и те составляют еще предмет сомнений, толкований и споров специальных ученых? А потом, что за манера — искать поэзию в сказках, а не в истине и в действительности? А наконец, если уж писать стихами, то зачем непременно плохими?...

... Обильна

И велика земля наша, да нет

Порядку в ней...

Что за слово «наша?» или:

Не страшись, могучий, ни воды, ни огня,

Что за слово «могучий?»

Скажи ему, посол,

Что русский князь не знает отступать.

Не знает отступать — сказано не по-русски; по-русски говорится: не знает, как отступают, или, еще проще и короче: не умеет отступать.

Взаимной клятвой утверждаем мы

Сей (?) договор... Клянись вы, Руссы —

Одином; и пр.

Что это за Руссы? Мы до сих пор знали только русских, которые в именительном и звательном падежах говорятя руссы.

Где ты,

Моя Торильда, с русыми власами.

Т. е. волосами. Может быть, Олег и говорил власами, но г. Григорьев ведь пишет языком не летописей, а нашим современным.

Быть по твоему... Коня,
Любимого коня оставляю.

Здесь явно пропущено слово *я* между *конем* и *оставляю*, корректуре стихов не мешало б быть поисправнее.

Но еще все это было бы только мелочами, если бы в стихах г. Григорьева было хоть что-нибудь похожее на поэзию, кроме метра. Самое название пьесы: *Сказание русского летописца* дышит претензией: детям следовало бы сказать, какого летописца, а то они, пожалуй, подумают, что этот летописец — г. Григорьев, пишущий или писавший свои сказочные летописи прозаическими стихами...

Белая мышка, рассказ какого-то Гебезипа Моро, кроме того, что вздорная вещь, еще и старая: мы давно уже читали ее в какой-то русской детской книжонке. Тут на сцене волшебница, обращенная в белую мышку, Людовик XI, наследник его, Карл дофин, и немурский герцог, запертый в железную клетку. Не понимаем мы этой смеси истории с волшебными сказками! Русские дети тут ровно ничего не поймут, потому что тут о Людовике XI не сказано и десяти слов, а героем рассказа является мышь! Чепуха страшная! Что бы вместо волшебных вздоров рассказать детям, попроще и пояснее, что такое был Людовик XI, как, несмотря на его жестокость, суеверие, вероломство, варварство, он положил во Франции начало великому делу централизации, нанес удар феодализму, расширил монархическую власть, и, словом, делая всю жизнь свою одно зло, сам не зная как, сделал для Франции много добра, — между тем, как наследник его, Карл VIII, будучи добрым, благонамеренным и благородным королем, наделал Франции одного зла своим нелепым славолубием, которое далеко не оправдывалось его военными и политическими дарованиями! Сколько бы тут можно было рассказать детям интересных анекдотов, характеризующих тот век и его людей! Вместо всего этого рассказана вздорная сказка с историческими планами, чуждыми и непонятными для детей! — *Сирота*, повесть была бы не дурна, если б рассказана была лучшим языком. — *Семейство Ссылного*, рассказы об Австралии и индейском Архипелаге — статья очень интересная по содержанию и очень дурно изложенная, каким-то книжным языком, что особенно видно в разговорах. — *Михайло Васильевич Ломоносов* — вторая плохая компиляция из книги

г. К. Полевого. — Явление природы на острове Тиморе — очень интересная по содержанию статейка; о языке нечего и говорить. Вот для примера фраза на выдержку: «Исполин вулканов — Фиалараган, нависший над Тимором, от которого он родился и от которого когда-нибудь погибнет, начинает дымиться» и пр. (стр. 223 — 224). Понятно, что Фиалараган родился от Тимора, но как понять, чтобы он от Тимора же и погибнул: скорее может случиться, что Тимор погибнет от Фиаларагана. — Пчелы — очень интересная по содержанию статья; изложение плоховато. — Маленькие статейки: Фультон изобретатель паровозов; Мысли дикаря о поединке (т.е. одуэли); Смешное суеверие; Удивительные следствия страха в птицах; Каким образом картофель сделался пищей европейцев; Бури на Амазонской реке: — все эти статейки очень умно выбраны, и дети, без всякого сомнения, найдут их для себя очень интересными, не говоря уже о том, что они будут им и полезны. Вообще, по выбору статей. Петербургский Сборник для Детей — книжка хотя бы куда; жаль только, что ее составители плохо пишут по-русски. Да, чуть было не забыли мы сказать, что этот Сборник украшен весьма безобразными литографиями.

Повести для детей (с шестью картинками, довольно безобразными) — книжка, вся составленная из переводов с французского. Будь это не переводы, а переделки, приуроченные к понятиям русских детей, книжка могла бы быть для них интересной; но в настоящем ее виде она решительно никуда не годится. — Судейская Ошибка: что это такое? По-каковски это? Но положим так, согласимся даже, что этот рассказ и интересен, и трогателен, и поучителен, но для кого? — для французских детей, а для наших тут все непонятно и странно: и нравы, и обычаи, и положения, и адвокаты, и Палата Правосудия (Palais de Justice), которую переводчик перековеркал в судилищную палату. Все это следовало бы объяснить детям, а для этого пересказать им повесть, как говорится в училищах, своими словами, а не слово в слово с подлинником. В этой повести употреблено несколько раз слово стража: в наше время бывают: караулы, караульные, часовые, сторожа, хожаемые, городовые, будочники, но стражей никаких нет и не бывает. Это слово книжное, мертвое и употреблять его, значит — обнаруживать явное неумение писать по-русски. — Тайны Бутылки — рассказ не без интереса, только не для детей; для них тут все непонятно. — Леди Люси — очень бы интересный и трогательный рас-

сказ для детей, если б только он был не переведен, а пересказан, и было бы в нем объяснено все историческое. Бедность, честность, счастье, или марсельский сирота: эту вздорную драму, в которой так плоско доказывается выгода добродетели, ибо-де за нее платится наличной монетой и большими кушами, мы уже читали в плохом детском альманахе г. Фурмана. — Об Алисе, рассказе из времен Людовика IX, надобно бы сказать то же, что уже было говорено о Судейской Ошибке: будь это не перевод, а переделка, повесть была бы хороша, но, как перевод, она никуда не годится.

Вот и все лучшее, что появилось к празднику пасхи по части детской литературы...



НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ, издаваемая Петром
Редкиным. Книжки V, VI и VII.

ЕСТЬ ЛИ ГДЕ КОНЕЦ СВЕТУ? Сочинение И. Даниловского
и А. Оссовского. СПб. 1847.

ДРУГ ДЕТЕЙ. Книга для первоначального чтения. Изд. 5-е.
СПб. 1847⁹⁰

Содержание книжек следующее: Поход аргонавтов; Похождение Энея; Русская летопись (статья III); Песнь о походе Игоря Святославича; Послание Даниила Заточника к Георгию Долгорукому; Геродот и его повествование; Домашний быт древнего Рима; Марк Туллий Цицерон; О барометре, и две сказки Андерсена. О первых двух статьях мы говорить не станем, потому что высказали уже раз свое мнение о подобного рода переделках. Из прекрасного греческого мифа о Язоне и золотом руне вышла довольно бестолковая и, вдобавок, предлинная сказка. Еще ужаснее — Похождение Энея. «Энеида» Виргилия, сладенькое произведение придворного поэта, и в подлиннике не очень занимательная, а тут предлагают ее в переделке, да еще и детям! Как для них поучительно описание страсти Дидоны к Энею и ее самоубийства, вследствие отринутой любви! Как это им доступно! Сколько новых нравственных мыслей вызовет в них подобный рассказ!

О Русской летописи для первоначального чтения г. Соловьева мы уже говорили прежде. Жаль только, что пример его вызвал такое неудачное подражание, каковы переделки Слова о полку Игореве и Послания Даниила Заточника г. Иванова. Г. Иванову показалось, что еще слишком долго ждать, пока юные читатели примутся за памятники древней русской словесности и начнут читать их в подлиннике; это навело его на мысль передать им, по примеру г. Соловьева и его же языком, лучшие памятники древней нашей литературы (см. подстрочное примечание к Песне о походе Игоря Святославича, кн. V). Что за странная, неуместная заботливость и поспешность! Что

же потеряют дети, ежели прочтут «Послание Даниила Заточника» позднее и прочтут в подлиннике? Нам кажется, что они от этого выиграют, потому что ознакомятся с ним в настоящем его виде. Какой интерес может иметь для детей «Послание Даниила»? Оно интересно для занимающегося русскою историею, как памятник в высшей степени замечательный, а вместе с тем до сих пор необъясненный. Дети его решительно не поймут ни в подлиннике, ни в переделке, особенно, когда вы не сказали предварительно ни слова ни о Данииле, ни о «Послании» его. Ведь это нерусская летопись: это не так просто и доступно. Можно себе представить, какое приятное впечатление произведут на ребенка первые строки послания: «Вострубим, братцы, как в златокованные трубы, в разум ума своего». О бедные дети! Мало трубят им в уши! А тут еще какой-то неведомый им ссыльный Даниил начинает тоже трубить, да еще в разум ума своего. Тут поневоле преждевременно оглохнешь. Статья Геродот и его повествование заставила нас вздохнуть свободнее. Рассказ Геродота простотою и наивною своею в высшей степени способен завлечь детей; это ни дать ни взять добрая старушка-нянюшка, беседующая со своими детками, рассказывающая им разные были и небылицы. Однако жаль — это все-таки сокращение и переделка. Зачем же налагать руки на старика? Пускай бы он явился в своем настоящем виде. Несравненно было бы лучше взять одну из книг Геродота и перевести ее целиком. Заметим еще одно: делая пояснения и замечания на места темные, не мешало бы почаще и поотчетливее справляться. Вы говорите, что: «Ликург завел общественный стол, желая уничтожить роскошь в Спарте» (Кн. VI, стр. 99, прим. 85). Это все равно, что драконы законы были писаны кровью, или что Тезей учредил в Афинах демократию.

Быт Древнего Рима — это извлечение из известной книги Беккера: Галл или римские сцены времен Августа. Лучшая часть книги Беккера — это его экскусы или рассуждения о различных принадлежностях домашнего быта древнего Рима, в которых видна вся огромная ученость известного лейпцигского филолога и археолога. Рассказ о Галле — совершенно ненужное прибавление к ученым рассуждениям, хотя и поставлен на первом плане; он в высшей степени вял, безжизнен. Читая его, и не думай знакомиться с римским бытом. Если вы хотите ознакомить детей с домашнею жизнью Рима, переведите для них письма Цицерона к родным и к друзьям его, прибавив необходимые пояснения и примечания. Ведь и «Галла» нельзя читать без объяснений,

так пускай же дети знакомятся с римским бытом через самих римлян, а не через посредство «Галла». А сколько можно перевести прекрасных писем Цицерона, рисующих так живо семейную и домашнюю жизнь Рима! Не бойтесь знакомить детей с древними целиком, без всяких урезываний и укорачиваний. Это самая здоровая, самая питательная пища их молодому уму⁹¹. Нам очень жаль, что до сих пор мы не встретили в детской библиотеке ни одного Плутархова жизнеописания. Плутарх — настольная детская книга во Франции, Англии, Германии, а там воспитание не то, чтобы хуже нашего.

Статья «Марк Туллий Цицерон» начата, замечает издатель, незабвенным Д. Л. Крюковым и окончена учеником его, преподавателем русской словесности Шестаковым. Судя по первым страницам, нам кажется, что эта статья вовсе не назначалась покойным Крюковым для детской библиотеки: она предполагает достаточное знакомство с римской историей и с положением дел римских во время Цицерона.

Мы весьма обрадовались зато, увидя статью о барометре. В семи до ныне вышедших книжках это вторая статья по части естественных наук, а естественные науки сильнее всего могут заинтересовать детей. Это предмет им близкий, они на каждом шагу сталкиваются с природою, природа сродни детям. Ребенку несравненно интереснее прочесть, отчего идет дождь, мешающий ему бегать по двору, нежели узнать, в каком костюме ходили римляне. Расскажите ему о бабочке, за которою он гоняется по лугу, о лошади, которая возит его в школу, о старом верном друге Барбосе, которой стережет дом, а в благодарность принимает побои. Но вы точно силою хотите оторвать детей от жизни, окружающей их. Говорите с ребенком почаще о вещах ему близких, расскажите ему, как строят дома, как пекут хлеб, который он каждый день ест, как делают стул, на котором он сидит. Он этого ничего не знает. Правда, это наш общий недостаток; мы все глядим куда-то вдаль и не видим, что у нас под носом делается. Да не в нас здесь дело. Станем по крайней мере давать нашим детям пищу поздоровее той, какою нас кормили.

В «Детской библиотеке», повторяем опять, видим мы издание в высшей степени полезное и дельное, особенно в наше время, столь бедное детскими книгами, а потому мы намерены обращать на нее постоянно все наше внимание и подвергать каждую статью разбору самому строгому. И в ныне вышедших книжках хорошего больше, чем плохого и неуместного, но нам бы хотелось, чтоб неуместного и плохого тут вовсе не было.

«Есть ли где конец свету?» Под таким заглавием месяца два назад г. Данилевский и Оссовский издали первую часть первого курса чтений из географии. Способ изложения оригинален, иные находят его даже странным и неуместным, но нам он чрезвычайно нравится, и мы решительно думаем, что дети несколько раз перечтут книгу гг. Данилевского и Оссовского с жадным любопытством и огромною пользою... Зачитав, ее не бросите на половине и вы, муж взрослый и опытный, ничему не удивляющийся и ничем не увлекающийся. Как образчик изложения, приведем рассказ о том, что такое облака, роса, дождь, снег, град, иней и радуга.

«Сырость, пока тепло, неприметна: когда ж сделается холодно, тогда она и очень приметна: из нее тогда делается пар, туман. Зимой в комнате всегда несколько сыро; но этого никак нельзя заметить пока тепло, а впустить только сквозь форточку или сквозь двери холодного воздуха, с морозом, то и увидим клубы пара, тумана. Вот и облака не иное что, как пар, туман, то есть холодная сырость. Известно уже, что, поднявшись вверх верст на несколько*, и летом можно замерзнуть; то, когда сырость до этой высоты подымается, она и видна, потому что она там от холода делается паром, туманом... Туман вблизи — настоящий пар, вдали же он кажется облаком. Чрезвычайно сырое облако, то есть густой пар, называется тучею.

«Всякий, конечно, приметил, как от тумана сыреет все — и лес, и трава, и земля... Туман — пар; а пар — что такое? Мелкие, чуть приметные капельки, пылинки воды. Вот одна такая пылинка прильнет к чему-нибудь, к ней прильнет другая, потом третья, десятая, сотая... вот и делается порядочная капля воды... Когда ночью на земле делается много таких капель, то поутру мы их видим и говорим, что это роса... А это просто — пала на землю сырость от ночной прохлады в воздухе. — Так же точно вверху, в воздухе, в облаках, от холода делается дождь... Неприметные пылинки пара, или облака, льнут одна к другой, делаются большими каплями, и, не имея там на чем держаться, падают вниз, на землю. Вот и дождь. — Зимой пылинки сырости мерзнут и, слипаясь, падают на землю, но уже не каплями, а белыми пушистыми клочками. Вот и снег. — Даже и летом, когда облако подымается так высоко в воздухе, что капельки замерзнут от горного холода, то летом они падают на землю мерзлыми каплями воды, или льдяными шариками. Вот и град. — Есть горы, вершины которых до-

* В жаркой полосе до 5 верст, а на середине между жаркой полосой и полюсом — до 3 верст. В. Б.

ходят до самых тех мест, где и летом мороз: вершины таких гор вечно покрыты инеем, потому что сырость на них мерзнет и покрывает их снегом. Такие горы есть даже и в жаркой полосе...

«Так вот как все это делается; а кто этого не знает, тот и верит всяким толкам. Незнающий поверит и тому, что вода с земли, именно из океанов, морей, озер, рек, накачивается в облака, как в бочки, а потом, по воле божьей, этой же водою и поливается земля. Такой поверит и о радуге, будто она и есть та самая труба или насос, которым накачивается вода с озер и морей на небеса. А между тем радуга есть не иное что, как солнечный свет, который, падая на капельки тумана, облака или дождя, дробится, меняется в цвете и в одном месте делается красным, в другом — зеленым, в ином — желтым, на подобие того, как и в хрустальных люстрах от свечки в одном стеклышке виден зеленый цвет, в другом — красный и другие... Да радугу маленькую и самому можно сделать — брызнуть только при солнце водою, то тут же, в самых брызгах, и покажется маленькая радуга. А чтобы она была ярче, можно выставить за нею, вместо тучи, что-нибудь темное, хоть, например, платок черный. Тот, кто выдумал, будто радуга насос, не приметил, кажется, одного, что радуга тогда только бывает, когда видно солнце, а спряталось только солнце, то и радуги не стало. Значит — именно радуга не труба какая-нибудь, а она действительно делается от лучей солнца».

В книге есть свои недостатки: посторонние рассуждения, бесполезно замедляющие стройное развитие фактов, к которым прилепляется все внимание детей, и противоречащие иногда с действительным и естественным объяснением явлений: местами манерность, почти неизбежная при таком способе изложения, — но мы все-таки желали бы как можно больше таких книг для детей. За каждую такую книгу можно бы охотно отдать десяток книг, подобных «Другу детей», несмотря на то, что эта вздорная книга у нас является уже пятым изданием, а в Германии достигла уже столетия девятого...



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧТЕНИИ РОМАНОВ

СПБ. 1847⁹²

Книжечка эта издана для того, чтобы показать заботливым отцам и матерям, какие романы могут читать девицы тех лет, когда их «Звездочка» называет уже «детьми старшего возраста». Книжечка, как видите, по цели своей очень полезная, потому что в нашем обществе такие вопросы рождаются часто. Но кто скажет, какие именно мы должны читать романы? Одни и те же ли романы должен читать человек взрослый и юноша, одним и тем же ли должна интересоваться женщина, пока она еще не приняла на себя всех супружеских обязанностей, и в то время, когда она делается матерью и с этим вместе занимает новое место в общественных отношениях? У нас, по крайней мере, до настоящего времени говорят, что девица не должна того читать, что может читать женщина, что молодой человек, пока он учится и находится в заведении, может вытверживать только вековым приговором утвержденные отрывки из Корнеля, Расина, Бернардена де-Сен-Пьера, прозу Карамзина, стихи Ломоносова, Державина и (с недавнего времени) несколько стихов Пушкина. Это же почти выучивают и девицы. Но мы сделаем здесь один вопрос: что читают девицы, когда они браком освобождаются от надзора родительского, и молодые люди, когда они сходят с ученических скамеек и занимают места в обществе? — От них скрывали или, по крайней мере, им мало говорили о том, что делается в литературе в настоящее время, они жили посреди писателей XVII—XVIII вв., посреди той жизни, которая была доступна этим писателям, и вдруг после того вступают в жизнь настоящего времени и в литературу этой же эпохи. Им говорили, что новейшие романы пишут зловредно, обольстительно, пагубно для нравственности; хорошо, они были с этим согласны, пока им не надоели старинные писатели и пока они сами не вступили в жизнь. Но как только они восходят на это новое поприще, их, не приготовленных, совершенно обхватывает и общество с своими светскими требо-

ваниями, и литература с своими новыми интересами, о которых они мало слыхали. Ум их еще свеж и гибок, убеждения изменчивы, и новые писатели, как их ни брани, имеют в себе много блестящих сторон, которыми трудно не увлечься. Что им делать? Как отличить истину от лжи, софизм от прямого доказательства? Справиться с теми писателями, которых они учили в школе, с теми наставлениями, которые им делал учитель? Но писатели эти говорят совсем о других предметах, герои Корнеля и Расина, правда, чувствовали благородно, но были совсем в других положениях, чем герои нашего мира: это все были величественные фигуры древнего Рима и Греции, а не нашей прозаической эпохи. Как же быть: оправдывать и соглашаться с романами, или отвергать и не соглашаться с ними? Идеальные герои Бернардена де-Сен-Пьера так далеко жили от земли, что их не могли даже смущать интересы земные. Стихи Ломоносова и Державина до того возвышенны и торжественны, что могут относиться только к событиям государственным, а не к бедным приключениям частного лица... Что же делать молодому человеку или женщине, вступившей в свет? В нем беспрестанно говорят о новостях в литературном мире, о вновь вышедших романах; о них спросят даже мнения, следовательно, их нужно непременно прочесть. К этому же влечет молодых людей и та жажда ко всему, что запрещается в школе или, по крайней мере, дозволяется с большими оговорками. Интерес и важность романа преувеличиваются воображением, и когда, наконец, доступ к ним делается легок, тогда-то молодые люди предаются им со всей необузданностью, со всей доверенностью молодости и неопытности; и где же те плоды, которые старались собрать родители и воспитатели от исключительного воспитания одними старинными писателями! Влияние романов всегда было чрезвычайно велико и часто вредно от этих причин. Посмотрите на молодых людей, получивших такое воспитание во время оно, когда писала Радклиф. Они бросались на чтение этих страшных романов с какой-то яростью и по прочтении видели мир не таким, как он существует в самом деле, а мир, наполненный страшилищами, привидениями, разбойниками; им страшно было ходить вечером, не только ночью, страшно было сидеть одним в комнате, страшно было переехать из города в город. Посмотрите потом на других молодых людей, которые выступили в свет, когда мадам Жанлис и Ричардсон начали накидывать на мир сантиментальную сеть поддельных чувств и нежностей: они, молодые люди, были нежны, чрезвычайно нежны... но после нескольких лет, вступив в зрелый возраст, делались жестоки и су-

ровы, дрались и ругались, как будто для них не существовало нежных романов... Тогда они их называли уже глупостью. Та же история с Байроном, худо понятым и вкривь перетолкованным такими молодыми людьми, которые выходили из школ прямо разочарованными... Все эти писатели были вредны, потому что их толковали по-своему молодые люди, которые до того времени не слыхивали о их существовании, а потом на-слово начинали им верить и подражать в жизни тому, что вычитывали в романах, поэмах и драмах. Ведь правда же, что после первого представления «Разбойников» несколько молодых людей пошли в леса промыслять по образцу героев Шиллера. — Ведь теперь этого, слава богу, нет; а отчего? Оттого, что мы рано узнаем эту трагедию, что нам ее объясняют наставники и показывают, что в ней истинно и что поддельно.

Какие же романы можно и должно читать начинающим? Если вы хотите знать жизнь, — а роман есть самая свободная форма, в которой она выражается, — то читайте романы, в которых эта жизнь выражается прямо, без прикрас, без натяжек сентиментальности, без утопий расстроенного воображения. Молодым людям, начинавшим чтение, всегда советовали читать Вальтер Скотта; на каком же это основании, как не на том, что в них, как в зеркале, вы видите прошедший быт народа. Если спросите, кого из наших романистов можно дать в руки молодому человеку, не опасаясь всех вредных последствий односторонности и поддельности, вам укажут на Лажечникова, опять по той же самой причине. Поэтому многие говорят, что молодым людям можно читать только одни романы исторические. Совершенно несправедливо; отчего же они не могут читать романа, в котором отразилась настоящая жизнь со всех сторон: отчего, например, разные сочинения Гоголя, Пушкина и Лермонтова не могут читать и выучивать все и каждый наизусть? Если можно читать романы, в которых отразилась прошедшая жизнь, то также можно читать романы, в которых вы видите настоящую жизнь. Далее, по нашему мнению, гораздо лучше позволять читать романы, в которых видна односторонность писателя, но с тем, чтобы при этом наставник пояснял, что ложно и не согласно с действительностью, нежели совсем не позволять их читать, потому что впоследствии, когда молодой человек, избавившись от учительской ферулы, добудет такой роман, — а он непременно его добудет, — он прочтет его и на слово уверует в справедливость рассказа, в непогрешимость действующих лиц и даже постарается подражать одному из героев, который ему преимущественно понравится. На это скажут, что роман, в котором

отразилась действительная жизнь во всей ее наготе, с ее радостями и бедствиями, богатством и нищетой, успехами и страданиями, что такая жизнь может очерствить сердце молодого человека, и очерствить преждевременно. Не знаем, правда ли это или нет, но мы позволим себе сделать вопрос: что же лучше — узнать жизнь скорее и прямейшим путем, или прежде выучиться заблуждениям, а потом в них разуверяться с каждым днем, с опытностью, до того же времени прожить под влиянием фальшивых убеждений, сентиментальности, фантастических бредней, быть смешным некоторое время в обществе, фантазировать и мечтать, как герои Жанлис, Ричардсона, как «Бедная Лиза» Карамзина? Все романы в этом роде нужно позволять читать, но при этом объяснить, как много в них фальшивого и как мало правды.



**О КНИГАХ
ДЛЯ НАРОДНОГО
ЧТЕНИЯ**





ВСЕОБЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА

Составленное Дюмон-Дюрвилем, капитаном французского королевского флота. Часть первая. Москва. 1835⁹³

Есть два рода просвещения: просвещение ученое и просвещение эмпирическое. Первое есть достояние касты, удел немногих избранных, обречших себя на хранение священного огня в храме, недоступном для профанов; второе есть достояние общее, потребность массы, умственное богатство целого народа. Париж есть первый город Европы в умственном отношении; все ученые, которыми гордилась и гордится Франция, были и суть граждане великого города; и однако ж на статистической карте народного просвещения, составленной Дюпенем, департамент Сены означен краскою чуть-чуть не черною. И, наоборот, в Норвегии всякой мужик есть человек грамотный, а мы не знаем имен норвежских ученых, нам неизвестны академии и другие общества Норвегии. Государство, которое гордится мировыми именами гениев науки, в котором высшие классы общества стоят на самой высокой степени просвещения, а масса народа коснеет в диком невежестве, такое государство еще не проявило вполне всей своей жизни, не дошло до цели своего существования; словом, оно еще молодо, юно, незрело. Государство, масса которого стоит на известной и одинаковой степени возможного для массы просвещения, но которое не возростило науки и не имело представителей знания, это государство показывает, что или Провидение судило ему играть незначительную роль в великом семействе человеческого рода, или что оно еще менее, чем младенец. Итак, то и другое просвещение должно быть в полной гармонии, чтобы вполне развилась жизнь народа, вполне было выполнено им его значение.

В наше время эта истина глубоко постигнута, и у просвещенных народов Европы сближение науки с жизнью составляет один из главнейших предметов их усилий и деятельности. Ученейшие люди проповедуют знание, приносясь к языку и понятиям своих слушателей, снисходя

до них и нарумянивая, так сказать, науку, чтобы сделать ее привлекательнее для толпы. Народу нужны познания чисто фактические, идея не для него; но народ есть общество, а общество представляет, в своей совокупности, множество ступеней; поэтому и самый образ изложения светской науки должен быть различен. У нас народу, т. е. самой грубой массе народа, нужна еще только азбука, а когда выучится ей, ему нужно ознакомиться с основаниями религии и другими первоначальными человеческими идеями; другого знания для него пока не нужно. Но в других сословиях одни почитают себя вправе ничего не знать и ничему не учиться, а другие и должны бы по всем законам, божественным и гражданским, да не хотят. Вот для этих-то людей должно трудиться нашим литераторам и ученым; эти-то люди должны представлять для них обширное поле деятельности, не блистательной, но благородной, не славной, но почтенной. Я не говорю о людях, которые жаждут знания и не имеют никаких средств удовлетворить этой жажде. В самом деле, что у нас сделано до сих пор для употребления общего, народного? У нас есть ученые, именами которых мы по справедливости гордимся, у нас есть несколько ученых сочинений, которых достоинство не подлежит никакому сомнению; но у нас все-таки нет ни ученых книг, ни книг для общего чтения с целью самообразования. Думаем, что это происходит от того, что у нас все ищут и добиваются больше эфемерной славы, нежели хотят служить добру.

«Путешествие Дюмон-Дюрвиля»⁹⁴ есть книга народная, для всех доступная, способная удовлетворить и самого привязчивого, глубоко ученого человека, и простолюдина, ничего не знающего. Дюмон-Дюрвиль объехал кругом света и решил почти в форме романа изложить полное землеописание, соединив в нем факты, находящиеся в сочинениях известных путешественников и приобретенные им самим. Заманчивость и прелесть его описаний не дают оторваться от книги, когда возьмешь ее в руки. Но читатели должны уже иметь понятие о достоинстве этого сочинения из объявления, напечатанного переводчиком в «Московских Ведомостях», и потому мы не считаем за нужное слишком распространяться на этот счет, заметим только, что эта книга переведена со всею тщательностью со всею добросовестностью, что ее издание опрятно, даже великолепно, и в этом отношении не уступит петербургским изданиям. Портрет Кука и сорок восемь рисунков несколько не уступают французским оригиналам. Цена самая умеренная: за шесть частей, из которых одна первая состоит слишком из двадцати

пяти листов, тридцать рублей. Вторая часть выйдет к марту, а шестая в июле месяце нынешнего года.

Мы сказали о книге; теперь нам остается сказать об одном обстоятельстве, имеющем к ней близкое отношение. Предприятие г. Полевого давно было всем известно; он напечатал большой отрывок, кажется, из второго тома, в «Наблюдателе» и другой отрывок в «Сыне Отечества». Вдруг летит в Москву программа об издании «Путешествия Дюмон-Дюрвиля», *par liv, raisons*, с приложением образчиков перевода и картинок: это дело г. Плюшара. Конечно, иностранное сочинение никому не принадлежит исключительно, и всякий имеет право переводить его, даже и не зная, что другой занимается таким же переводом; но добросовестное ли дело подрывать кого бы то ни было в его предприятии? У г. Полевого перевод весь готов, чего не может не знать г. Плюшар; первая книга была уже напечатана, картинки готовы, и на все это, разумеется, употреблены были деньги. У г. Плюшара, напротив, ничего не готово; доказательством может служить его намерение издавать это многотомное сочинение тетрадями: что же заставило его мешать, перебивать успех у Московского литератора? И что за мысль издавать подобную книгу по тетради в месяц?

Лишь только читатель заинтересуется содержанием этой тетради, как вдруг должен отложить удовлетворение своего любопытства на месяц; ему принесят другую тетрадь, а он уже забыл первую. И добро бы издание г. Плюшара было лучше, но оно во всех отношениях далеко отстает от издания г. Полевого: перевод образчиков сделан наскоро, язык дурен, шероховат, печать хуже, и картинки лубочные в сравнении с картинками московского издания. Само собою разумеется, что предприятие г. Плюшара не повредит московскому: он еще только обещает, а г. Полевой уже исполняет.



СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

Книжка, составленная из трудов: А. Ф. Вельтмана, Н. С. Волкова, С. С. Гадурина, В. И. Даля, П. И. Иванова, М. Н. Загоскина, П. И. Победина, К. Ф. Энгельке, князем В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким. СПб, 1843⁹⁵

Эта книга, не принадлежа собственно к тому, что обыкновенно называется «литературою», тем не менее принадлежит к важнейшим произведениям современной литературы, и весом своей внутренней ценности перетянет многие пуды романов, повестей, драм, — даже «патриотических». Явление такой книжки, как «Сельское Чтение», должно радовать всякого истинного патриота, всякого друга общего добра. Бедна наша учебная литература, беднее ее наша детская литература, и мы сказали бы, что беднее всех их наша простонародная литература, если бы только у нас существовала какая-нибудь литература для простого народа⁹⁶. Целые горы бумаги ежегодно печатаются для него под названием «Похождений Георга Аглицкаго Милорда», «Похождений Ваньки Каина», «Анекдотов о Балакиреве», и серобумажных книг, в роде «Разгулья Купеческих Сынков в Марьиной Роще», «Козла Бунтовщика» и т. п. Все эти пошлости расходятся: стало быть, их покупают и читают. Но какая же польза от этих книг? — Пользы никакой, а вред может быть: от них только грубеют и без того грубые понятия простолюдина, тупеет и без того неизощренная его мыслительная способность. Был некогда на Руси почтенный человек — профессор Николай Курганов⁹⁷, издал он книжицу, или, лучше сказать, книжицу: «Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезнoзабавного вещесловия, с присовокуплением книги: Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные анекдоты Русских» и с таковым замысловатым эпиграфом:

Духовный ли, мирской ли ты? прилежно се читай:
Все найдешь здесь, тот и другой; но разуметь смекай.

Книга эта имела успех чрезвычайный: еще в 1796 г. была

напечатана она уже шестым изданием, и до сих пор еще перепечатывается так, как была, без изменений, только разве с выпуском кое-где смысла. Для своего времени эта книга — просто золото; теперь она никуда не годится. И не нашлось на Руси ни одного литератора, который бы издал для народа такую же книгу, только сообразную с требованиями нашего времени, в отношении к языку и выбору статей! Кроме изданной г. Максимовичем «Книги Наума о великом Божием мире», не было ни одной замечательной попытки написать что-нибудь полезное и вместе завлекательное для простого народа. Да и самая книжка г. Максимовича оказалась неудовлетворительною. Простой народ похож на ребенка, только говорить с ним еще труднее: у ребенка ум мягок, как воск, и чужд всяких привычных понятий, а у простого народа ум и неразвит и упрям: за него надо приниматься умеючи и с толком. Главное правило тут — не торопиться, не желать сделать многое вдруг, не высказывать всего зараз, и всегда держаться в уровень с понятием простолюдина. Избегая книжного языка, не должно слишком гоняться и за мужицким наречием: простолюдины обыкновенно недоверчивы к собственному способу выражения и думают, что бары смеются над ними, говоря по-печатному их глупым языком. Простота языка должна, в этом случае, быть только выражением простоты и ясности в понятиях и в мыслях.

«Сельское чтение» вполне удовлетворяет всем этим требованиям...



ОСНОВНОЕ УЧЕНИЕ, БЕСЕДЫ ДЛЯ НАРОДНОГО ЧТЕНИЯ

Издание Е. Фишера.

СЕЛЬСКИЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ НАРОДНОГО ЧТЕНИЯ

Издание Е. Фишера. СПб. 1842⁹⁸

Все эти книжицы или книжечки одеты в пестрые разнообразные обертки; на одних выставлена римская I, на других II, на третьих III, наконец, есть книжки вовсе без нумерации.

Первая из поименованных нами книжечек, неизвестно, впрочем, когда и где напечатанная*, служит, кажется, началом для прочих; так по крайней мере можно догадываться из того, что она начинается предисловием: От издателя, и в ней же напечатана статья «Азбука». Из этой неизвестного происхождения книжечки мы узнаем, во-первых, что содержание бесед разделяется на три главные отдела: Основное учение, Хозяйство и Чтение. Этим-то трем отделам и соответствуют римские цифры, выставленные на заглавных листках. Но в числе поименованных нами девяти книжечек, на четырех нет никакой нумерации, вероятно, потому, что они не подходят ни к одному из тех отделов. Но не в том вопрос; главное, какая цель самого издания? Этого в предисловии издатель, г. Е. Фишер, не говорит ясно, хоть и указывает (стр. 11), что редакция хочет «доставить сведения хозяевам и отцам семейств, непосредственно годные для них; желает передавать им в то же время и руководства к тем познаниям, в которых могут нуждаться они сами или их дети», — и что та же редакция «посредством вымышленных рассказов и исторических повествований будет знакомить простой класс с понятиями о потребности науки для улучшения своего (?) быта, для услаждения досуга занятием столь же приятным, сколько полезным, с событиями отечественной истории и с чувством, которое оживотворяет честного человека при нанесении нередко тяжких обязанностей своего долга» (стр. 10). Следственно, остается самому читателю определить цель издания, — назначается ли оно для всех классов, или только для простого народа? Читая предисловие, широковещательное и сбивчи-

* Вероятно, печатать книжки таким образом без означения места и времени принадлежит также к числу преимуществ привилегированной типографии г. Фишера? В. Б.

вое, никак не подумаешь, чтоб редакция обращалась к простонародью; но содержание самых статей склоняет к убеждению, что они написаны, по крайней мере, не для образованных читателей. И с этой точки зрения мы должны смотреть на эти удивительные книжицы.

Начнем с азбуки. Во введении сочинитель объясняет (кажется, для учителя), что начинающему трудно понять склады, затвердив славянские названия букв: *аз, буки* и пр., или русские: *а, бе* и пр. и, вследствие того, предлагает выражать название букв так: *А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К, Л, М, Н* и пр. Не знаем, согласятся ли опытные педагоги с наставлением сочинителя. Нам кажется, что едва ли для начинающего не труднее будет выучиться произношению букв по новой методике, нежели складам по обыкновенной. Дело в том, что, произнося, например, согласные буквы обыкновенным образом: *БЕ, ВЕ, ГЕ, ДЕ*, дитя слышит звук, уже давно произносимый им в разговоре, и потому ему остается только заметить графический знак; тогда как по методике сочинителя начинающему надобно приучиться к звукам, совершенно для него новым и чрезвычайно неясным, каковы, наприм., *Ф, Х, Л, Н*; а уж, например, звук *М* мы не знаем, как и произнести. Так, желание упростить вещь часто бывает только мудрованием, не приносящим делу существенной пользы! Сочинитель говорит, например, что начинающему нелегко понять, что *бе-а* будет *Ба*; но отчего же легче ему понять, что *И-м-я* будет *Имя*, а не *Имѣя*. Чтение есть само по себе дело механическое, а потому старание совершенно отстранить заучивание и принятие в начале некоторых правил на веру — дело невозможное. К этой же книжке приложена живописная азбука, т. е. старые типографские виньетки с изображениями разных предметов в азбучном порядке. Но выбор этих виньеток чрезвычайно неудачен: например, изображения *Надгробной* и *Источника* трудно различить одно от другого; притом последнее изображение представляет собственно не источник, а фонтан, какие строятся на Востоке; слово *надгробная* никогда не употребляется в смысле существительного, т. е. памятника. Говорится только «надгробная надпись». Изображение под словом «Ангел» представляет скорее мифологическую Славу, нежели бесплотного духа, по христианским понятиям; *Лира* есть предмет вовсе недоступный понятию простолюдина; под словом *Юноша* изображено молящееся дитя, а не юноша... Вся беда произошла оттого, что издатель, г. Фишер, не заблагорассудил заказать нарочно полиграфические картинки для этой азбуки, а просто отгиснул те виньетки, которые нашлись в его «привилегированной» типографии.

Но далее в книжках, означенных цифрою 1, заключаются статьи: Дивны дела твои, господи; О главных способах обработки земли; Домашние животные, бык. Лучшая, сравнительно с прочими, из этих статей — первая, если б она не была так длинна. В статье О главных способах обработки земли автор хотел объяснить для простого народа начала систем хозяйства: переложного, трехпольного и плодopеменного! Дело не шуточное, а обращается в шутку. Величайшее заблуждение — учить простой народ синтетическим способом, начиная с общих начал, с конечных результатов. Он ничего тут не поймет, и дело будет слушаться, как сказку. Простой, здравый смысл показывает, что крестьянина надобно начинать учить с того, что ближе к нему; расскажите ему сначала: в чем он погрешает в обыкновенных своих способах хозяйства, — тогда он поймет вас. А если вы начнете свысока, как начал сочинитель означенной статьи, то крестьянин будет слушать, почешет затылок да и скажет: «оно так! ты, барин, красно баешь, да не для нас!» — Это о направлении статьи вообще; но взгляните на частности. Прежде, нежели сочинитель, который, как сам говорит (стр. 4), ходил с икрой в неметчину, добрался до настоящего предмета, распространяется, ни мало, ни много, на 10 страницах (а и всего-то в статье 19 страниц) о всякой всячине, о былях и небылицах, например, что в немецкой земле на четырех десятинах города стоят с приселками (стр. 5). Все это, разумеется, приправлено остротами, в роде Прута Растегаича и сватьи Крапивы Обжоговны, и оттого статья принимает вид шуточный. Почтенные или даже почтеннейшие наши сочинители заметили, что русский народ любит шуточки, а не знают того, что он никогда не шутит в деле. О деле он изъясняется коротко и положительно; если же иногда и приправит свой рассказ поговоркою, то эта поговорка имеет значение афоризма, а не шутки. Тот же существенный недостаток бросается в глаза и в статье Бык: посторонним рассказням и отступлениям в ней несть конца; говоря о быке, сочинитель вдруг начинает толковать об ели... Было бы гораздо ближе к делу, если б, вместо всех этих рассказов, сочинитель объяснил, как надобно кормить рогатый скот, как предохранять его от заразы, лечить от болезней, но ничего этого нет в статье. Вообще видно, что редакция не вникла в потребности простонародья, не знакома близко ни с бытом его, ни с языком, и составляет свои статьи из книг, а не из дела. Впрочем, в этом случае она осталась верною своей программой, с которой сказано, что по части «хозяйства все

общие основания этого рода сведений будут сосредоточиваемы в небольших поверхностных статьях... Это суть не более, как краткие теоретические обзоры, знакомящие только с общим порядком, связью и значением предметов» (стр. 4 и 5). Не понимаем пользы поверхностных статей и теоретических обзоров для простонародья!

Следуют статьи в книжечках, на которых нет никакой цифры. Это значит, как выше замечено, что сама редакция не знала, к какому отделу своей программы отнести их. Набрать нравственных сентенций и фраз очень не мудрено: в каждой хрестоматии их неистощимый запас; следовательно, против содержания такой, например, статьи, каково Слово русского человека, сказать нечего. Можно только заметить, что она писана не совсем по-русски: например, правду себе на усмотайте (стр. 1). По-русски говорится: на уснамотать, а не смотать, что имеет совершенно противоположный смысл и пр. Вообще это «Слово» писано, как подобает писать всякое «Слово» — в тоне больше лирическом. Например: «Поведу як вам речь, люди русские, не о том, как встарь на помеле ведьмы летали, иль красные девки об женихах гадали; не о том, как богатыри русские на войну хаживали, а гусяры им в честь песни улаживали, да и не о том, как жили да были во времена прошлые, времена давно минувшие» и пр. (стр. 1 и 2).

В статье «Ученые свет, а неученые тьма» рассказывается, между прочим, о Кирилле и Петре, что Кирилло был кроток и покорен, а Петр упрям, что отец сколько ни старался отучить Петра от его глупости и упрямства, но не мог. И что же? Петр исправился от своего упрямства под старость! Есть ли в этом рассказе что-нибудь естественного? Несправедливо, что дитя, при рачении, какое прилагал отец о Петре, нельзя исправить, и распространять подобные понятия в простонародье значит — уничтожать всякую мысль о необходимости воспитания. В повести, весьма многоречивой, выведен на сцену добрейший и почтеннейший генерал (стр. 14). Эти эпитеты как-то странно отзываются в языке крестьянском.

Но всего курьезнее сказка О белой царице Русь-девице и о чудо-богатыре славном царевиче. — Дело, изволите видеть, вот в чем: «У православного народа, у русского люду, от дедов до внуков, обычай таков, что всякое дело начинается крестом, мир дракой, а сказка присказкой». Но мы оставим в стороне присказки, а послушаем сказку. История начинается в некотором царстве, в стране, как оригинально выразил сочинитель, Чу ждалекой. Там жил был король Поколеноборода, у него была молодая

красавица королева. Был он, как заря утренняя ясен (т. е., думать надо, красив), был высок и дороден; только одна беда: бог не порадовал короля детушками. Но король, кажись, не так грустил об этом, как королева, которая поехала размышлять свое горе, да и очутилась удалней границы, подле зимнего царства, где царил (т. е., говоря просто, царствовал) царь Мороз Снегович. Тут королева остановилась, велела разбить шатры. Вдруг, откуда ни возьмись, сам царь Мороз Снегович, да прямо в шатер. Кланяется он королеве в пояс (человек он был учтивый), целует ее во уста сахарные и желает ей здравия на тысячу лет с сотнями. «Улыбается королева; не видывали ее оченки такого молодца, красавца-богатыря, да еще царевича (как царь преобразился в царевича — не знаем: это не наше дело). Заводит она с ним речь приветную» (слушайте, слушайте!), «а Мороз Снегович за словом в карман не ходит, словно не зубы в него во рту, а гусли; подчуёт королеву пряником печатным (!) да орехами калеными. Долго ль беседовали они, неизвестно; только говорит, наконец, царевич королеве: «Не плачь, королева прекрасная (извольте заметить: прежде королева улыбнулась, а тут стала плакать: видно было о чем!); знаю твою кручину; не печалься. Не пророк я, а угадчик: родится у тебя дочь — такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Только примешь ты с ней горя от своего старого мужа, ревнивого короля»... (стр. 5 и 6-я).

Мороз Снегович, точно, был малый не промах, а угадчик. Королева воротилась домой. Пошли пиры, а между тем «доходят до королевского слуха недобрые речи» (впрочем, справедливые, заметим мимоходом). «Принимала-де королева неизвестного гостя. А она становится тяжелой» (стр. 8). Некрасиво выражено, а точно! — «Видно, — продолжает наш сказочник, — не в радость королю желанные дети» (да кому ж в радость подобные дети!). «Не хочет он видеть королеву; не хочет об ней ничего слышать. Родит она мне, говорит он, сына, не жить этому сыну ни часу. Родит она мне дочку, — такая же будет участь» (стр. 8).

Королева родила дочь. «Разгневался король, ходит меж бояр, как козел меж баранов» (какое гомерическое сравнение!), «велит бросить младенца в глубокое море». Бросились бояре, рады сорвать головы друг с друга (чего ради толикая ярость бысть — неизвестно!); но королева умолила мужа просто положить дочку в колыбель и отнести куда глаза глядят. Сказано — сделано. Девочку отнесли в такую землю, где находятся озера широкие, леса дремучие, реки гремучие, морозы трескучие. Не знаем, в какой земле находятся реки гремучие, и как они гремят: так ли, как гром

или как гремучие змеи; но что за дело до этого? Кончим скорее курьезную историю... Девочка выросла, сделалась девицею, стали за нее свататься цари разные; да невеста-то была разборчива, женихами брезгала. Вот, наконец, ветер говорит ей: есть на свете новое чудо; в государстве христианском (заметьте, царевна была язычница), в городе православном царит витязь царской крови, богатырь русского рода; у него между прочими чудесами (стр. 19) «бедные реки ходят в колесах»... Это в самом деле — чудо! Сам этот витязь в темном зеленом кафтане; молодец статный, кудрорусый (?!?!), с челом думным. Разумеется, что этот витязь задумал жениться, а царевне (т. е. не то, чтобы царевне, а того... как бы это сказать... ну, да — вы понимаете!) видится витязь во сне, а потом является к ней наяву и, осияв (?!!!) ее светлыми очами (стр. 23), изъясняется в любви и, как следует, венчается с нею.

Вот и вся сказка. Вся? — да, вся. И ничего более? — решительно ничего. Между тем, сочинитель хотел... что бы вы думали — сделать? — ни мало, ни много: представить в своей сказке судьбу России. Витязь в зеленом кафтане, кудрорусый, есть ни кто иной, как Петр Великий (у которого, впрочем, были темные волосы), а царевна не кто иная, как наша матушка Русь православная! Скажите, сделайте милость: есть ли тут какой-нибудь смысл? Только большое воображение может представить государство в виде такой девицы... Притом же Русь-девица сама по себе; над Русью царствует (виноват, царит) кудрорусый витязь, и ищет оную красавицу Русь-девицу, и на ней женится... Скажите, бога ради, что это такое? И это пишется для народного чтения... Хорошо еще, если эту повесть писал какой-нибудь безбородый, бездарный юноша, которому хочется проложить себе дорогу в сочинители: в таком случае, мы посоветовали бы ему отложить попечения и бросить нелепости, подобные «Русь-девице», в которой у него, кроме других бесчисленных красот, реки стучат и гремят, жареные быки выступают, являются мосты самодвижи, и пр. и пр.

Вообще «Сельские беседы для народного чтения», не заключающие смысла даже в самом заглавии своем, ибо что такое беседы для чтения? — ни мало не уступают прежним предприятиям известного типографщика и издателя г. Е. Фишера, как, например, «Памятник искусств» и др. Такие же красивые оберточки, такая же хорошая печать, то же отсутствие всякой общей мысли и определенной цели, тот же сброд статей ниже всякой посредственности, и по языку и по содержанию...

СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

Книжка вторая, изданная князем В. Ф. Одоевским и А. П. Заб-
лоцким. СПб. 1844⁹⁹

...Мы, право, не понимаем, почему для простолюдина вредно знать (в такой мере, в какой может он знать) прошедшую славу и настоящее величие своей родины, имена и подвиги великих царей и великих людей своего отечества. Не понимаем, что худого или смешного в том, что простолюдин будет читать книги, в которых, сообразно потребностям его сословия и быта, толкуется ему о его обязанностях, как человека, гражданина и христианина, о способах к улучшению его быта и о разных любопытных предметах, познание которых развивает ум и дополняет, а иногда и заменяет опыт? Не понимаем, почему простолюдин обязан, если не пить в кабаке, то читать Бову Королевича или подобные тому вздоры, которые только еще более огрубляют его ум и без того грубый...

Ошибаются те, которые думают, что если у простолюдина вдоволь хлеба и за ним казенных недоимок нет, то уж ему ничего больше не нужно. Это мнение противно и религии, и философии, и здравому смыслу. Животное сыто, содержится в тепле и чистоте — оно счастливо вполне, и ему больше ничего не нужно, но человек ведь не животное, хотя бы он был и простолюдином. Кроме внешнего благосостояния, ему еще необходима религия, нравственность, образование, без которых он едва ли не ниже всякого животного. Никто не будет спорить против того, что для всякого сословия нужно соответственное образование, и что мужикам совсем не нужно учиться в университетах; но из этого еще не следует, что мужику не нужно в детстве учиться в сельском приходском училище, и что это для него — излишняя роскошь. Самое внешнее благосостояние крестьянина, о котором так хлопочут мнимые филантропы, невозможно без образования, в известной степени — это аксиома. Дайте немцу и русскому по равному клочку земли с равными хозяйственными средствами для ее обрабатывания, — и вы

увидите, что первый всегда будет зажиточнее и богаче последнего. Отчего это? — Совсем не оттого, чтоб немец был умнее или даровитее русского (чаще случается совсем наоборот); но оттого, что немец вообще образованнее русского. Немецкий крестьянин читает библию и знает наизусть «Германа и Доротею» Гете; это не мешает ему быть отличным хозяином и трудолюбивым земледельцем. Не понимаем, почему русский мужик делается хуже, если вместо Бовы Королевича станет читать, например, басни Крылова?

Не менее ошибаются и те, которые думают, что наши крестьяне все те же, какие были назад тому сто или двести лет. Цивилизация незаметно оказывает над ними свое влияние и изменяет их. Это особенно стало заметно в последнее время. И если бы нас спросили, к лучшему или худшему изменяется простой народ от успехов цивилизации — мы отвечали бы, что и к лучшему и к худшему. Освободив простолюдина из-под опеки природы и обычая, цивилизация сделала его бойчее, развязнее, промышленнее, так сказать, способнее ко всякому делу, находчивее, предприимчивее, смелее: это к лучшему. Но в то же время, умножив его нужды и истинные и ложные, она сделала его более падким на приобретение, менее разборчивым на средства: это к худшему. Чтоб поправить зло, надо последовать пословице: чем ушибся, тем и лечись. Отцовский обычай и пример стариков — уже плохая школа для простолюдинов: созданная цивилизацией действительность находится в диаметральной противоположности с преданиями простодушной старины. Нужно образование, это могущественное средство цивилизации же, без которого ум народа превращается в хитрость, ловкость — в плутовство, наметанность служит орудием безнравственности. Надо быть вовсе слепым, чтоб думать, что реформа Петра уже кончилась: она еще только начинается. От дней Петра Великого до 1812 г. это была не история, а еще только пролог к истории: история начинается с 1812 г.

Таким образом, нельзя радоваться, что с некоторого времени книги для простого народа сделались целю отраслью русской литературы. Это счастливое направление произведено было первою книжкою «Сельского чтения», изданною князем Одоевским и г. Заблоцким. Она вышла в прошлом году двумя изданиями, в числе 9000 экземпляров. Теперь вышла и вторая ее часть. Свойство всякого истинно хорошего дела — постепенно совершенствоваться: вторая книжка «Сельского чтения» гораздо лучше первой и можно надеяться, что третья будет еще лучше второй. Содержание и изложение статей «Сельского чтения» так хорошо, что они чи-

таются с удовольствием и не простолюдинами. Между тем, в них видно основательное знание быта и свойств простого народа, верный взгляд на его нравственные потребности. «Сельское чтение» вполне владеет тайною умения говорить с своими читателями, соблюдая собственное достоинство, т. е. не заносясь в облака и не нагибаясь до грязи, но держась настоящей середины. Все мысли в нем излагаются не поучениями, не сентенциями, но живым увлекательным и наглядно-убедительным образом: или в виде повестей, рассказов, или разговоров, имеющих свой драматический интерес. Возьмем для примера разговор о пользе и необходимости грамоты для простолюдина. Говорят крестьяне; следовательно, вопрос решается крестьянским умом...

Лучшие статьи во второй книжке «Сельского чтения»: «Рассказ о том, какие православные государи царствовали в России после Петра Великого, и какие дела сделала императрица Екатерина Великая»; «Грамотка дяди Ириней», «Сказка о Ваньке Ротозее», «Рассказ крестьянина Прокофия про немцев-колонистов» и «Кто такой дедушка Крылов?». Эти статьи отличаются истинно-литературным мастерством и выдаются из всего остального, хотя и это остальное отличается замечательным достоинством. Мы не будем больше делать выписок: это просто невозможно, ибо надо или все выписывать, или потеряться в выборе отрывков. Кто прочтет самую книжку, тот согласится с нами, — а книжка эта о крестьянах, для которых она представляет неисчерпаемый источник удовольствия и пользы.

Мы сказали выше, что «Сельское чтение» породило целую литературу книг для простонародья. Надо сознаться, что пока еще этому радоваться нечего. Все эти книжки порождены соревнованием не к достоинству, а к успеху «Сельского чтения»; и потому их производит не талант, а промышленность, и они одна другой нелепее и пошлее. Но пусть их выходят: неуспех охладит их ревность, а усиливающаяся потребность в народном чтении возбудит другого рода ревность и вызовет на деятельность таланты, а не промышленность. Пока достаточно и одного «Сельского чтения»...



СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

Книжка третья,

составленная князем В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким.
СПБ. 1845¹⁰⁰

Сельское чтение составляет собою эпоху в истории едва начинающегося у нас образования низших классов. Правда, книжка эта уже не первая попытка заохотить простой народ к чтению; но это первая удачная попытка в этом роде. Можно указать еще на Письмовник Курганова, разошедшийся по России в числе, может быть, тоже не одного десятка тысяч экземпляров; но то была книга не для низших собственно классов, а для всего полуграмотного мира, заключавшего в себе и дворян, и чиновников, и купцов, и мещан, но не поселян. Успех «Письмовника» был основан не на цели и удачном ее достижении, а на необразованности тогдашнего читающего люда. Он не был приурочен к понятиям или потребностям какого-нибудь класса общества, но был издан, как книга веселая, с рассказами и анекдотами, — и полезная, с чем-то в роде энциклопедического изложения некоторых знаний, он был больше вульгарен, нежели народен, и потому успел необычайно и принес много пользы. «Сельское чтение», несмотря на его огромный успех, основанный на достоинстве содержания и изложения, и теперь отнюдь не исключает потребности нового «письмовника», составленного сообразно с успехами нашего времени; но этот новый «письмовник» уже не должен быть ни столь специальным, как «Сельское чтение», ни столь универсальным, как кургановский письмовник: подобно последнему, он должен быть издан для малообразованных, полуграмотных, но в будущем образовании которых не предполагается никаких определенных границ¹⁰¹. Здесь разумеются люди, которым нужна не столько ученость, сколько юобразованность, и которые, по неимению средств, не иначе могут образоваться, как через собственные усилия, посредством чтения. И цель такого нового письмовника должна состоять не в том, чтоб образовывать этих людей, но в том чтоб помочь им образоваться, направив их вкус в чтение, оторвать их от Еруслана Лазаревича и романиов Орлова, познакомив их

с произведениями литературы, на первый случай, по содержанию доступными уму неразвитому, но в то же время отличающимися высоким литературным достоинством. Это должен быть огромный альманах, разделенный на две части: энциклопедию наук, искусств, ремесл, открытий и т. д. и на беллетристику — повести, сказки, рассказы, стихотворения, анекдоты и т. п. Все это не должно быть ни слишком высоко, ни слишком низко: тут не должны быть сочинения в роде Фауста, Манфреда, Моцарта и Сальери, Цыган и т. п.; но почему бы не войти туда, например, Полтаве и Русалке Пушкина? Энциклопедия должна быть изложена языком самым простым и ясным, но столько же не простонародным, сколько и не книжным. Если к этому будут призваны на помощь полтипажи, — это могущественное средство для распространения популярного образования; какая бы это вышла книга для чтения купцов, мещан и даже людей, принадлежащих к несколько высшему против них классу, но не более их образованных!

Сельское чтение — издание чисто специальное, и в этом его великое достоинство. Оно назначено для крестьян-земледельцев и приурочено к их быту и потребностям. Были и прежде Сельского чтения опыты для такого рода изданий; люди, бравшиеся за них, не имели никакого понятия о низших классах, и потому опыты их не имели никакого успеха. Некоторые, взманиваемые успехом Сельского чтения, начали издавать книжки в этом роде, думая, что ведь барину легко учить мужика; но вышло иначе: спекуляция осталась спекуляцией, и печатный вздор пошел на растопку печей. Колоссальный успех Сельского чтения основан был на глубоком знании быта, потребностей и самой натуры русского крестьянина, и на таланте, с каким умели издатели воспользоваться этим знанием. Поэтому, в два года разошлось до тридцати тысяч двух первых книжек Сельского чтения. Подобный успех имеет великое значение, свидетельствуя, что издатели Сельского чтения умели угадать, что нужно для чтения простому народу, а во всяком важном деле, для которого не было прежде образца, в том-то и состоит все дело, чтоб угадать...

О первых двух книжках мы говорили в свое время; теперь поговорим о третьей. Как и в первых двух, в ней статьи разделяются на два разряда: статьи (большею частью в рассказах) нравственного содержания, и статьи, до быта и хозяйства крестьянского касающиеся. Те и другие равно необходимы, потому что нравственность тесно связана с материальным бытом, и успех одной невозможен без

успеха другого. Крестьянин, которого жилище не лучше хлева, который разделяет его с домашними животными, и который дурно одет, дурно ест, — такой крестьянин не может быть нравственным человеком; если он не вор, то лентяй, и во всяком случае существо оскотинившееся. Добродетель в нищете есть явление исключительное, достояние тех сильных организаций, тех энергических характеров, которые так же редки, как и гений. Добродетель гораздо хуже уживается с нищетою, чем с чрезмерным богатством, хотя она и редка в богатстве. С другой стороны, если крестьянин живет чисто и в довольстве, будучи безнравственным человеком, — его благосостояние выгодно только для него самого, но не для общества, — не говоря уже о том, что оно не всегда прочно. Из этого двойного рода статей в Сельском чтении, сам собою, по законам необходимости выходит третий ряд статей, которые способствуют развитию интеллектуальности и знакомят крестьянина с понятиями и фактами, доселе вовсе ему недоступными. Чтобы научить его обращаться с хлебом и травой, необходимо познакомить его с свойствами растительного царства вообще; следовательно, некоторым образом ввести его в созерцание природы, в мир естествознания. Такова статья г. Заблоцкого в третьей книжке Сельского чтения — «О том, что такое растение, как оно живет и чем оно питается». Жалеем, что не можем познакомить с нею наших читателей: без выписок этого сделать нельзя, а вырывать ее клочками — только портить: ее надо читать всю. Это образец ясного изложения, вполне доступного для крестьянина, понятный не совсем общий и не так-то простых! Такова же статья князя Одоевского: «Что такое выставка сельских произведений, на что она и какая от нее польза, и что было на прошедшей выставке». Это лучшие статьи в третьей книжке «Сельского чтения». После них замечательны статьи: «Рассказ дяди Иринея о том, что вокруг человека и о человеке» князя Одоевского; «О том, как с домашнею скотиною надобно обращаться» г. Заблоцкого и «Записки для памяти» князя Одоевского.

Из нравственных рассказов особенно замечательны два: «Как дядя Иринея рассказывал о том, что такое чистота и к чему она пригодна» князя Одоевского и «Нечистая Сила» графа Соллогуба. Первая особенно важна тем, что она имеет целью искоренение губительного и наиболее свойственного русскому простонародью порока — неопрятности. Впрочем, опрятность и у городских наших жителей не может считаться особенною добродетелью. Баня и чистая рубаха в субботу — у нашего простонародья больше какой-

то обряд, какой-то мистический долг, как омовение у мусульман, нежели требование опрятности и чистоплотности, не говоря уже о том, что перемена белья один раз в неделю — плохая опрятность. И потому, в такой книге, как Сельское чтение, особенно надо дорожить статьями, когда, будучи хорошо написаны, они имеют предметом искоренение не общих, всем людям равно свойственных недостатков, а пороков, составляющих как бы исключительную болезнь класса, для которого издается Сельское чтение. Такие пороки суть: пьянство, неопрятность, лень, непредусмотрительность и авось, которые простой народ иронически называет авоськой. «Нечистая сила» — мастерский рассказ графа Соллогуба, удачно воспользовавшегося известным анекдотом, чтоб сделать из него столько же занимательную, сколько и поучительную для простых умов повесть.

После них, можно указать на рассказы: «От чего крестьянин Демьян себе ноги ознобил и навек калекой пошел» князя Одоевского, «Плохо тому, кто не умеет жить в своем доме», г. Заблочкиго, и юмористический, в народном духе рассказанный анекдот «Ось и Чека» г. Даля.

Но, признаемся, мы не желали бы больше встречать в Сельском чтении таких статей, как «Кто такой Давыд Иванович, и за что люди его почитают» и «Что легко наживается, то еще легче проживается». В первой описан какой-то герой добродетели без образа и лица, без всяких признаков характера; и не мудрено: он описан, а не представлен; за него сам автор, а сам он ничего не говорит. Такими мертвыми идеями никого не убедишь ни в чем: им никто не поверит. В другой пьесе представлен бедный перевозчик, который, неожиданно получив от дальнего родственника, купца, огромное наследство, а не умея управляться ни с торговыми делами, ни с деньгами, все спустил в короткое время и опять стал гол как сокол. Какая мораль этого рассказа? неужели та, что от наследства надобно отказываться? Ну, а если б кто написал повесть, что один бедняк, получив большое наследство, сумел им распорядиться и к своей и к чужой пользе, и издатели Сельского чтения поместили бы этот рассказ рядом с пьесою «Что легко наживается, то еще легче проживается», чему бы тогда должен был верить грамотный крестьянин?.. Судя по заглавию рассказа, мы думали, что дело идет о приобретении через воровство, грабеж или разбой: тогда бы — другое дело! Но положим, что автор и тут прав: все-таки трудно поверить, чтоб его рассказ убедил кого-нибудь отказаться от законного наследства...

Многие восстают против Сельского чтения за

простонародность его языка, маленько мужицкого, утверждая, что к такому языку в книге простой народ недоверчив, поддаваясь охотнее обаянию книжного языка. Признаемся откровенно, мы не считаем такого мнения ложным, и готовы были бы решительно обвинить Сельское чтение в простонародности языка, как в недостатке, если б в тридцати тысячах экземпляров этой книжки, разошедшихся в два года, не видели факта, слишком оправдывающего издателей в их манере говорить печатно с простолюдинами. Стало быть, это еще вопрос, который может быть решен только фактически; надо издать для народа книжку, написанную городским, образованным языком: если она будет иметь такой же успех, как и Сельское чтение, вопрос будет решен не в пользу издателей последнего; а до тех пор... подождем. Одно, что мы можем не похвалить в Сельском чтении, — это употребление презрительно-уменьшительных собственных имен: Ванюха, Ванька, Сенька, Васька, Машка и т. п. Сельское чтение должно способствовать истреблению, а не поддержанию отвратительного обычая называть себя не христианскими именами, а кличками, унижающими человеческое достоинство...

Впереди времени много, и, при знании дела и таланте издателей Сельского чтения, недостатки этого издания, конечно, скоро исчезнут, а достоинства еще более выйдут. Много уже сделано этими тремя книжками, и их содержание нельзя будет вполне исчерпать и тридцатью; а сколько еще сторон нетронутых, например, отношения, в которых женский пол находится в простом быту к мужскому, и наоборот! Русский человек вообще не умеет уважать женщину, а у крестьян женщина — раб, скот, нечто в роде домашнего животного. За то, посмотрите в деревнях на мужиков, сколько между ними красивых лиц, а женщины, за весьма редкими исключениями, воплощенное безобразие, и в тридцать лет уже старухи. И не диво: выполняя все тяжелые мужские работы, они еще несут тягости беременности и родов... Вообще семейный быт должен быть одним из главнейших предметов Сельского чтения. Как можно больше статей об обращении с детьми, о необходимости часто мыть их, беречь от грязи, от простуды, об уходе за больными! Сколько умирает детей оттого, что за ними дурно смотрят во время оспы, кори! Топится печка — в избе сверху дым, внизу холод — дверь открыта: как тут уцелеть и взрослому больному, и родильнице, которая, сверх того, вчера родила, а сегодня таскает дрова и воду!..

ПРИМЕЧАНИЯ

Педагогические сочинения В. Г. Белинского были изданы отдельным сборником в 1912 г. издательством газеты «Школа и жизнь». В этом сборнике были помещены все специально-педагогические произведения Белинского, известные издателям, а также отрывки на педагогические темы из его обшечритических статей.

Издавая наш сборник для широких кругов читателей-педагогов, мы печатаем только крупные высказывания Белинского по вопросам просвещения, воспитания и обучения. Мы опустили все статьи и рецензии, повторяющие или детализирующие отдельные педагогические мысли Белинского. Не вошли в этот сборник его высказывания, имеющие исторически-преходящий интерес. Вместе с тем здесь помещены статьи, не вошедшие в дореволюционное издание. Это главным образом — рецензии на книги «Библиотеки для воспитания» и народного чтения, принадлежность которых установлена Белинскому в советское время проф. Спиридоновым.

Рецензии и статьи Белинского подобраны нами тематически по 4 разделам. Текст статей и отрывков, входящих в настоящий сборник, перепечатывается из Полного собрания сочинений Белинского под редакцией Венгерова*. Вводная статья написана М. Ф. Шабаевой, ею же составлены примечания. Они помечены в тексте порядковыми номерами. Примечания Белинского даны в сносках под текстом и помечены его инициалами (В. Б.), переводы иностранных слов и выражений Белинского сделаны составителем примечаний и помечены сокращенно «ред».

1. Перепечатано в сокращенном виде из полного собрания сочинений Белинского под редакцией Венгерова, т. I.

«Литературные мечтания» — первая крупная статья, написанная Белинским в 1834 г., сделала его имя известным широким кругам читателей. Она содержала в себе блестящий анализ русской литературы и намечала пути ее развития.

Из статьи Белинского нами взяты отрывки, характеризующие гуманное представление начинающего талантливого публициста о месте и роли человека в обществе, о значении просвещения для развития русской литературы и России в целом.

2. Белинский говорит о мероприятиях Николая I по подготовке русских воспитателей для дворянских семей. В России первой половины XIX в. дворянские дети получали домашнее воспитание с помощью иностранных, французских и немецких гувернеров. Передовые люди России уже с конца XVIII в. резко возражали против этого засилья иностранцев в русском воспитании, предпочитая ему русское, родное

* В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений под ред. Венгерова. СПб., 1901—1910 гг., т. X—XI, т. XII, ред. Спиридонова, Л., 1938 г.

влияние. Общественные деятели России, и в числе их прежде всего демократы, ставили перед деятельностью учителей принципиально иные задачи, чем те, которые формулировало реакционное дворянско-крепостническое правительство Николая I. Необходимо отметить то обстоятельство, что конец статьи «Литературные мечтания» с элементами казенного патриотизма вызывает сомнение в принадлежности его Белинскому. Среди исследователей жизни и творчества Белинского имеется предположение, что конец приписан редактором журнала Надеждиным, в угоду тогдашней цензуре.

3. Перепечатано из полного собрания сочинений т. III. Эта рецензия представляет собой первую попытку Белинского изложить свои педагогические взгляды в систематическом виде. Позже, в 1840 г. Белинский включил ее в свою рецензию на сказки дедушки Ириней и сказки Гофмана.

4. Разграничение рассудка и разума — одно из основных понятий гегелевской философии.

5. Белинский часто говорил о вреде наград, как основного воспитательного средства; однако не следует думать, что Белинский был вообще против наград и поощрений. В детях, по его мнению, надо развивать сознание своей кровной связи с обществом, стремление отдать все свои силы на общее благо, а не желание совершить нравственные поступки только ради удовольствия быть награжденным.

Не физические удовольствия и материальные блага, а преданность правде, истине, общим интересам должны стимулировать нравственные поступки человека. Интересно отметить полное совпадение взглядов Белинского по этому вопросу с мыслями Герцена (см. его предисловие к произведению Ж. Занд — «Грибуль», полное собрание сочинений, т. XV, 1920).

6. Коцебу Август — немецкий романист, переведившийся в России в начале XIX в. О чтении его повестей в детском возрасте Герцен рассказывает в «Записках одного молодого человека». Коцебу был агентом III отделения и убит русским студентом в 1815 г.

7. Эти религиозно-мистические элементы своего мировоззрения Белинский скоро преодолел.

8. Беркен Арно (1749—1791) — французский писатель, автор нравоучительных произведений для детей. На русский язык было переведено в это время 12 его книг.

9. Жанлис (1746—1830) — французская писательница, чрезвычайно популярная в то время в Европе и в России. Многочисленные переводы ее детских правоучительных сочинений ценились русскими писателями, как, например, Карамзиным, Шаликовым, Кошанским и др. Назовем некоторые переводы: «Новое детское училище или опыт нравственного воспитания обоего пола и всякого состояния юношества», СПб, 1792 г., другое издание этой книги называлось «Аделия и Федор или письма о воспитании», М., 1794 г.; «Госпожа Менгено», Орел, 1825 г.; «Шесть нравственных повестей», М., 1824 г.; Рассказы для детей, СПб, 1871 г. и т. д.

10. Выражение Бурьянова «чистейшая нравственность» будет в дальнейшем очень часто употребляться Белинским в ироническом смысле.

11. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. V. Гофман — (1776—1822) — немецкий писатель, романтик, автор многочисленных фантастических рассказов, уводящих от реальных вопросов современности в призрачный фантастический мир.

«Дедушка Ириней» — псевдоним писателя и крупнейшего деятеля просвещения первой половины XIX в., кн. Владимира Федоровича Одоевского (1804—1869). Одоевскому принадлежит много прекрасных произведений для детей. Он возглавлял в 30-х гг. в Петербурге общество детских приютов и руководил воспитательно-методической

работой этих учреждений. Им написан ряд серьезных педагогических трактатов по вопросам первоначального обучения детей.

В рецензиях на сказки Гофмана и дедушки Иринея наиболее полно изложены педагогические взгляды Белинского.

12. Проблемы семейного воспитания детей и отношения детей и родителей всегда привлекали к себе пристальное внимание Белинского. Много материала на эту тему содержится в его переписке (Белинский, письма т. I, III, СПб, 1914 г.).

13. «Быть и казаться» — выражение, употребляемое воспитателями дворянских детей в помещичьих семьях и частных пансионах России первой половины XIX в. Детей нужно приучать в процессе воспитания скрывать свои истинные чувства и стремления, им надо прививать внешние манеры и умение владеть собой. По мнению этих воспитателей, важно не «быть», а «казаться» гуманным, любезным, приятным.

Против этой ложной установки дворянского воспитания резко выступил в 60-е годы XIX в. великий русский ученый и педагог Н. И. Пирогов в своих статьях «Вопросы жизни» и «Быть и казаться» (см. Сочинения Н. И. Пирогова, т. I, Киев, 1910 г.).

14. Гимназические речи Гегеля были напечатаны незадолго до этого в журнале «Московский наблюдатель» за 1838 г., т. XVI в переводе друга Белинского В. П. Боткина.

15. Мелас — австрийский фельдмаршал, проигравший Наполеону сражение под Маренго.

16. Статья о музыке, которую цитирует Белинский, написана его другом В. П. Боткиным и помещена в журн. «Московский наблюдатель».

17. Белинский цитирует рецензию на повесть для детей «Чижик», напечатанную в журнале «Отечественные записки», 1839 г., т. V.

18. Отношение Белинского к Гофману в дальнейшем сильно изменится. См. отрывок из ст. «Антология из Ж. П. Рихтера».

19. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. VI.

20. Август Лафонтен — немецкий писатель, переводившийся в России в начале XIX в.

21. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. VII. Зинаида Р-ва — псевдоним русской писательницы Елены Ган.

По вопросам положения и воспитания женщины Белинский высказывался и ранее в других рецензиях. Уже тогда он говорил об уважении женщины-матери, воспитательницы детей, верной и преданной подруги мужчины, но вместе с тем он ограничивал сферу приложения женских сил узкими рамками семьи. В этой рецензии он выступает горячим защитником общечеловеческих прав женщины, требует для нее общественного равенства, широкого образования и участия во всех сферах жизни.

22. Марлинский — литературный псевдоним писателя декабриста Александра Александровича Бестужева (1797—1837). Литературные произведения Марлинского отличаются вычурностью, сложностью сюжета.

23. Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — беллетрист, поэт, драматург. Автор напыщенных произведений казенно-патриотического содержания. Белинский резко отзывался о Кукольнике.

24. Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, пользовавшийся в мещанской среде успехом в 30-е гг. XIX в. Его пустые, бессодержательные, часто эротические стихи отличались фразистостью, вычурностью, известной виртуозностью. По определению Белинского, он служил пошлым и мещанским вкусам николаевских чиновников, составлявших «средние кружки бюрократического населения Петербурга».

25. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. VIII.

Жан Поль Рихтер (1763—1825) — немецкий писатель; герои его произведений — слащавые мечтатели и сентиментальные романтики. Они стоят в стороне от общественной жизни, занимаясь «внутренним самосовершенствованием». Много писал по вопросам воспитания, проповедуя слащавые, сентиментально-мещанские воззрения.

26. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. X. С 1841 г. Белинский писал ежегодно содержательные обзоры русской литературы. Они являлись каждый раз эпохой развития литературоведения и общественной мысли России. Эта статья является выражением его новых философских, социологических, эстетических и педагогических взглядов.

27. Белинский всегда гордился тем, что он русский. 8 марта 1847 г. он писал Боткину: «Не хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность пока — эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ему всякая ограниченность и узость! Она боится их, не терпит их больше всего — и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того, чтобы закабалиться в какую-нибудь дрянную односторонность» (Письма, т. III, СПб, 1914, стр. 196).

28. Перепечатано из специального сборника статей Белинского о Пушкине (Белинский, статьи о Пушкине. Гослитиздат. М., 1927 г.).

29. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XI.

30. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XI.

Белинский был возмущен взглядами Гоголя, высказанными последним в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и в 1847 г. напечатал рецензию на это произведение. Однако, по цензурным условиям, Белинский не мог высказывать полностью своего негодования и возмущения позицией Гоголя. Находясь в Зальцбрунне на лечении, критик получил письмо от Гоголя, считавшего себя несправедливо обиженным. Белинский ответил ему настоящим письмом.

Герцен говорил в 1847 г. об этом письме Белинского: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его». Позже он впервые напечатал его в 1855 г. в своей «Полярной Звезде» в Лондоне. В России это письмо Белинского было долгое время запрещенным и русские люди знакомились с ним нелегально.

В. И. Ленин считал письмо Белинского, подводившее итог его литературной деятельности, «крупнейшим произведением русской революционной мысли». Он называл его «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранившим громадное и возмущающее значение и по сию пору» (Ленин, Соч., т. XVII, стр. 341).

31. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. II.

Написана в период составления Белинским собственной грамматики. Рецензия свидетельствует о больших лингвистических познаниях начинающего литератора и о широкой осведомленности его о состоянии учебной литературы по русскому языку.

32. Калайдович Иван Федорович (1793—1853) учился в Московском университете. В 1831 г. обратил на себя внимание русского общества обширным разбором грамматики Востокова. Написал ряд статей о русском языке и отзывов о тогдашних грамматиках.

33. «Северная пчела» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 г. продажными журналистами Булгариным и Гречем. Известна своим верноподданническим направлением, субсидировалась III отделением. Ее издатели через газету беззастенчиво хвалили друг друга и угодных им людей, поносили всех деятелей прогрессивного направления, не стесняясь и прямых доносов в III отделение.

34. Греч Н. И. выпустил пять книг по русской грамматике: «Карриатурные листы русской грамматики» (1823); «Пространная русская грам-

матика» (1827), (за которую был выбран членом-корреспондентом Академии наук); «Практическая русская грамматика» (1827); «Начальные правила русской грамматики» (1828); «Практические уроки русской грамматики» (1832) и составил учебные руководства по словесности.

35. Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — известный филолог, славист, окончил Петербургский сухопутный шляхетный корпус, академик, почетный член многих славянских и западноевропейских ученых обществ. В своих исследованиях о церковно-славянском, русском и славянском языках дал много нового, неизвестного до него русским и европейским ученым. Однако в изданных им в 1831 г. школьных руководствах по грамматике, пользующихся большим распространением, не пошел наперекор устаревшим филологическим традициям.

36. Меморский М. — один из составителей учебников грамматики, арифметики и других руководств для первоначального обучения. Эти книги вызывали к себе отрицательное отношение передовых людей России.

37. Остолопов Николай Федорович (1782—1833) — теоретик русского классицизма. Был чиновником Министерства народного просвещения. По поручению «Петербургского Вольного об-ва любителей словесности, наук и художеств» составил «Словарь древней и новой поэзии», три части, СПб, 1821 г.; огромный энциклопедический труд, содержащий термины «школьной пиитики», расположенные в азбучном порядке, определяемые поэтикой классицизма.

38. Болдырев Алексей Васильевич (1780—1842) — профессор Московского университета, ориенталист. Известен своими работами в области восточных языков, в частности грамматиками арабского и персидского языков. Обратил также на себя внимание статьей: «Рассуждение о средствах исправить ошибки в глаголе», 1812 г.

39. Белинский принадлежал к числу крупнейших знатоков преподавания русского языка и словесности. В гимназии он изумлял учителей и товарищей своими познаниями в области грамматики. Этим и следует объяснить тот факт, что в 1829 г. ему, недавнему гимназисту, поручили преподавание русского языка в I классе Пензенской гимназии. Приехав из Пензы в Москву, Белинский продолжал преподавание русского языка путем частных уроков. Во время своей работы в журн. «Телескоп» он изучал русские и иностранные грамматические руководства и переводил труд француза Сильвестра де Саси под названием «Грамматика для детей». Это руководство, как более зрелое в научном и методическом отношении, Белинский противопоставлял русским учебникам и, в частности, грамматике Калайдовича. Не удовлетворяясь тогдашними русскими грамматиками, хорошо знакомыми ему и как учителю русского языка, Белинский начал составлять с 1834 г. собственную грамматику. Письма к его друзьям в течение 1834—1836 гг. дают представление о том, что эта работа успешно продвигалась и в 1836 г. предполагалось ее окончание, но напряженная работа не оставляла времени для окончательного завершения многолетнего труда.

Освободившись от своих обязанностей в связи с закрытием «Телескопа», Белинский тотчас же приступил к окончанию своей работы.

Грамматика его является строго научной для своего времени. Принятое Белинским направление, продолженное в дальнейшем Буслаевым, создает целую эпоху в истории русского языкознания. Логическая основа — ее отличительная особенность. Автор все время стремится установить связь между словом и понятием, которое этим словом выражается. С педагогической точки зрения, этот метод Белинского заставлял учителя не только учить детей правильному употреблению языка, но и обращать внимание на развитие их умственных способностей.

Вследствие обширности грамматики мы печатаем здесь только ее начало. Полностью см. в III томе собрания сочинений Белинского.

40. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. VIII. Половцов Виктор — один из авторов учебников для первоначального обучения.

41. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. VIII.

42. Шишков А. С. (1754—1846). С 1824 по 1827 г. был министром народного просвещения. Занимал крайне реакционную позицию в русском языкознании. Боролся с проводимой Карамзиным реформой литературного языка. Отстаивал церковно-славянскую основу русского языка, архаические обороты и элементы его. Основал в этих целях «Беседы любителей русского слова».

43. Оценка позиции Белинского по отношению к подобному рода книги имеет существенно важное значение для понимания той роли, которую играли его рецензии в улучшении современного ему воспитания.

Обучение сочинять и постоянное заучивание «громких од» и «тяжело нескладных» или, как говорит ниже Белинский, «дубинно-вязовых стихов» занимало огромное место в школьном и домашнем обучении. Этим особенно охотно занимались учителя, получившие образование в духовных семинариях. Риторико-поэтические занятия с детьми считались важным элементом обучения. Родители из мещанских слоев населения видели в этом «воспитанность» своих детей. Так учителя и родители создавали в детях извращенное представление о качествах образованного человека, натаскивали их в умении сочинять неуклюжие «стихишки», извращали их эстетические вкусы. Упражнения в стихотворстве и «оглушение» детей «ревом и криком» классических од очень характерно для школ первой половины XIX в. Особенно наполнялось этим время перед различными общими и школьными праздниками и сами празднества, проводимые в школах.

Заслуга Белинского заключается в том, что он раньше других понял глубокий вред такого стихотворно-семинарского увлечения словесностью.

44. Перепечатана из полного собрания сочинений, т. IX.

45. Плаксин Василий Тимофеевич (1796—1869) учился в Санктпетербургском педагогическом институте. Был преподавателем словесности в военно-учебных заведениях Петербурга.

46. Георгиевский П. Е. окончил Санктпетербургский педагогический институт, а затем преподавал словесность в Царскосельском лицее, сначала — адъюнктом, а с 1828 г. — профессором.

47. Белинский проявлял очень большой интерес, наряду с грамматикой русского языка, к преподаванию словесности. Он знал также все распространенные учебники словесности. Несмотря на неудачи с изданием грамматики, он в 1837 г., лечась в Пятигорске, собрался приступить к составлению курса русской словесности. Рецензия показывает большую эрудицию Белинского во всех вопросах, входящих в традиционные курсы словесности. Все проблемы, в которых путались авторы этих учебных курсов: Греч, Георгиевский, Плаксин, получали у Белинского четкое разрешение. Содержательность его философско-эстетической концепции, ясность, сила, логичность мышления, ответственное отношение к учебникам и понимание взаимоотношений науки и учебного предмета выделяли его из всех словесников. Крупнейший педагог, литературовед 60-х гг. Стоюнин утверждал, что после 40-х гг. в русской школе появился совершенно новый учитель словесности. Стоюнин считал это результатом рецензентской деятельности Белинского.

48. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. IX.

Белинский чрезвычайно отрицательно относился к риторике, одному из основных предметов тогдашнего обучения. Он считал ненужным его преподавание в школе, беспощадно критиковал Кошанского, автора наиболее популярных руководств по риторике.

49. Кошанский Николай Федорович с 1811 по 1828 г. был профессором русской и латинской словесности в Царскосельском лицее. У него учились некоторые русские поэты, в том числе Пушкин, посвятивший своему учителю стихотворение под названием: «Моему Аристарху», т. е. строгому критику. Сам, упражняясь в стихотворстве, Кошанский поощрял к тому лицейстов, но строго требовал класть в основу стихосложения правила отжившего литературного направления — ложноклассицизма.

Риторика Кошанского, составленные в начале XIX в., были не хуже других европейских и русских руководств по теории красноречия. К 40-м гг., когда русская литература отошла от классицизма, пережила романтизм и обратилась к реализму, они выглядели устаревшими и играли отрицательную роль в литературном образовании учащихся. Все это Белинский ясно и мастерски изложил в первых своих рецензиях на риторика и курсы словесности.

Страстный борец за реалистическое направление в русской литературе, поборник нового содержания и методов литературного образования, Белинский естественно не мог оставаться спокойным при виде новых изданий учебников Кошанского. Он беспощадно критиковал каждый раз все новые его переиздания и постоянно иронизировал над Кошанским и его риториками в других своих отзывах. Всего Белинским написано четыре рецензии о риториках Кошанского.

50. Тропы, метафоры, фигуры — понятия риторика, способствующие правильному построению сочинений и речей.

51. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. X.

52. Глаголев А. Г. — чиновник Министерства иностранных дел. Автор бездарных статей и учебников.

53. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. II.

54. Погодин М. П. (1800—1875) — профессор истории Московского университета. В своих исследованиях и лекциях по русской истории развил и обосновал реакционную теорию «официальной народности».

Его концепция русской истории служила для правительства «научным» обоснованием проводимой борьбы с освободительным движением. На всем протяжении своей литературной деятельности Белинский резко полемизировал с Погодиным и разоблачал реакционность его исторических суждений.

55. Сергей Скромненко — псевдоним Строева С. М. (1815—1840) — талантливый историк, товарища Белинского по Московскому университету. Так же, как и Белинский, вел резкую борьбу с Погодиным.

56. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. II.

57. Полевой Н. А. (1796—1846) — писатель, журналист, общественный деятель. Издавал журн. «Московский телеграф».

58. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. II.

59. Кайданов Иван Кузьмич происходит из духовенства. Окончил Санктпетербургский педагогический институт. В 1808 г. был командирован для продолжения образования в Европу. По возвращении назначен профессором Царскосельского лицея. Составил много учебников по русской, древней, средней и всеобщей истории, которые в 20-х гг. XIX в. господствовали в учебных заведениях и домашнем обучении. Некоторые из них были переведены на западно-европейские языки: немецкий, польский, французский и румынский. Учебники Кайданова, стоявшие в начале XIX в. на уровне европейской исторической науки и представлявшие в свое время шаг вперед в развитии русской школы, к 30-м гг. выглядели явно устаревшими.

60. Геерен или Герен (1760—1842) — профессор истории Геттингенского университета. В 30-х гг. XIX в. в России вышло несколько пере-

водов исторических работ Геерена; некоторыми из них учителя руководствовались в преподавании древней истории.

61. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. II.

62. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. IV.

63. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XII.

64. Белинский отвергал установленный Карамзиным взгляд на историю, как на историю княжеских распри, «войн и договоров». Возражал против зазубривания хронологии и отдельных исторических фактов. Как и в грамматике он требовал дать детям «философию слова человеческого», так и в истории говорил о философском осмыслении фактов. Он резко относился к ученым, копавшимся в установлении отдельных фактов и не способным к социологическим обобщениям. Считал необходимым для историка обобщение фактов и художественную изобразительность. Все эти качества ему хотелось видеть в исторических учебниках.

65. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XII.

66. Ишимова А. — писательница для детей, деятельность которой вызвала сочувственное отношение Белинского.

67. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XII.

68. Там же.

69. Шульгин Иван Петрович (1795—1869) — окончил Санктпетербургский педагогический институт, преподавал историю в Царскосельском лицее. Автор многих исторических учебников.

70. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XII.

71. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. II.

Белинский очень любил и хорошо знал географию. Товарищ его по гимназии Д. П. Иванов, друживший с ним всю жизнь (см. Белинский. Письма, тт. I—III, 1914), рассказывает: «Географией Белинский с детства охотно занимался; едва ли не с училища, он знал наперечет герода Российской империи и принадлежность их к той или другой губернии; а впоследствии все московские квартиры его постоянно украшались картами всех частей света и, сверх того, России особенно».

Белинский давал оценку учебникам географии и на основе своего педагогического опыта.

72. Гейм Иван Андреевич (1758—1821) — немец по происхождению. Приехал в Россию в 1779 г. в качестве гувернера детей богатого барина А. А. Лопухина, позже был профессором.

О Гейме много иронического говорит Герцен при описании своего учения в произведении «Записки одного молодого человека» и своего пребывания в Московском университете в эпоху «Былое и Думы».

73. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. IX.

74. Чертков А. Д. (1789—1858) — археолог и историк. Имел единственную в свое время библиотеку книг о России и славянах.

75. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. X.

76. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. III.

77. Полевой К. А. брат Н. А. Полевого, помогавший ему в литературной деятельности.

78. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. V.

79. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. VII.

80. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. IX.

81. Там же.

82. Там же.

83. Борис Федоров — беллетрист и глубоко аморальный человек, поддерживаемый Булгариным и царскими жандармами. Белинский беспощадно разоблачал бездарность и безнравственность этого «сочинителя», за что Федоров платил ему ненавистью. Федоров активно

участвовал в травле Белинского и составлял на него доносы в III отделение.

84. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. X.

85. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. X.

86. Белинский в этот период иначе, чем прежде, относился к Гофману. Он теперь называет его чудачком и безумцем, и непомерное возбуждение в детях фантазии считает отрицательным явлением.

Белинский считал, что надо показывать жизнь реальную, действительную, а не воображаемую, фантастическую; «для детей, — говорит он, — страшно вредно все, что развивает и возбуждает фантазию насчет других «интеллектуальных способностей».

87. Поль де-Кок — французский романист, автор фривольных романов.

88. Редкин Петр Григорьевич — профессор юридических наук Московского университета, оставил о себе благородную память в сознании русских людей. В 40-х гг. XIX в. его лекции в Московском университете оказывали огромное влияние на слушателей. В числе его учеников был великий русский педагог Ушинский. В 1846 г. он принял серьезное и полезное издание книг для детей, неизменно встречающее в себе сочувственное отношение Белинского.

89. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. X.

90. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XII.

91. Рецензия интересна в плане выяснения отношения Белинского к древности и классицизму и примыкает к прямым высказываниям великого критика о классическом образовании, которое он ценил высоко. Но понимание Белинским классицизма находилось в резком противоречии с классицизмом, введенном в русскую школу реформами министра просвещения Уварова. В письме к своему другу Боткину 27 июня 1846 г. Белинский писал: «Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основа его жизни — гордость личности, неприкосновенность личности, достоинства. Да, греческий и латинский языки должны быть краеугольным камнем всякого образования, фундаментом школы». (Педагогическое сочинения Белинского, стр. 246, СПб, 1912 г.).

Если правительственные реформаты видели в классицизме средство отвлечения учащихся от текущих событий русской жизни, то Белинский считал задачей классицизма нравственное воспитание юношей; привитие им качества гражданской доблести, свободолюбивых мыслей, стойкости в убеждениях.

92. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XI.

93. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. II.

С первых шагов своей литературной деятельности Белинский очень внимательно относился к делу просвещения народа. Он говорил о необходимости обучения народа грамоте, об его ознакомлении с «первоначальными человеческими идеями». Он стоит за распространение знаний и сведений в широких местах населения с тем, «чтобы вполне развилась жизнь народа».

Здесь Белинский выдвигает также характерную для просветителей идею сближения науки с жизнью.

94. Дюмон-Дюрвиль (1790—1843) — французский мореплаватель и натуралист, совершил несколько кругосветных путешествий. Свои путешествия описал в целом ряде трудов, извлечения из которых неоднократно издавались в России.

95. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. VIII.

96. Несколько раньше Белинский поместил в журн. «Отечественные вестники» отзыв на ничтожную книжонку для народного чтения. Выход

в свет хорошего народного издания «Сельское чтение» будет приветствоваться и в дальнейшем.

97. Герцен также очень сочувственно отзывался о письмовнике Курганова в своей автобиографии «Записки одного молодого человека».

98. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. XII.

99. Там же.

100. Перепечатано из полного собрания сочинений, т. X.

101. Обращаем внимание читателя на требование Белинского широкой программы образования для народа, чего еще не было в его первых отзывах о народных книгах.



ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Педагогические высказывания Белинского	5
 Общие вопросы педагогики, просвещения и нравственного воспитания	
Литературные мечтания	13
Библиотека детских повестей и рассказов	
Советы для детей или рассказы занимательных анекдотов, повестей, происшествий и других назидательных примеров (?), посвященных сыновьям и дочерям (чьим?).	
Зимние вечера или беседы отца с детьми об умственных способностях, нравах, обычаях, образе жизни, обрядах и промышленности всех народов земного шара	
Прогулки с детьми по Петербургу и его окрестностям	18
✓ Подарок на Новый год. Две сказки Гофмана для больших и маленьких детей. Детские сказки бабушки Ирины .	30
Семейство или домашние радости и огорчения	66
Сочинения Зинаиды Р-вой	69
Антология из Жан-Поля Рихтера	76
Взгляд на русскую литературу 1846 г.	80
Сочинения Александра Пушкина	88
Векфильдский священник	106
Письмо Н. В. Гоголю, 3 июля 1847 г.	108
 О содержании, методах обучения и учебных книгах	
Грамматика языка русского. Часть I. Познание слов . .	119
Основания русской грамматики для первоначального обучения, составленные Виссарионом Белинским	126
Русская грамматика для русских	128
Азбука русская новейшая или букварь обучения малолетних детей чтению, с молитвами, нравоучениями, краткими для детей повестями, с показанием чисел и таблицею умножения	
Новые детские поздравления в стихах с праздниками. Подарок детям и родителям на дни рождения, именины, Рождество Христово, Новый год и Светлое Воскресенье .	131
Учебный курс словесности с присовокуплением предварительных понятий о человеке вообще, о его познавательных силах, о свойствах и связи мыслей; краткой	

теории изящных искусств и примеров во всех родах прозаических и поэтических сочинений	134
Общая риторика Н. Кошанского	140
Частная риторика Н. Кошанского	
Умозрительные и опытные основания словесности в четырех частях	152
✓ Начертание русской истории для училищ	156
Русская история для первоначального чтения	158
Учебная книга всеобщей истории	159
Русская история для первоначального чтения	164
Краткое начертание всеобщей истории	166
Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений	168
История России в рассказах для детей	171
Руководство к познанию средней истории для средних учебных заведений	174
Изображение характера и содержания новой истории. Книга первая. (История средних веков). Изображение характера и содержания новой истории. Книга вторая. (История трех последних веков)	177
Руководство к познанию новой истории для средних учебных заведений	178
✓ Краткая география для детей	188
География, составленная Александром Чертковым	190
Картина земли для наглядности при преподавании физической географии	193

О детском и юношеском чтении

Михаил Васильевич Ломоносов	197
Басни Ивана Крылова	200
Робинзон Крузо	203
Инстинкт животных, или письма двух подруг о натуральной истории и некоторых феноменах природы	206
Леди Анна или сирота. Чтение для детей первого возраста. Детские комедии, повести и были. Детский театр. Две комедии. 1) Волшебницы. 2) Ни(е)грятанка. Повести и сказки для детей. Детское зеркало	208
Сто новых детских повестей с нравоучениями в стихах	211
Елка. Предание о графине Берте (.) или замок Виттогау. Дон-Кихот Ламанчский. Путешествие вокруг света. Мери и Флора, повесть для детей. Каникулы в 1844 г. или поездка в Москву. Картины из истории детства знаменитых живописцев. Мать наставница, или разговоры о многих различных предметах, образующих ум и сердце полезней-	

шими познаниями, представленное (???) в разговорах матери с своими детьми. Альманах для детей. Робинсон. Пантеон русских баснописцев. Маленькие дети. История Петра Великого для детей	214
--	-----

Новая библиотека для воспитания. Сын рыбака, Михаил Васильевич Ломоносов. Альманах для детей	219
--	-----

Новая библиотека для воспитания. Городок [в табакерке. Мороз Иванович. Сборник детских песен делушки Ириней. Петербургский сборник для детей. Повести для детей	228
---	-----

Новая библиотека для воспитания. Есть ли где конец свету? Друг детей	238
--	-----

Несколько слов о чтении романов	243
---	-----

О книгах для народного чтения

Всеобщее путешествие вокруг света	249
---	-----

Сельское чтение	252
---------------------------	-----

Основное учение. Сельские беседы для народного чтения	254
---	-----

Сельское чтение. Книжка вторая	260
--	-----

Сельское чтение. Книжка третья	263
--	-----

Примечания	268
----------------------	-----

Редактор *Е. И. Сайдакова*

Переплет, титул, заставки и концовки худ. *И. Литвишко*

Портрет В. Г. Белинского — гравюра на дереве худ. *И. Неутолимова*

Художеств. редактор *Г. Гинзбург*. Техн. редактор *В. Гарнек*

А-02241. Подп. к печ. 8/III 1948 г. Уч.-изд. л. 22,9. Печ. л. 17,5
Тир. 50.000. Формат 60×92. Заказ № 1812

2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР
Ленинград, 2-я Советская, 7.